V. Школа несчастья

Я не знал, что такое ад

Мысль, с которой он повалился на пол, первой пришла к нему, когда он очнулся. — Мой добрый учитель, — начал Генрих, словно тот еще был жив и мог ему помочь. И услышал ответ: — Я живу очень замкнуто, люди дают мне всякие мерзкие прозвища и пишут их на дверях.

Эти слова, действительно сказанные когда-то, прозвучали у него в душе так отчетливо, что он невольно обернулся. Нет, Генрих один, супружеская опочивальня замкнута, кругом притаилась тишина. Колокола замолкли, истошный крик и вой внизу на площади с восходом солнца куда-то отступил, и усердные труды людей кончились. Ничто не шевелилось, кроме мертвецов на достроенной виселице, они тихонько покачивались. Совершенно недвижима была высокая груда нагих трупов. Только псы бродили вокруг и лизали раны. А живые скрылись, именно те, кто еще так недавно с особым удовлетворением и упорством показывали, на что они способны. Даже окна и двери своих домов они прикрыли ставнями.

Вторая мысль, которая пришла в голову очнувшемуся Генриху, была: «Моей бедной матери уже нет на свете, а ведь и она меня предупреждала». Он отошел в самый дальний угол комнаты и услышал ее речь так же отчетливо, как перед тем речь своего учителя. И мать говорила: развратный дом, злая королева. И голос матери и самый тон ее звучали так, словно она обращалась к ребенку, еще совсем наивному ребенку, задолго до всех этих событий. И особенно душераздирающе действовал на него именно этот мягкий, давно умолкший звук, потому что все, чего она боялась, сбылось, и к тому же более ужасно и жестоко, чем могла себе когда-либо представить при

жизни бедная Жанна. «Ты умерла от яда, дорогая матушка. Знаешь ли ты это? Потом был убит господин адмирал. Осведомлена ли ты об этом? Убит и Ларошфуко, твой последний вестник, которого ты послала мне. Мертвы многие из тех, что служили тебе, и наши дворяне лежат на земле бездыханные. Мы попались в западню, хотя ты меня и предостерегала, матушка. Но я не хотел слушать ни тебя, ни умного старика Бовуа, ни…» — Господи боже, скольких еще!.. — проговорил он вслух. Ибо все предостережения, которыми он пренебрег, вдруг сразу нахлынули на него в таком множестве, так стремительно, что мысли его смешались и он схватился за голову. «Марго? Да, и Марго: она предостерегала меня, послав анатомический рисунок! Бедняжка фрейлина тоже: мешковиной был прикрыт ее трупик! Д'Эльбеф: тогда, у ворот, когда пытался вытащить меня из свалки, и я мог еще бежать! Сам Карл Девятый: «Наварра, отомсти за меня!». Морней: «Колиньи остается, ибо его ждет могила, а тебя ждет брачная постель». Моревер: он так жаждал резни! Д'Анжу, окруженный черноватыми духами! Гиз: его занесенный кинжал, его вдруг открывшееся подлинное лицо! Мадам Екатерина: она в себе несла, вокруг нее жила — издавна и повсюду — медленно созревавшая тайна этой ночи! А я вообразил, что могу быть счастлив, счастлив под ее надзором. Но я еще не знал, что такое ад!»

Таков был надвигавшийся на него приговор, и он опять свалил Генриха с ног. «Я не знал, что такое ад». Не издав ни звука, он упал поперек кровати, прижался к ней головой и грудью и покорился приговору, вынесенному его умом, его сердцем. «Я праздновал свадьбу, а тем временем все стонали от затаенной жажды крови. Поделившись на кучки, они жались к стенам, чтобы сразу же не вцепиться друг другу в глотку. А я дал отвести себя к брачному ложу. Первой жертвой была моя мать королева. Мы все были обречены последовать за нею, это предвещали и кровавые знамения и чудеса. А я дал отвести себя к брачному ложу и праздновал свадьбу вплоть до роковой ночи. Ибо я еще не знал, что такое ад. Все остальные постоянно помнят о нем,

только не я, — в этом мой главный промах. В этом моя великая вина. Я поступал так, как будто людей можно сдержать требованиями благопристойности, насмешкой, легковесным благоволением. Но таков только я один — и я не знал, что такое ад».

Пока в голове Генриха проносились эти мысли, его тело подергивалось, словно он хотел вскочить и не решался. В первый раз он дернулся, когда ему пришли на память слова и лицо сестры: «Милый братец, наша мать знала все, заверяю вас. И она завещала вам, перед тем как умереть от яда: или вовсе не приезжайте сюда, или только когда будете сильнейшим. Прочь из Парижа, брат! Разослать верховых по всей стране! Во главе вашего войска вы будете наступать, чтобы жениться». Он слышал внутри себя трогательный голосок Катрин, испуганно, на высоких нотах договаривавшей слова. Это был, в сущности, его собственный голос, и это предостережение по своей силе не могло сравниться ни с каким другим. Те затрагивали Генриха только извне, и лишь оно подтверждалось его внутренним знанием.

И тогда из глубины души поднялось и потрясло его раскаяние — такое жгучее, что он впился зубами и ногтями в постель. «Я не знал, что такое ад! Где же я был? Поглощен моей страстью к Марго? И это нет. Иначе я бы ее похитил и увез отсюда. Но этот двор мне и не хотелось покидать из-за его дерзости, из-за его опасностей, козней, из-за моего любопытства к опасностям и еще потому, что я играл всем этим, как дитя, а должен был трезво взглянуть на весь этот ад!» И снова его душа содрогнулась, так что затряслась даже кровать.

Да, его постигла чудовищная неудача, он проклял свою молодость. «И я еще вздумал было поучать господина адмирала! Корил его, зачем он ведет ненужную войну! Но у Колиньи была та вера, которая делает человека свободным — и от гнета Испании и от губительных страстей. Он-то знал, что такое ад, и боролся с ним. А я, я кинулся в него!» Непереносимо! Генрих был сокрушен. Его мысли сменились каким-то хмелем отчаяния — у юношей он

сродни восторгу. Так, некогда в Ла-Рошели, где дул ветер с моря, его сердце рвалось навстречу новому миру. То же испытывает он и сейчас. Но теперь — это уже не широкий и вольный мир, похожий на царство божие. Он полон стыда и страдания. Из него вырываются языки серного пламени, вот они, рядом, сейчас они охватят меня. Все еще хмельной от отчаяния, Генрих вскакивает и начинает биться головой об стену. Раз, еще раз, с разбегу, лбом, еще, еще! Он уже ни о чем не думает, кроме этих ударов, и сам не в силах остановиться. Но его удерживают.

Faciuntque dolorem[1]

Две руки насильно усаживают его.

— Спокойствие, сир! Терпение, благоразумие, невозмутимость души — таковы христианские добродетели, а также предписания древних философов. Кто забывает о них, бесится в ярости на самого себя. За оным занятием я вас и застал, к счастью, вовремя, мой милый молодой повелитель. Хотя, признаться, я этого от вас не ждал. Нет, от вас я ждал скорее, что вы отнесетесь к Варфоломеевской ночи слишком снисходительно, — как бы это сказать? — с презрительной усмешкой. Когда я в первый раз заглянул сюда, вы лежали на голом полу, но крепко спали, и ваше дыхание было так спокойно, что я сказал себе: «Не будите его, господин д’Арманьяк! Ведь он ваш король, а эта ночь была тяжелая ночь. Когда он проснется, окажется, что со всем этим он уже справился, и, вы же знаете его, он еще сострит».

Д’Арманьяк произнес эту длинную речь, смелую и приподнятую, искусно меняя интонации, и дал отчаявшемуся восемнадцатилетнему юноше достаточно времени, чтобы опомниться или стать хоть немного похожим на прежнего Генриха. — И он сострит, — закончил слуга-дворянин; а его государь тут же подхватит: — Скажи, двор все в столь же превосходном

настроении, как и вчера ночью? Тогда, чтобы завершить праздник, мне нужны два пастора и заупокойная служба. Из любви ко мне даже мадам Екатерина примется подтягивать… — Однако смешок застрял у него в горле.

— Он еще не совсем вошел в колею, — задумчиво проговорил д'Арманьяк. — Но для начала недурно. Когда вы опять появитесь при дворе, в вас не должно чувствоваться ни тени озлобленности. Будьте веселы! Будьте непринужденны! — Однако он и сам понимал, что требует сразу слишком многого. Не прибавив ни слова, д'Арманьяк приложил мокрый платок своему государю ко лбу, на котором от ударов об стену вскочили шишки. Затем по обыкновению принес бак для купания. — Когда я ходил за водой, — сказал он, наполняя его, — то не встретил ни души. Только одну дверь осторожно прикрыли. Пока вы спали, я побывал даже на улице, меня погнал туда голод; в кухнях-то ведь хоть шаром покати, там за эту ночь пролито больше человечьей крови, чем куриной. И те, кто должны были резать птицу, сами зарезаны. На улицах было безлюдно, только вдали я увидел двух горожан с белыми повязками, их сразу замечаешь, уж глаз наметан. Я стал было поглядывать, куда бы спрятаться, но они повернули и скрылись из виду. Если мне зрение не изменило, то они попросту стали удирать от меня, только пятки засверкали. Объясните мне, сир, что сие значит?

Генрих глубоко задумался. — Едва ли, — заявил он наконец, — они боятся нас, ведь они перебили почти всех.

— А в совесть вы не верите? — спросил д'Арманьяк; он воздел руки и застыл в этой позе. Генрих уставился на него, точно перед ним была статуя святого. — Твои двое белых, наверно, приняли тебя за кого-нибудь другого, — решил он. И сел в свою ванну.

— Уж темнеет, — заметил он. — Как странно, точно сегодня совсем не было дня.

— Это был день теней, — поправил его д'Арманьяк. — Он прошел неслышно и бессильно после такой потери крови. До самого вечера все

сидели по домам, ничего не ели, говорили только шепотом. И, может быть, лишь в одном выказали себя еще живыми людьми: из трехсот фрейлин королевы-матери ни одна не провела ночь в одиночестве.

— Д'Арманьяк, — приказал Генрих, — дай мне поесть.

— Понимаю, сир. Вы говорите это не из одной только телесной потребности: глубокий опыт вашей души подсказывает вам желание подкрепиться пищей. На сытый желудок у вас будет среди всех этих голодающих вполне достойный вид, и сравнительно с большинством вы окажетесь в более выгодном положении. Прошу! — И первый камердинер развернул во всю ширину халат; лишь когда он вытер короля досуха, тот заметил стол, уставленный блюдами с мясом и хлебом.

Генрих так и набросился на пищу. Он резал и рвал, он жадно глотал, запивая вином, пока ничего не осталось, а у его слуги из-под опущенных век выкатились две слезы. Глядя на своего государя, д'Арманьяк размышлял о том, что и едим-то мы в угоду смерти, под ее всегда занесенной рукой, которая сегодня, может быть, нас еще не схватит. Так едем мы по стране, так мы едим, так вступаем в залы замка Лувр. Притом, мы слуги и все же дворяне, один — даже король, он, как видит сейчас д'Арманьяк, и ест по-королевски. Вдохновившись столь торжественными мыслями, д'Арманьяк весело запел:

Ты, тихая да смирная, как старенькая мышь,
Екатерина Медичи, из всех злодейств глядишь
И у замочной скважинки уютненько сидишь.

— А что мадам Екатерина там делает? — невольно спросил Генрих.

Когда выяснилось, что есть больше нечего, ему стало невтерпеж, он должен был спросить насчет Марго: «Скажи, королева, моя супруга, уже покинула свои покои?» И первому камердинеру надлежало бы ответить на

это: «Королева Наваррская настоятельно осведомлялась о вашем здравии». Д'Арманьяк должен был бы даже при этом добавить: «Мадам Маргарита просит, чтобы ее возлюбленный повелитель как можно скорее посетит ее», — хотя д'Арманьяк едва ли стал бы выражаться столь высоким слогом. Да и Марго не поручила бы ему передавать это; а Генриху, со своей стороны, не следовало принимать такого приглашения. Для них обоих эти времена прошли. Генрих вздохнул. Д'Арманьяк понял, почему: первый дворянин не годится для деликатных поручений, благодаря своей сметливости он их обычно предупреждает.

— Королева Наваррская сейчас у мадам Екатерины, — сказал он самым непринужденным, однако многозначительным тоном, выдержал изумленный взгляд своего государя и сделал вескую паузу; когда же он увидел, что достаточно разжег Генриха, продолжал еще небрежнее: — Я видел королеву. Она вышла ко мне: один из слуг ее матери шепнул ей, что я стою за дверью. Я ведь поддерживаю дружбу со слугами королевы-матери. Этот нес чернила. Я спросил: «Для чего?» — «Писать хочет», — ответил он. «А мадам Маргарита что делает?» — спрашиваю, хотя и не знаю наверное, там она или нет. «Да она сидит на ларе, — тут же выбалтывает мне этот остолоп. — Боится выйти из комнаты старухи». Я и предлагаю: «Давай поспорим на кружку вина, что ко мне она выйдет!» А выпить ему до смерти хотелось, он согласился, и пришлось ему самому перед мадам Маргаритой дверь распахивать. Ну, хоть недаром потратился.

— Довольно о лакеях, перейдем к правителям! — нетерпеливо прервал его Генрих. — Я как раз и собирался это сделать, сир, — сказал Д'Арманьяк. — Королева Наваррская поручила мне передать вам несколько сообщений. Я повторяю их несвязано и не разумея, ибо я человек маленький. Королева Франции собственноручно пишет письма в Англию, Испанию и в Рим. Она переделывает их по нескольку раз; ведь такое извещение — дело нелегкое, ведь события прошлой ночи приходится всякий раз изображать по-новому:

для королевы Елизаветы, для дона Филиппа и для папы. Мадам Екатерина растерялась и против обыкновения обратилась за советом к своей ученой дочери. Будучи точно осведомлена о том, что происходит, королева и сообщает это вам, пользуясь моими слишком многословными устами.

Д'Арманьяк отвесил поклон, он кончил. С этой минуты он был занят только платьем своего государя, разложил, надел на него, все это молча, чтобы дать своему королю время подумать. И Генрих думал: «Марго выдает мне тайны своей свирепой матери. Это все равно, как если бы она сообщила мне, что ждет меня, как сообщала некогда, в нашей опочивальне. Нет, даже больше. Ее слова значат: «Дорогой мой Henricus», — подумал он на миг по-латыни и услышал, как она говорит своим звучным голосом: «Не приходи, мой дражайший Henricus, к сожалению, все это нам запрещено, — и все радости и каждая печаль нашей убитой любви».

Corporis Quod petiere premunt arete, faciuntque dolorem…[2]

Неистово прижимают они к себе того, кого они жаждут, и ранят его тело. На Генриха нахлынули жгучие воспоминания о яростных объятиях, о зубах, вонзающихся в губы вместе с поцелуем. «Прошло и — долой все это! Теперь моя любимая отдает мне вместе с душой и свою совесть, как отдавала раньше свое тело, но и тут она не обходится без ярости и укусов. Faciuntque dolorem animae[3]. Раны души. Если б мы могли сейчас соединиться, мы оба плакали бы, ибо нам суждено стать недругами и причинять друг другу боль. Было бы, конечно, лучше вдвоем дознаться, что ее родственники замышляют и можно ли ускользнуть отсюда. Каковы бы ни были сейчас их намерения, я должен возможно скорее удалиться от этого двора по крайней мере на сто миль, и в этом деле я буду рассчитывать на Марго: хоть она и враг мне, но она все-таки выдала свою мать».

Здесь его мысль запнулась. В голове размышляющего Генриха отчетливо встали слова: Faciuntque dolorem.

Сам того не желая, Генрих проговорил вслух:

— И на нее нельзя, да и ни на кого нельзя положиться. Я должен выручать себя сам.

Но я у них в руках

Он обвел взглядом комнату. Здесь был только д'Арманьяк, который не слышал или притворился, что не слышит. Первый камердинер уже взялся за дверную ручку, но не нажимал на нее. Он сделал это, лишь когда убедился, что его государь вернулся к трезвой действительности. Дверь в вестибюль распахнулась, там находились двое дворян; они стояли у порога, готовые сопровождать короля Наваррского, и притом не туда, куда он прикажет, а куда им велено. Приняв соответствующие позы, Генриха поджидали господин де Нансей, которому молодой король однажды дал оплеуху, и господин де Коссен, один из убийц адмирала. Генрих подошел к ним, словно это ему ничего не стоило, и, как будто даже не вполне сознавая свое положение, он беззаботно рассмеялся. Впрочем, сейчас же, словно почувствовав себя виноватым, спросил смиренно и смущенно: — Мы отсюда прямо пойдем к обедне? — Так он спросил, и сам занял место между ними. — Время самое подходящее, ибо у вас и у нас животы подвело как никогда. Или, может быть, господа ели что-нибудь со вчерашнего дня? У меня не было во рту даже листка салата, а это для моей натуры тяжелее любых лишений.

По пути в большую залу Лувра он продолжал вести ни к чему не обязывающие речи, тщетно делая паузы в ожидании ответов. Серьезным было при этом лишь его желание разгадать, почему именно они хранят молчание. Только потому, что они оказались его стражами, а он их пленником? У них есть наверняка и другие причины, и он должен их выведать. Если Генрих сейчас проникнет в душу этих людей, он спасен.

Сначала они увидели только спины. Люди высовывались из всех окон,

другие старались оттолкнуть их, чтобы самим посмотреть наружу. Небо вдруг почернело, как будто наступила ночь, а присутствующих охватило волнение, которое тотчас передалось Генриху и его провожатым. Они отошли от него. А рядом с ним оказался младший брат короля Карла д'Алансон. Двуносый, как его звали из-за нароста, красовавшегося у него на носу, многозначительно кивнул. Его кузену Наварре пришлось настойчиво расспрашивать, что же, собственно, происходит на улице. Двуносый обронил в ответ лишь одно слово и тут же отвел глаза. Слово это было: «Воронье».

Тут Генрих понял причину внезапной темноты: на Лувр опустилась огромная стая этих черных птиц. Некий весьма аппетитный запах привлек их сюда издалека; пока светило солнце, зной делал этот запах особенно сильным. Но они ждали, когда настанет их час. Двуносый заметил: — Ну, им тут припасли угощение. — Он бросил эти слова как бы вскользь, отошел, сделал круг и снова вернулся к своему кузену, настороженно повертывая голову во все стороны, чтобы проверить, не подслушивает ли кто. — И больше никому, — добавил он и скрылся на время в толпе. Красивый мужчина, некий Бюсси, пробормотал как бы про себя: — Не слушайте его! Он немножко спятил. Да и все мы. — И тоже нырнул в толпу.

Постепенно многие вышли из оконных ниш и вернулись на середину залы. Лица у большинства были бледны, в ранах и шишках; шишки на лбу оказались не у одного Генриха. Глаза иных выдавали внутреннее содрогание, словно эти люди ощущали что-то чуждое в самих себе; а некоторые как будто усиленно прятали руки или судорожно сцепляли их на животе, но затем одна без всякой видимой причины покидала другую и тянулась к кинжалу. Генрих просто высмеял некоторых растерявшихся придворных. — Мне уже доводилось видеть таких гусей, — заявил он. — Они встречаются на всяком поле боя.

Кто-то, в одиночестве пересекавший залу, сказал: — Поле боя — одно, а старый двор или Луврский колодец — другое. — Это был дю Барта; он не

искал своего государя и друга. Генрих крикнул ему вслед: — Мы оба не лежим в этом колодце! В том-то и дело, чтобы там не лежать! — И рассмеялся, видимо, оттого, что еще по-ребячьи не понимал истинного положения вещей; но ведь нельзя быть до такой степени добродушным! Стоявшие поблизости отвернулись, чтобы не выдать своих мыслей. Только дю Га, любимец наследника д'Анжу, дерзко выступил вперед: — А как легко, сир, то же самое могло приключиться и с вами! — Однако и он тут же поспешил удрать и вышел через боковую дверь.

Никто не мог долго стоять на одном месте, все двигались, но почти каждый в одиночку. Если двое разговаривали, один вдруг смолкал, замыкался в себе и отходил. У обоих убийц — Нансея и Коссена — лица стали совсем другими: на них появилась угрюмая растерянность, и они вдруг тоже расстались.

Через всю огромную залу с двадцатью люстрами проследовал великолепный герцог Гиз с пышной свитой. Но на пути гордого Генриха Гиза неожиданно для него встал Генрих Наваррский, окинул его пристальным взглядом и помахал рукой. Те, кто это видели, затаили дыхание. Все же случилось так, что Гиз не только ответил на приветствие, он даже посторонился. Правда, он тут же опомнился и крикнул, как подобает победителю:

— Поклон от адмирала!

Услышав эти слова, все разбежались. Лотарингец топал что есть силы, но звук его шагов терялся в опустевшей зале.

Генрих, как и остальные, старался поменьше быть на виду до тех пор, пока снова не соберется толпа. А этого долго ждать не пришлось. Люди испытывали слишком сильное любопытство, подозрительность, неуверенность. Пока все еще жались к стенкам, к Генриху подкрался Конде. — Ты уже знаешь? — спросил кузен.

— Что я пленник? Ну, а дальше? Угадать трудно, хотя я и посмотрел Гизу

в лицо.

— Когда господин адмирал был мертв, Гиз наступил ему на лицо. Я вижу по тебе: ты этого не знал. А что до нас, то я опасаюсь самого худшего.

— Значит, заслужили. Нельзя быть такими разинями, какими мы оказались. Где моя сестра?

— У меня в доме.

— Скажи ей, что она была права, но что я вырвусь отсюда.

— Я ничего не могу ей передать, ведь меня тоже не выпускают из Лувра. Охрана усилена, нам отсюда не выбраться.

— Значит, ничего другого не остается, как пойти к обедне? — спросил кузен Наварра. А кузен Конде, который еще прошлой ночью, слыша эти слова, каждый раз приходил в ярость, теперь опустил голову и тяжело вздохнул. И все-таки легкомыслие кузена Наварры повергло его в ужас, ибо тот воскликнул:

— Главное, что мы все-таки живы!

И Генрих повторял это по мере того, как в зале опять собирались люди. Он то и дело удивлялся вслух: — Господин де Миоссен, вы живы? Разве это не величайшая неожиданность в вашей жизни? — Но он также восклицал: — Господин де Гойон! И вы живы! — А тот вовсе не был жив и не был в большой зале, он лежал на дне Луврского колодца и служил жратвою для воронья. Те, кто слышал странные, речи Наварры, отворачивались, и их лица выражали самые разнообразные чувства: одни — подавленность и тревогу, сознание вины или жалость, другие — только презрение. Однако Генриху взбрело на ум обратиться все с тем же «Вы живы!» даже к самому наследнику престола д’Анжу. Тут уж все окончательно убедились в том, что и после Варфоломеевской ночи он остался таким же сумасбродным шутником. Это было признано с облегчением и смехом, притом неодобрительным. А он отлично все примечал и следил за каждым, они же думали, что он занят только тем, как бы сострить.

Как раз вошел герцог Анжуйский, он был в отличном расположении духа, и от этого в зале стало как-то легче дышать, ее потолок поднялся к августовскому небу, замок словно вырос. Наконец-то д'Анжу чувствовал себя победителем, он был милостив и весел: — О, я жив! Впервые я жив по-настоящему, ибо мой дом и моя страна избегли величайшей опасности, Наварра, адмирал был нам враг, он обманывал тебя. Он старался разрушить мир и во Франции и по всей земле. Он готовил войну с Англией и распространял слухи, будто королева Елизавета намерена отнять у нас Кале. Адмиралу и в самом деле надо было умереть. Все дальнейшее — только печальное следствие этого, цепь несчастных случайностей, результат былых недоразумений и вполне понятной вражды, которую мы теперь похоронили вместе с мертвецами.

Выбор последних слов был неудачен, и наиболее чувствительным слушателям стало не по себе. Но в остальном эту речь можно было почесть превосходной, ибо она была проникнута стремлением благодетельно смягчить и сгладить все происшедшее. Именно этого все и жаждали. С другой стороны, д'Анжу говорил что-то уж очень пространно, и он почувствовал жажду; к тому же от слишком напряженного внимания слушателей человек устает. Но когда хотели подать вина, в Лувре не нашлось ни капли. Припасы закупались только на один день. Вчерашние были полностью исчерпаны после резни, а нынче и дня-то не было. Никто не помышлял ни о вине, ни о мясе, даже хозяева харчевен не решились открыть свои заведения. Наследнику престола и двору нечем было промочить глотки. — Но по этому случаю не должны же мы порхать в потемках, как тени, — заметил д'Анжу и приказал зажечь все двадцать люстр.

Странно, что и это никому не пришло в голову.

Дворецких разослали повсюду, и те ринулись бегом, но возвращались шагом и по большей части с пустыми руками. Лишь кое-где удалось им найти свечи: все были сожжены во время резни, под истошный вой и крик. В

течение некоторого времени сумрак в зале продолжал сгущаться, а движения людей все замедлялись, голоса звучали все тише. Каждый стоял в одиночку; только пристально вглядываясь, узнавал он соседа, все чего-то ждали. Некая дама громко вскрикнула. Ее вынесли, и с этой минуты стало ясно, что благожелательная речь королевского брата, в сущности, ничего не изменила. Генрих, который шнырял в толпе, слышал шепот: — Мы нынче ночью либо перестарались, либо недоделали.

Слышал он и ответ: — Этого ведь как-никак именуют королем. Если бы мы и его пристукнули, нам пришлось бы иметь дело со всеми королями на земле.

И тут король Наваррский понял еще кое-что в своей судьбе. Яснее, чем другие, которые только шептались, уловил он затаенный смысл, а также истинные причины произнесенной его кузеном д'Анжу торжественной речи. Д'Анжу явился сюда прямо от своей мамаши, вот разгадка! Мадам Екатерина сидела у себя в уединенной комнате за секретером и собственной жирной ручкой набрасывала буквы, настолько же разъезжавшиеся в разные стороны, насколько она сама казалась собранной; и писала она протестантке в Англию следующее: «Адмирал обманывал вас, дорогая сестра, только я одна — ваш истинный друг…»

«Свалить все на мертвого — это верный способ избежать ответственности за свои злодеяния; и люди, которые вообще не любят нести ответственность за совершенное ими зло, могут успокоиться, что они и делают. Все это касается умерших. И меня!» — думает Генрих. Под прикрытием ночи и тьмы лицо Наварры наконец выражает его истинные чувства. Рот скривился, глаза засверкали ненавистью.

Но он тут же все подавил — не только выражение, но и само чувство, ибо вдруг стало светло. Слуги, взобравшись на лестницы, зажгли наконец несколько свечей, и те бросили свои бледные лучи на середину залы. Толпа придворных воскликнула «А!», как и любая толпа после долгого ожидания в

темноте. К Генриху подошел его кузен д'Алансон. — Генрих, — начал, он, — так не годится. Давай объяснимся.

— Ты говоришь это теперь, потому что стало светло? — откликнулся Генрих.

— Я вижу, что ты меня понимаешь, — кивнул Двуносый. Он хотел показать, что его не проведешь. — Продолжай притворяться! — настоятельно потребовал он. — Ведь и мне приходится разыгрывать послушного сына и доброго католика, но тайком я скоро перейду в твою веру. И еще неизвестно, сколько людей сделают то же самое после всего, что произошло.

— Вероятно, во всем Лувре я самый благочестивый католик, — сказал Генрих.

— Мой брат д'Анжу ужасно важничает, просто невыносимо. Еще бы! Герой дня, достиг своей цели, весел и милостив!

— Черноватые духи уже не окружают его, — подтвердил Генрих.

— Он же любимец нашей драгоценной матушки, и теперь дорога перед ним открыта. Вот бы еще помер наш бешеный братец Карл… Неужели тебе приятно видеть все это, Наварра, и только скрежетать зубами от бессилия? Мне — нет. Давай бежим, Наварра, и поднимем в стране мятеж! Не теряя времени!

— Я, правда, один раз уже упустил случай заколоть Гиза… — вырвалось у кузена Наварры, не успевшего сдержать закипевшей в нем ярости. Но он тут же опомнился и овладел собой. «Двуносому не очень-то следует доверять. Если он даже и не фальшив, то раздерган, как буквы в письмах его матери, — подумал Генрих. — Ни к каким планам его не привлекать, — решил он. — Ничем не выдавать себя…» — Но за этот промах я благодарю господа, — закончил он начатую им фразу о Гизе.

Д'Алансон уже не замечал, что двоюродный брат не слишком с ним откровенен. Что до него, то он все тут же и выложил: — Ты не поверишь, но нынче вечером они ждут иноземных послов. Должны прибыть папский легат

и представитель дона Филиппа, чтобы выразить свое глубокое удовлетворение по поводу успешно проведенной Варфоломеевской ночи. Удачливые преступники обычно начисто забывают свое деяние: ведь оно вызывает отвращение. Мадам Екатерина уже оделась и ждет. А! Давай пройдем немного дальше. В этом месте у стены скрытое эхо, его слышно в комнате моей достойной мамаши. А наш разговор мог бы настроить ее подозрительно.

— Да я ничего не сказал, — решительно заявил Генрих.

— А я ненавижу д'Анжу, — последовал ответ брата.

— Чего ты от него хочешь, Франциск? По мне, только бы жить не мешал. — Генрих нарочно не смотрел по сторонам: все же от него не укрылось, что под единственной зажженной люстрой слуги расставляют карточный стол. И д'Анжу уже звал: — Брат мой д'Алансон! Кузен мой Наварра!

— Сейчас, господин брат мой, — отозвался Франциск д'Алансон. — Мы тут обсуждаем важные вопросы! — Когда люди так откровенны, никакого заговора быть не может. Кузены отошли еще дальше от толпы придворных. Д'Алансон сопровождал свои слова судорожными и нелепыми телодвижениями. Он то делал вид, что прицеливается из ружья, то наклонялся, точно спуская свору собак. — Д'Анжу — сумасшедший, — говорил он. — Все с ума посходили. Они ждут не только легата, им недостаточно похвал, на которые, по их мнению, не должен поскупиться дон Филипп. Они мечтают о посещении англичанина Волсингтона — ни больше, ни меньше. Почему-то считается, что достаточно кому-нибудь беззастенчиво расправиться со слабейшим, чтобы заслужить благосклонность Англии.

Генрих сказал: — Кузен д'Алансон, если ты столь проницателен, то почему ты упорно не желаешь замечать происков Лотарингского дома? Ведь вас, Валуа, хотят спихнуть с престола! И я, ваш скромный и доброжелательный родственник, я хочу предостеречь вас. Если Варфоломеевская ночь — дело, угодное Христу, и если страх может

поддержать единство королевства, то не забудьте, что Париж еще до того признал лотарингца благочестивейшим из католиков. А теперь, когда он наступил на лицо мертвому адмиралу, тем более. — Так говорил Генрих, почти беззвучно, чтобы ненароком у него не вырвался крик или ему не изменил голос.

Д'Алансон повторил: — Гиз наступил на лицо мертвому адмиралу и сам себя опозорил. Его я не боюсь. Красавец-мужчина, которого весь Париж на руках носит! Но и такое лицо обезобразить нетрудно. Будем надеяться, хотя бы на оспу! — Все это сопровождалось судорожными и нелепыми телодвижениями.

— Кстати, — заметил кузен д'Алансон, — мы в тени, а кого хорошенько не видно, того никто и подслушивать не станет, кроме особо предназначенных для этого шпионов моей мамаши. Но сегодня вечером она чрезвычайно занята и позабыла даже подослать своих фрейлин.

В заключение Генрих сказал: — Я позволил себе только предостеречь дом Валуа. Я желаю ему добра, а мое преклонение перед королевой-матерью безгранично.

Тут кузен от души рассмеялся, словно последней шутке, завершающей приятную беседу. — Ты ничем не выдал себя, милый кузен, даю слово. Я доверился тебе, а ты мне нет. Вместе с тем теперь мы узнали друг друга, да и чего только ты не узнал за сегодняшний вечер!

И это было верно. Между тем этот перевертыш Франциск уже ускользнул от своего кузена, подхваченный потоком придворных, пробиравшихся в вестибюль. Там блеснул зыбкий свет факелов, метнулись огромные тени, и раздался зычный голос его величества — приближался Карл Девятый. Он ревел и, кажется, был не прочь побуянить. Наварра, предоставленный самому себе, подумал: «Я и ему должен лгать, а он спас мне жизнь! В следующий раз это даже королю не удастся. Я догадываюсь о том, что мне угрожает: я смотрел Гизу в лицо. И я знаю морду старой

убийцы; она не показывается, пока иноземные послы не явятся засвидетельствовать ей свое почтение, а они не являются. Оказалось, что Варфоломеевская ночь — это неудача, но я у них в руках. Невеселая штука! Да что мадам Екатерина и Гиз! Всех, всех изучал я сегодня вечером; так что голова кругом пошла, будто я книг начитался!»

Он наконец оставил свое место, прошел через движущийся вперед свет факелов навстречу королю Франции, заблаговременно надев обычную личину любезного легкомыслия. Но, содрогаясь в душе от страха и ненависти, подумал: «В знании этих людей мое спасение».

Неудача

Карл Девятый не стал церемониться. Он велел прикрепить все факелы к люстрам, хотя смола капала на белые плечи дам. Все лучше, чем мрак, даже это багровое адское пламя! Должно быть, Карл и все мы провалились в преисподнюю. Эта мысль пришла каждому, и все поглядывали на окна, летает ли там все еще воронье! Тогда мы бы убедились, что находимся на земле, а не в преисподней.

Тем временем Карл бушевал, словно демон. Он сам-де, собственной особой, сегодня стрелял с балкона вслед убегающим гугенотам. На самом деле он старался промахнуться, но этим не хвастал. — Ха! Я даже виселицу удостоил своим посещением, ведь на ней качался господин адмирал! Мой папаша! — рычал он с каким-то сатанинским хохотом. Затем на миг опомнился и притих. — От адмирала дурно пахнет, — процедил он и, точно отстраняясь от всего, что есть на земле зловонного, высокомерно скосил глаза, как на своем портрете. Таким же взглядом он окинул Наварру и Конде.

— Вы, протестанты, готовили заговор. Нам оставалось одно — защищаться. Так я все это изложил сегодня моему парламенту. Вот причины

кровавого суда, который мне пришлось вершить в моем королевстве. Это, и только это должны мои историки записать для потомства — поверит оно им или нет.

Потом он потребовал вина, ибо день выдался тяжелый, и когда услышал, что вина получить нельзя, опрокинул карточный стол. Новый приступ ярости продолжался до тех пор, пока в углу людской не нашли какую-то прокисшую бурду, скорее напоминавшую уксус. Карл, смакуя, пил ее из чеканного золотого кубка; кубок был украшен изображением Дианы-охотницы со свитой, а прелестные выгнутые тела двух сирен служили ручками. Попивая кислятину, сумасшедший король разглядывал своего кузена-протестанта. Кислое, как известно, веселит. — А вот и вы! — воскликнул он. — Два будущих церковных светоча! Честное слово, вы сделаетесь кардиналами! — Подобная перспектива привела его в неописуемый восторг. И тут вместе с ним захохотал весь его двор, расположившийся широким кругом; в центре стоял единственный карточный стол, над которым пылали факелы; Карл сидел за этим столом, небрежно развалясь, а его брат д’Анжу, ужасно боявшийся этих припадков короля, примостился на краешке стула. Что до обоих еретиков, то они стояли, опустив головы, вынужденные покорно слушать королевский хохот.

Но вот пятый игрок заявил: — Начинайте. — Это был лотарингец. — Садитесь, — приказал он обеим жертвам. Потом сдал карты, каждому по четыре. Игра называлась «прима». Пятеро игроков посмотрели в свои карты, и стоявший широким кругом двор тоже попытался в них заглянуть. Двор — это были шелка всех цветов, полосатые, затканные гербами; низенькие толстяки с лоснящимся пузом и тощие верзилы, словно стоявшие на стульях, так возвышались они надо всеми прочими. Ноги внизу были тонкие, а наверху — как бочки, рукава буфами вздувались на плечах, и на широких жабо лежали головы всевозможных тварей — от коршуна до свиньи. Свет факелов причудливо освещал горбы и наросты. А их владельцы пристально

следили за королевской партией.

— Наварра, куда ты дел мою толстуху Марго? — спросил Карл, делая ход. — И почему не появляется моя мать, раз она поймала вас, гугенотов, как птиц, на липкие прутья? Да, а где же все придворные дамы? — Он вдруг заметил, что среди зрителей мало особ женского пола.

Его брат д'Анжу что-то сказал ему вполголоса. Сам Карл не снизошел до шепота: — Моя мать-королева в эту минуту принимает иноземных послов. Они оказались в ее кабинете все сразу. Вот как обстоит дело. Но явиться ко мне они не почли нужным. Впрочем, мы и не заметили их прибытия. Они появились совсем тихо: посланцы великих держав владеют и великим искусством становиться незримыми. — Он небрежно бросил на стол вторую карту. Все в нем выдавало тайное презрение, казалось, он говорил: «Я знаю, во что вы играете, и хотя тоже играю с вами, но держу вас на должном расстоянии».

Лотарингец сдал по четыре карты. Игра называлась «прима», и выигрывал тот, у кого были карты всех мастей. Наварра открыл свои карты — у него оказались все четыре масти. — Генрих, — вдруг сказал другой Генрих, из дома Гизов, — тебе это будет приятно. Дело в том, что для меня послы не остались невидимками. Они выразили свое удивление, что именно тебя мы оставили в живых. — Но это был просто вызов, ибо любой посол меньше всего хотел бы показаться сегодня с этим Гизом. В ответ Генрих Наваррский еще раз открыл свои карты: по одной от каждой масти.

Когда он тут же открыл их в третий раз, один из игроков взорвался: это был д'Анжу. Он дерзнул ударить кулаком по столу, несмотря на свой страх перед припадками Карла. Но теперь им самим овладела ярость. Веселости и благодушия победителя как не бывало. А послы так и не прибыли. На самом деле мадам Екатерину терзала нетерпеливая жажда услышать поздравления. Пока иноземцы не одобрят ее деятельность, она не решится выйти из своих покоев и не выпустит Марго. Гиз со своей стороны бесстыдно разыгрывал

народного любимца и огорошивал людей и ростом и мощными телесами даже больше, чем чванством. Но Карл Девятый, которому и в голову не приходило самому проучить этого нахала, радовался. «Ишь, сразу видно, что тайный гугенот», — с ненавистью думал, глядя на него, брат. Д'Анжу чувствовал, что двор уже начинает догадываться об истинном положении вещей. Лица у всех становились озабоченными: куда податься? Чью сторону принять? Такие лица бывают у предателей. Подумать только: ведь и город запуган, все готовы, так же как и двор, чуть ли не отречься от Варфоломеевской ночи! Торжество любимого сынка вдруг сменилось таким озлоблением, что он даже всхлипнул. Вот вам, награда за отвагу! Людей хотели вывести из жалкого состояния, поднять их и ради столь возвышенной цели поступились даже совестью и человечностью. Сами себя освободили от христианских обязанностей и заветов истины. И все — он, д'Анжу, воспитанный в Collegium Navarra священниками и гуманистами, он отлично знал цену тому, что совершил. «Я же не Гиз… который так кичится своими телесами, что уже голову потерял! Я сознательно стал главным вдохновителем Варфоломеевской ночи, — говорил себе д'Анжу. — А ее простили бы нам только в случае удачи. Но с каждым часом она все больше смахивает на неудачу».

Факелы догорели, и смола перестала капать; король и его партнеры, осажденные подступившим мраком, продолжали играть в неверном, меркнущем свете. Д'Анжу собрался было во второй раз стукнуть по столу и опрокинуть его, как делал его брат во время припадков. Но тем временем лотарингец снова сдал карты. Кулак наследника престола замер в воздухе. А Наварра опять предъявил четыре масти. — Колдовство! — прорычал Карл. Двор ответил протяжным жужжанием, в котором слышались и удовольствие и ужас. Ведь когда перед тобой происходит непостижимое явление, оно волнует. Но объяснять его смысл иногда опасно.

Однако двор избавили от этой заботы. Королевская партия была вдруг

позабыта: перед новыми событиями все остальное отошло на задний план. В вестибюль вступили пажи, они несли зажженные канделябры, появлялось все больше этих светоносцев, с натыканными в канделябры восковыми свечами — и вдруг в замке запылало бесчисленное множество огней, хотя еще совсем недавно здесь нельзя было раздобыть ни одной свечки. Со вздохом облегчения двор устремился к дверям, однако стража теснила дворян обратно; непонятное зрелище развертывалось у них на глазах. Находившаяся за вестибюлем приемная короля осветилась, и в ней стали видны мальчики, выстроившиеся рядами. Их волосы, доходившие до плеч, поблескивали, озаренные пламенем свечек, которые они держали перед собой, а на груди сверкала серебряная парча. Противоположная дверь приемной налилась светом. Дальше, за поворотом, начинались покои королевы, они тонули во тьме; и вот неведомо откуда приближается безмерно более яркое сияние, подобное сиянию рая и непостижимых обетований; от него начинают трепетать сердца, ему нельзя не дивиться вслух, когда стоишь тесной толпой, так, как стоят сейчас придворные, а за ними темнеет зала, где гаснут багровые факелы.

— Господин рыцарь, у меня бьется сердце.

— И у меня, мадам. Что там такое?

Именно этого Екатерине Медичи и хотелось: так она все это задумала и рассчитала. Хотя она, как и подозревал ее сын д’Анжу, томилась тревогой, оттого что иноземных послов все нет и нет, он должен был, однако, предвидеть, что никакие разочарования не могут смутить его мать или выбить у нее оружие из рук. В отличие от большинства людей она в минуты тщетного ожидания не волновалась, а — была спокойна до тупости; случайные промахи только подстегивали ее изобретательность.

Мадам Екатерину, точнее, Екатерину Медичи, во время учиненной ею резни несколько раз охватывал страх, что вполне объяснимо слабостью нашей человеческой природы. Подобные деяния, даже если они исподволь

подготовлены и тщательно продуманы, могут все же кончиться не так, как мы ожидаем. Словом, мадам Екатерина, точнее, Екатерина Медичи, неслышно ковыляла со своей палкой по комнате, тревожно косилась на рослых телохранителей, стараясь угадать, долго ли эти немцы и швейцарцы будут защищать ее комнату и ее драгоценное старое тело, если сюда ворвутся гугеноты. Однако она возилась в своем шкафчике, имея в виду не только врагов, но и охрану. Не безопаснее ли было бы для нее самой, если бы эти здоровенные молодцы, глотнув хорошего вина, лежали бы на полу недвижимо? Тогда с помощью нескольких искусных уколов и порезов можно будет придать происшедшему видимость кровавой свалки, и каждый решит, что королеву утащили и прикончили. А пока что, сидя в ей одной известном тайнике, она ждала бы, когда настанет ее время! А это время должно наступить незамедлительно.

Все человеческие заблуждения и все ошибки истории происходят оттого, что люди забывают, какая судьба неукоснительно и неотвратимо предназначена всему миру вообще и этой стране в частности: попасть под пяту и под иго Рима и дома Габсбургов. Флорентинка раз и навсегда в этом уверилась. В те минуты, когда ее воле противились даже ее сыновья, она грозила, что вернется в свой родной город. На самом деле она об этом и не помышляла, ибо смотрела на себя, как на одно из главных орудий всемирной державы, призванной подчинить себе Францию, разумеется, ради ее же пользы, а главное, ради блага правящего дома. Французские протестанты считали эту женщину уже весьма зрелых лет прямо-таки сатанинской злодейкой. Но даже в Варфоломеевскую ночь она действовала со спокойной совестью — не так, как ее сын д’Анжу, которому приходилось сначала покончить в себе самом с гуманистами из Collegium Navarra.

Его мать была уверена, что стоит на верном пути и что это путь успеха. И немало должно было пройти времени, покамест мадам Екатерина наконец убедилась, что Варфоломеевская ночь была ошибкой. Тогда ее сыновья уже

лежали в могиле, лилась кровь, королевство пылало, разваливалось, а к престолу шел спаситель — незначительный принц с юга. Однажды она поймала его в западню, и приманкой послужила ее дочь Марго.

Вот он сидит, смотрите! Он лишился друзей, солдат, он бессилен, над ним глумятся. Даже единомышленники, и те будут презирать его, когда он отречется от их веры, а эта минута не за горами! Быть зятем королевы Франции он тоже теперь недостоин, бедный шут! Двор должен его осмеять! Так решает умная женщина весьма зрелых лет. Это разумнее, чем прикончить его. Английской королеве приятнее будет услышать, что он смешон, чем, что он убит. Я осведомила ее обо всем и в достаточной мере убедительно: она примет Варфоломеевскую резню как несчастный случай, который всегда может приключиться, если, будучи еретичкой, она не способна понять, сколь очистительным было это деяние! К черту послов, которые сегодня так и не явятся! Они еще будут извиняться за свое промедление! Разумеется, не следует допускать у людей каких-либо колебаний. Большие удачи бывают вначале нередко омрачены всякого рода помехами. Скорее бороться с этим, противодействовать! Пусть у придворных будет хорошее расположение духа, пусть рассказывают повсюду, как ярко осветила Лувр наша великая победа!

И мадам Екатерина тотчас оживляется, отдает приказания. Прежде всего она посылает за своей невесткой — эрцгерцогиней, живой декорацией, которую редко выставляют напоказ и обычно хранят в тихом флигеле нижнего этажа; эти покои в сущности должна была занимать Екатерина, но она предпочла более роскошные, здесь, наверху. Одеванием своей дочери Марго она руководит сама. Жемчуга, белокурый парик, диадема, венки и лилии из алмазов — вот она, холодная усыпальница любви, вот в чем должна появиться роскошно убранная красавица. Нет, не платье из золотой парчи! Золото вызывает совсем иные образы. Так как дочь настаивает на своем самом роскошном наряде, рука мамаши решительно и пребольно награждает ее пощечиной; щеку приходится опять набелить. Затем старуха велит

принести арапник. О нет, не для принцессы, та усмирена… Еще одно человеческое существо должно явиться, сюда и подвергнуться дрессировке, — нельзя терять ни минуты: обе вереницы пажей с канделябрами уже дошли до большой залы. Торжественный луч высочайшей королевской власти падает на придворных из неведомых сфер, так что они даже пугаются. Старейшие среди них уже готовы поверить в самые сверхъестественные явления, словно деревенские ребята. Пора. Эй, музыка!

Ненависть

О, гимн величию и державному всемогуществу! Двор расступается, даже карточный стол вместе с королем отъезжает к стене, и, оставляя широкий проход, выстраиваются друг против друга две шеренги мальчиков — самых стройных во всем королевстве. Обе шеренги изливают свет; между ними проходят другие мальчики, они услаждают слух присутствующих игрою на инструментах. Их согласная, благозвучная музыка рвется ввысь, летит, поет хвалу. А вот выступают женщины — лишь самые великолепные статс-дамы и самые прелестные фрейлины. Веет благовониями, и высоко над толпой колышется балдахин, его поддерживают четыре гнома в красных одеждах и с бородами из кудели.

А под балдахином движется собственной особой столь редко зримый персонаж из феерии, драгоценный залог, оставленный всемирной державой при французском дворе: Елизавета, эрцгерцогиня, римского цезаря кровная дочь.

Никто еще никогда не лицезрел ее так близко, хотя даже и сейчас благодаря обилию мелькающих, мерцающих огней удалось сделать так, чтобы ее видели не слишком отчетливо. К тому же возможность разглядывать герцогиню получили только мужчины, на женщин, как на пол более

отважный и проницательный, предусмотрительно возложили обязанность самим играть определенную роль в этом шествии. Итак, дом Габсбургов был представлен девятнадцатилетней молодой женщиной; но кто вспомнил бы о ее годах, глядя на эту маску без возраста, та, кую же негнущуюся и окоченевшую, как золото, покрывавшее ее с головы до ног! На этот раз ее не катили испанские священники, обливаясь потом под тяжелыми коврами. Она сама переставляла ноги, и выяснилось, что они у нее изрядных размеров. Может быть, ноги у нее оказались бы сильные и длинные, если бы кто-нибудь отважился на столь рискованное наблюдение. Однако вполне возможно, что иные и проникли сквозь панцирь ее имени и сана, добрались до ее ног и не без иронии попытались определить вес этих необычайных конечностей. Сама она была поглощена процессом ходьбы. Каждый ее шаг был как будто последним — вот-вот она рухнет на пол; так, сквозь анфиладу покоев, казавшихся бесконечными оттого, что мрак отступил слишком далеко, несла она на себе, пошатываясь, груду золота, давящую тяжесть короны, каменья, цепи, кольца и пряжки, тяжелые туфли из золота — золото стискивало ей голову, сжимало грудь, ноги, и она, пошатываясь, несла на себе его тяжесть и могущество во мрак отдаленных комнат.

Жаждала ли она поскорее скрыться в нем? Еще раз сверкнула ее спина, и пол отразил блеск ее металлических шагов. Уже видны были только затухающие вспышки драгоценностей. Последней мелькнула искра короны. И — все поглотила темнота. Занавес опустился. Королева исчезла и уже не появлялась; это зрелище могло быть понято символически, как и вся феерия. Но незримая и хитрая устроительница блистательного представления, сидевшая в своей тихой комнате и двигавшая оттуда его пружинами, рассчитывала, и не без основания, на то, что все это великолепие, несомненно, произведет нужное впечатление. Кому же из зрителей угасание этого блеска, поглощенного мраком, представилось прообразом заката и гибели? Да столь неприлично озлобленному человеку, каким был дю Барта;

пережив все ужасы Варфоломеевской ночи, он еще меньше прощал людям их притязание уподобиться богу. Дю Барта не одобрил участия эрцгерцогини в процессии; он проговорил во всеуслышание:

Вначале не было пространства и светил.
Был только бог один, он все в себе таил,
Могучий, благостный, неведомый и вечный,
Исполнен мудрости великой, бесконечной,
Весь — дух, сияние и свет.

Однако этот христианин вызвал всеобщее раздражение, его довольно грубо со всех сторон толкали и требовали, чтобы он угомонился. Он почти единственный, кто уцелел после великой «уборки», да еще лезет со своим богом, который уж, конечно, не ходит в золотых башмаках. Французский же двор, наоборот, видел в блестящем идоле осязаемое воплощение своей победы, видел, как эта победа шествует среди огней, ароматов и благозвучий, и был теперь готов провозглашать ее по всей стране, сколько мадам Екатерине будет угодно.

Кто же все-таки искренне сомневался в этой победе? Кроме христиан, существуют еще чувствительные натуры. Молодой д’Эльбеф по складу своего характера действовал всегда или под влиянием минуты, или же следовал овладевшему им чувству. Он понял, что Елизавете могло бы с таким же успехом быть не девятнадцать лет, а все девяносто. Он видел, как Карл Девятый смотрит вслед своей супруге — с тем же выражением, что и все остальные: на его лице написана почти суеверная покорность с оттенком легкой иронии. Елизавету показали королю и его придворным дважды: перед самой резней и сейчас же после нее. «Когда эрцгерцогиня снова спустится по темным лестницам в свои одинокие покои, кто обнимет ее, кто приласкает?» — думал д’Эльбеф, в то время как мимо проходили все новые фрейлины. Над

толпою опять появился балдахин.

Пышное зрелище продолжалось; только один из зрителей ничего не видел, не воспринимал ни звуков, ни благовоний, сопровождавших шествие. Он чуял запах крови, слышал истошный крик и вой; видел своих друзей, сваленных в кучу, друг на друга, точно падаль. Весь вечер он держал себя в руках, занимался наблюдениями и всех сторонился — так было безопаснее. Но слишком долго этого не выдержишь: он же не философ и не убийца по расчету, и у него в душе нет того холода, который царит в опочивальне старухи. Напротив, что-то жжет ему грудь и губы; он изнемогает, он чувствует это совершенно явственно. Его блуждающий взор искал, чем бы прежде всего попросту утолить жажду. Ничего не найдя, он удивился, что тут так много людей, и все они стоят слишком близко к нему. Особая подавленность оттого, что его теснят тела ближних, была ему раньше неведома, а ведь он жил, всегда окруженный людьми. Вдруг он понял, что именно с ним происходит: это ненависть. Сейчас он испытывает ненависть — более неистовую и непреодолимую, чем даже в ночь резни.

«Чтоб вы все подохли! — вот чего он желал этим людям; выставив подбородок, он исподлобья посмотрел вокруг таким взглядом, каким еще никогда не смотрел на себе подобных. — Даже если бы мне самому пришлось вместе с вами погибнуть! Нужна проказа — я сам заболею проказой. Вы еще первого белого прыщика не успеете заметить на моей коже, как я вас уже заражу, и пусть болезнь разъест ваше тело гнойными язвами! Всех вас, с вашими телесами, обагренными кровью моих мертвых друзей! Меня вы оставили в живых, чтобы я видел вашу победу во всех подробностях, любовался на ваше шествие и на ваше золотое пугало. В кого же мне вцепиться зубами? — размышлял он, неторопливо выбирая себе жертву. Ни одно из этих лиц, с написанным на них подхалимством, вызовом или иронией, не могло утолить его жажду. — Хочу твоей крови, мой страстно желанный враг!»

Его внимание привлекла щека какого-то любопытного, который подмигнул ему с наглой фамильярностью, — особенно бесстыжая щека! Наглец даже не отпрянул, когда Генрих коснулся ее, Поэтому Генриху удалось хорошенько запустить в нее зубы.

Однажды он видел в провинции, как дрались два крестьянина и один именно так укусил другого — это пришло ему на память в ту минуту, когда он наконец выпустил щеку придворного. В душе осталось отвращение и вместе с тем какая-то удовлетворенность. Но почему же любопытный — кровь текла у него на белый воротник, — почему он не завопил? Он едва застонал. А потом проговорил — доверчиво, шепотом, все еще не отодвигаясь от Генриха:

— Ваше величество, король Наваррский! Вы, наверно, видите мою черную одежду и мое длинное бледное лицо? Ведь вы укусили шута, я здешний шут.

Услышав это, Генрих отпрянул от укушенного, насколько допускала теснота. Шут тоже двинулся за ним. Прикрыв щеку, из которой текла кровь, он сказал гулким и дребезжащим нутряным голосом: — Пусть не видят, что мы с вами натворили; шут должен быть грустен: он познал горе и поэтому кажется особенно смешным. Верно? Значит, вы легко можете занять мое место, ваше величество, король Наваррский, а я — ваше. И никто даже не заметит подлога.

Шут исчез. Ни одна живая душа не узнала, что Генрих укусил его. Даже сам Генрих начал сомневаться. Он только что пережил минуты ужаса и смятения; но тут же взял себя в руки; необходимо хорошенько разобраться в том, что же все-таки скрывается под покровом этого придворного праздника. «А! Вот и Марго!»

Перед двором Франции снова появляется колышущийся балдахин. И под ним шествует принцесса Валуа, мадам Маргарита, наша Марго. Ей, правда, пришлось выйти за этого гугенота; однако каждому отлично известно, почему и ради какой цели это было сделано. Ее брак принес пользу, он оправдал себя.

А если кто сомневается, пусть поглядит, как высоко держит голову королева Наваррская, как она выступает. Это вам не застывшая, словно золотой слиток, мировая держава, перед которой мы должны падать ниц. Марго — сама легкость, словно быть такой красавицей — пустяковое дело. И наша Марго без труда торжествует над ошибками — своими и нашими. «Будьте счастливы, мадам! Всем, что вы делаете для самой себя, вы преображаете и нас, и вам многое удается нам вернуть: например, чувство легкости. Минувшая ночь придавила нас. Надо признаться, наша смертная оболочка изрядно пропиталась кровью. Мы лежали в лужах крови да еще волочились по ним. Вы же, мадам Маргарита, превращаете нас в мотыльков, порхающих в чистых лучах света, недолговечных и все же подобных вашей бессмертной душе. Мы знаем двух богинь: госпожу Венеру и Пресвятую деву. Поэтому все женщины заслуживают нашей смиренной благодарности — и за оказанную, милость и за дарованную нам легкость. Будьте же и вы благословенны!»

Но если эти чувства разделял весь двор, то должен был найтись и придворный, чтобы первым выразить их. Этим придворным оказался некий господин де Брантом; он позволил себе коснуться губами парящей руки Марго. А за ним и другие стали протискиваться между несущими канделябры пажами и тоже прикасались к парящей руке. Марго же, в роли благодетельницы этой толпы, глядя поверх нее, улыбалась не более тщеславно, чем ей подобало, и даже скорее растроганно. Ножки у нее были маленькие, несли они ее, по-видимому, легко, и никто не пытался определить тяжесть ее бедер, хотя многие могли бы при этом опереться на свой личный опыт. Не успели присутствующие опомниться, как ее широкое платье уже покачивалось где-то далеко. Юбка была прямоугольная, — узкая в талии и широкая в боках. Нежные краски на ней переливались и трепетали, рука, как будто светясь, парила высоко над ними — такой Марго должна была войти в ожидавшую ее темноту. Но она и не помышляла об этом, она повернула обратно, и все шествие было вынуждено тоже повернуть: скрипачи, трубачи,

статс-дамы, фрейлины и прочие участники процессии, даже обезьяна.

Марго чуть не обогнала свой балдахин — так спешила она вперед, разыскивая кого-то. Она его не нашла, но среди поцелуев, сыпавшихся на ее парящую руку, один так обжег ее, что она даже приостановилась. И вся блестящая процессия, следовавшая за ней, тоже запнулась: люди наступали друг другу на ноги, наступили и обезьяне, та вскрикнула.

А Марго стояла и ждала. Человек с обжигающими губами не поднял головы, хотя она скользнула рукой по его лицу и отважилась шепнуть какой-то тихий призыв. Но ведь ей же официально отведена была роль благодетельницы, дарящей счастье, и она не могла дольше задерживаться ради одного человека, которому в жизни, может быть, не слишком повезло. Дальше, Марго! Впереди тебя и позади — только шпионки твоей матери.

Уже дойдя до королевской прихожей, перед тем, как исчезнуть окончательно, она еще раз торопливо оглянулась. Но ее бывшего возлюбленного на прежнем месте уже не оказалось, да и вообще нигде не было видно. Огорченная Марго свернула за угол, хотя продолжала приветливо улыбаться.

Как только она исчезла, участники шествия, которые держались только ею и ради нее вели себя пристойно, сразу же распоясались. Фрейлины легкого поведения еще на ходу выбирали себе на ночь кавалеров и спешили их поскорее увести. Ревнивые придворные под общий хохот вытаскивали своих жен из толпы. Уже не торжественная процессия дворян, а какой-то разнузданный сброд валил через большую залу. Музыканты, играя, подпрыгивали, а свеченосцы поспешно тушили свечи, опасаясь, что у них выбьют из рук канделябры. Никто потом не мог вспомнить, каким образом началось бесчинство и кто подал к нему сигнал, выкрикнув знаменательные слова.

Во-первых, неизвестно, к какому лицу они были обращены. — Кого ты выберешь себе на эту ночь? — Правда, имя также было названо: «Большая

Берта». Видимо, имелась в виду карлица, сидевшая в клетке. Большая Берта принадлежала мадам Екатерине; в ней было восемнадцать дюймов, и на многолюдных сборищах ее носили в этой клетке, как попугая. Слуга, тащивший надетую на шест клетку с карлицей, вел и обезьяну. Когда начинала кричать обезьяна, кричала и карлица, и голос у нее был еще более звериный. У карлицы была огромная голова с чрезмерно выпуклым лбом и глаза навыкате, а из беззубого рта текла струйкой слюна. Одета карлица была наподобие знатной дамы, в жидких волосах мерцал жемчуг. — Большая Берта! Кого ты выберешь себе на эту ночь?

Уродливое создание отвратительно взвизгнуло; особенно перепугалась обезьяна и дернула сворку, там что слуга, державший ее, чуть не упал. Во всяком случае, дверца клетки распахнулась, путь перед карлицей был свободен. Пока все это еще могло казаться цепью случайностей. И лишь позднее вспомнили, как все совпало: обезьяна, неловкий слуга, открывшаяся клетка на шесте, но прежде всего — крик ужаса, который издала идиотка, когда услышала свое прозвище. Ясно, что ее научил всему этому арапник старой королевы, и карлица под влиянием неистового страха выполнила то, что ей было приказано. Она сразу же натолкнулась на короля Наваррского — вернее, и эта случайность при ближайшем рассмотрении оказалась подстроенной. Но в ту минуту все решили, что Большая Берта сама выбрала Наварру, раз она на него бросилась. Карлица сверху спрыгнула ему на шею, продолжая кричать, совала руки и ноги в отверстия его одежды, и отцепить ее было невозможно. Едва ему удавалось вытащить ее ногу из разреза своего рукава, как рука ее тем глубже ныряла ему за воротник. Силясь оторвать ее, он вертелся на месте; смотрите, они танцуют! — Она выбрала его на ночь, вот он и радуется, — говорили окружающие. Давно так не смеялись при французском дворе!

Когда Генрих понял, что все пропало, он, конечно, бросился бежать. А позади придворные надрывали животики, взвизгивали, блеяли, сипели и,

наконец, обессилев от смеха, валились на пол. Он же мчался по лестницам и переходам, а на шее у него сидела карлица. Он уже не пытался ее сбросить. Она все равно успела обмочить и себя и его и, чтобы показать свою привязанность, лизала ему щеку. Генриху казалось, что он бежит в каком-то кощунственном сне. Никто не попался ему навстречу, и даже полотняные фонари не были зажжены сегодня. Только по временам луна проливала свой свет на это странное приключение.

Наконец Генрих остановился перед дверью, и было слышно, как тяжело он дышит; верный д'Арманьяк тут же отворил.

— На что вы похожи, сир! И как от вас воняет!

— Это, моя маленькая приятельница, д'Арманьяк. Их у меня немного. — И так как она уже не лизала ему щеку, он запечатлел на ее щеке поцелуй. — А насчет вони, д'Арманьяк, — так из всех сегодняшних душистых и удушливых запахов это еще самый честный и чистый.

И тут у него сделалось еще невиданное, новое лицо — жестокое и грозное. Даже его старый боевой товарищ д'Арманьяк испугался. Он подошел к своему господину на цыпочках, чтобы снять карлицу. Но она сама от усталости уже соскользнула на пол. Затем он вместе с нею исчез. Генрих один вошел в комнату и заперся на задвижку.

Голос

И вот он лежит в постели, вокруг которой уже не стоят на страже сорок дворян; и мысли стремительно проносятся у него в голове. Они туманны, они едва связаны между собой, как бывает в сновидении, да это почти что и не мысли. Это вереница незавершенных картин и фраз; они спотыкаются, как те люди в Лувре, когда кончилось зрелище и Марго уже свернула за угол. «Они поймали меня! Пойдем тут же к обедне. Воронье. Все дело в том, чтобы не

лежать на дне колодца. Как легко, сир, это могло случиться и с вами. Привет от адмирала. Он наступил убиенному на лицо. Что же до нас, то я опасаюсь самого худшего. Господин де Гойон, вы живы! Но его же нет в живых, — соображает Генрих в полусне, он видит мертвых, и они тоже смотрят на него, но тут же снова отступают перед живыми. — Однако сам-то я жив! Елизавета хотела отнять у нас Кале. Впрочем, нет, адмирал! Tue! Tue! Мы нынче ночью либо перестарались, либо… Продолжай притворяться! В этом месте у стен есть эхо. Вот бы еще помер наш бешеный брат Карл. Я ненавижу д'Анжу. И тебе хочется, Наварра, ведь ты так обессилел. Неужели тебе хочется? Давай бежим, ведь хочется?»

Последнее он проговорил уже не в беспамятстве сна, он повторил эти слова несколько отчетливее, чем полагается спящему. Как только Генрих стал отдавать себе в том отчет, он открыл глаза и сжал губы. Однако опять услышал: — Тебе хочется? Давай бежим!

Перед стоявшим в углу изображением девы Марии теплился фитилек лампады. В неверном мерцании статуя, казалось, шевелилась. Может быть, это она и говорила? Несчастный, который не в состоянии ни постичь, ни измерить всю глубину своего несчастья, — он только слышит голос, который что-то продолжает говорить внутри него, спящего: ведь ради его защиты могло бы обрести голос даже изваяние девы Марии! Однако на этот счет он ошибся. Из-под его кровати высунулась голова — да это голова карлицы; вероятно, она незаметно пробралась в комнату. Он наклонился, чтобы рукой снова засунуть голову под кровать. Голова сказала: — Проснитесь, сир! — И Генрих почувствовал, что в это мгновение он действительно избавился от преследовавшего его кошмара.

Он узнал голос, а теперь увидел и лицо Агриппы. — Где ты пропадал весь вечер? — спросил Генрих.

— Все время был подле вас и вместе с тем оставался для всех незримым.

— Тебе из-за меня пришлось прятаться, бедный Агриппа.

— Мы сами сделали наше положение как нельзя более тяжелым.

Генрих знал это древнее изречение и повторил его словами латинского поэта. Услышав их, Агриппа д'Обинье вдохновился и начал длинную фразу, однако произнес ее слишком громко для столь позднего часа и столь опасного места: — У вас вовсе нет охоты, сир, ожидать в бессилии, пока ярость ваших врагов…

— Ш… ш… ш… — остановил его Генрих. — У некоторых стен здесь есть скрытое эхо; и неизвестно, у каких именно. Лучше мы скажем все это друг другу завтра, в саду, под открытым небом.

— Будет слишком поздно, — прошептала голова, которая теперь оперлась подбородком на край кровати. — К утру нас уже не должно быть в замке. Сейчас или никогда. То, чего мы не сделаем тут же, нам позднее уже не удастся. Сегодня замок Лувр еще охвачен смятением после ужасов прошедшей ночи. А к завтрашнему вечеру люди придут в себя и прежде всего вспомнят о нас.

Оба помолчали, как бы по безмолвному соглашению. Генриху надо было обдумать все сказанное другом. Агриппа же отлично понимал одно: «Если Генрих не скажет «да» добровольно, прежде чем я открою свои карты, этого «да» он уже не скажет вовсе, время будет упущено». Поэтому голова, видневшаяся над краем кровати, покачивалась и дрожала. И наконец проговорила:

— В беде лучше сразу рискнуть всем!

На этот раз Генрих не узнал стиха, во всяком случае он не подхватил его. Вместо этого он пробормотал:

— Они мне повесили карлицу на шею. Они катались от хохота, когда я с карлицей на загривке мчался по опустевшим коридорам Лувра.

— Этого я не видел, — прошептала голова. — К тому времени я уже успел забраться под кровать. Однако я понимаю, что история с карлицей вам понравилась. Вы желали бы побольше таких историй. Потому-то у вас и нет

желания бежать.

— Не забудь эхо! — предостерегающе напомнил Генрих.

И тут мудрая голова заговорила — разве не другим, совсем другим голосом заговорила она? Удивительно знакомый голос, только сначала Генрих не совсем уяснял себе, кому он принадлежат. «Это же мой собственный голос!». Он понял это вдруг совершенно отчетливо. Самого себя, — впервые за всю свою жизнь, — самого себя слышал Генрих говорящим вне собственного тела.

— У меня нет ни малейшего желания ждать в полном бессилии, пока они заколют и меня. Поэтому я решил до конца покориться им, настолько, чтобы все мои протестанты презирали меня и чтобы я уже ни для кого не представлял опасности. Я произнесу отречение. Я пойду к обедне, напишу папе униженное письмо…

— Не делай этого! — ответил Генрих, как бы умоляя самого себя.

— Письмо, полное унизительной покорности, и читать его будет весь мир, — отозвался его собственный голос. Агриппе, этому прирожденному актеру, пришлось, видно, немало поупражняться, чтобы научиться подражать Генриху с таким мастерством.

— Нет! — неосторожно воскликнул Генрих, испугавшись этих слов так, как будто они были сказаны его собственными устами. Однако через немного дней ему предстояло действительно произнести их, больше того: осуществить на деле.

— Эхо! — предостерегающе бросила ему голова и тут же продолжала обманным, весьма тревожащим Генриха голосом: — Или лучше сразу рискнуть в беде головой? — Она сказала эти слова по-латыни.

— Но ведь это всего лишь советы стихотворцев! — неодобрительно возразил голос самому себе. — Братец Франциск, чего ты хочешь? Мне бы только остаться в живых.

— Это ты тоже слышал? — спросил настоящий Генрих. — Такому

перевертышу я не могу отдаться в руки.

— А вот он отдался мне в руки, — заявил голос-двойник. — И он не единственный, кто хочет бежать вместе со мной и поднять в стране восстание. Он повсюду кричит о том, что даже не знал о Варфоломеевской ночи. Другие молчат, но боятся они ничуть не меньше. Почему это я должен перечислять для эхо всех тех, кто мне предлагал дружбу и поддержку? Только двух я назову, ибо их носители не заслуживают ни малейшей пощады.

— Это… — Генрих торопил, задыхаясь, свой собственный голос.

— Это… — продолжал голос, — господа де Нансей и де Коссен. Они боятся, как бы королева-мать не приказала их убить: ведь тех, кто служил орудием, частенько устраняют. Оба негодяя будут за меня, это только вопрос денег.

— Spem pretio non emo. «Не плачу за надежду наличными», — отозвался настоящий Генрих. Однако у подставного уже был готов ответ из классиков: — «Пусть истина простой, бесхитростною будет». — Затем пояснил: — Самый понятный язык для подобных господ — это звон и блеск золотых монет. Я не сидел сложа руки и приготовил кошелек с золотом. Не успеет забрезжить день, как кошелек будет вручен кому следует на мосту у ворот. И тогда они широко распахнутся и выпустят меня. Эти двое сами пойдут со мной, и немало других примкнут к нам. Я стану сильным, и никто не остановит меня.

Настоящий Генрих все же сказал себе: «Я не плачу за надежду наличными». Но понимал он также и другое: слишком многое было уже начато и подготовлено, слишком многие в это посвящены. Потому-то он и сказал «да, я хочу» и сделал все, чтобы ответ его не прозвучал нерешительно или слишком поздно.

Ненависть сближает

Ночная затея кончилась плачевно, и ее единственным результатом было то, что Генрих и Агриппа некоторое время дулись друг на друга. Они прокрались в Луврский колодец, когда рассвет еще не наступил; там они стали ждать вместе с другими закутанными фигурами, предпочитавшими остаться неузнанными, ибо каждый не доверял соседу. В караулке под воротами дремотно теплился красноватый свет, и несколько раз в городе начинал звонить колокол — низкий, гулкий его звук еще стоял у всех в ушах после недавней резни. Но, может быть, именно сейчас этот звон и спас немногих собравшихся во дворе гугенотов, которые не открывали себя и не шли под ворота. Поэтому, как только начало светать, капитану де Нансею пришлось пройти во двор самому. С ним был его приятель де Коссен, и они прежде всего предоставили д'Обинье сунуть им кошелек с деньгами. Тогда они заявили, что кони оседланы и стоят за воротами: пусть господа идут на мост первыми, а они не замедлят к ним присоединиться.

И все-таки Генриху не хотелось вступать впереди всех в тесную подворотню — уж очень она напоминала западню. Пришлось идти обоим предателям. Вдруг кто-то преградил им дорогу: — Господа де Нансей и де Коссен, я арестую вас! Вся очевидность говорит за то, что вы подкуплены и хотели дать гугенотам возможность бежать. — Тут же началась свалка; в бледном свете зари трудно было разобрать, кто с кем дерется, пока чья-то рука не схватила короля Наваррского за руку: оказалось — д'Эльбеф. Этот молодой человек из Лотарингского дома и был тем, кто заявил, что арестует предателей. Он принялся убеждать короля Наваррского: — Вспомните, ведь я когда-то старался оттащить вас от ворот — и очень вовремя. — «Он, бесспорно, прав. Варфоломеевской ночи никогда бы не было, если бы я его послушался. Теперь-то я понимаю!» Так говорит себе Генрих, он верит дружеским чувствам этого юноши, хотя д'Эльбеф и принадлежит к дому Гизов. Он берет под руку нового друга. А старый друг Агриппа,

прихрамывая, плетется сзади, ибо в свалке и его слегка помяли. Генрих указывает на него:

— Вон умник, который заманил меня в ловушку. А деньгами эти два негодяя, наверное, с ним поделятся. Знаю я гугенотов.

— Особенно вероломны и неблагодарны гугенотские государи, — заявил бедный Агриппа, пораженный в самое сердце столь чудовищным подозрением. Он тут же остановился, а те двое продолжали свой путь.

— Сир, — предостерегающе обратился д'Эльбеф к Генриху, опиравшемуся на его руку, — не давайте гневу затуманить ваш ясный разум. Бедный Агриппа поступил необдуманно, он был слишком доверчив. На будущее и то и другое возбраняется как вам, так и вашим друзьям, а потому и мне. Каждый день придется нам отвращать какую-нибудь беду, которая нависнет над вами. На этот раз вам повезло. Но могло случиться и так, что оба предателя, подняв крик и шум, схватили бы вас на мосту. Они надеялись, что королева-мать им простит их великие услуги в ночь резни и они смогут спасти свою жизнь.

— Это верно, — согласился Генрих. — Сейчас в Лувре есть только два способа сохранить ее: или бежать, или выдать меня. Об этом мы должны помнить каждую минуту.

— Да, неизменно, — повторил д'Эльбеф.

В этот же день Генрих заметил, что д'Алансон избегает его. Причиной был его неудавшийся побег, а среди закутанных фигур наверняка находился и Двуносый. Тем неуязвимее он был: всякий отвечает за себя, а мое дело сторона.

Господа де Монморанси состояли в родстве с адмиралом Колиньи. Но они были католиками и поэтому достаточно влиятельны при дворе, чтобы уже теперь заступиться за протестантов, за их жизнь и веру. И при создавшемся положении они делали все, что было в их силах. Маршал неизменно ссылался на мнение всего мира о Варфоломеевской ночи, которая

как-никак, а имела место. Но играть на этом можно было лишь до тех пор, пока не поступили вести из Европы, и уже самое большее — пока длилась первая вспышка негодования. Оказалось, что возмущены более отдаленные страны, вроде Польши, и более слабые — протестантские немецкие княжества. А Елизавета Английская подошла к событиям столь по-деловому, что стало ясно: она в таких начинаниях кое-что смыслит. Поэтому на ее счет мадам Екатерина скоро совсем успокоилась. Отчасти всерьез, отчасти из какого-то дерзкого задора она даже порекомендовала своей доброй приятельнице устроить на своем острове такую же резню, — конечно, среди католиков.

В конце концов мадам Екатерина снова начала показываться всему двору. В ее облике уже не было, как раньше, какого-то налета таинственности, он стал будничнее: просто любящая мать собирает вокруг себя всех своих детей и ни для кого не делает исключения, ведь это было всегда ее искреннейшим желанием. — Если бы хоть одного из вас не оказалось на месте, я бы не знала покоя, — заявила она с обычным своим простецким прямодушием и без тени насмешки. И как непринужденно, даже доброжелательно стала она в один прекрасный день разглядывать Наварру и Конде, которых до тех пор не желала замечать! Генрих испугался и насторожился. А она принялась расспрашивать обоих, как идет дело с их наставлением в истинной вере. — Хорошо идет, — заявил Генрих. — Я уже знаю все, что знает мой учитель. Милейший пастор сам сделался католиком, только когда почувствовал, что Варфоломеевская ночь неизбежна. Блажен, кто научился правильно рассчитывать.

— Научитесь и вы! — отозвалась мадам Екатерина.

Она окинула его взглядом и небрежно уронила: — Королек! — И это при всем дворе, а Генрих отвесил поклон — сначала ей, затем ее двору, и двор, глядя на него, хохотал, отчасти по глупости. Однако многие, содрогаясь, поняли, каково положение Наварры, и издевались над ним, только оберегая

собственную шкуру.

Тогда мадам Екатерина и выдала себя. Весь день перед тем она незаметно наблюдала за «корольком», хотя и притворялась, будто не обращает на него ни малейшего внимания. А тут она махнула рукой, чтобы все отошли от ее высокого кресла, и Генрих остался перед нею один.

— Вы на второй же день сделали попытку бежать. Господа де Нансей и де Коссен награждены мной за свою бдительность.

— Я вовсе не пытался бежать, мадам. Но я рад за обоих господ. — Он кивнул им, заметив в толпе их злобно усмехающиеся лица.

— Сколько мне с вами еще предстоит хлопот! Как мать и близкий друг, я предупреждаю вас! — Мадам Екатерина изрекла это поистине материнским тоном, что все присутствующие могли подтвердить. А Наварра всхлипнул, потом, запинаясь, проговорил: — Никогда, мадам, не хотел бы я оказаться вдали от государыни, подобной самым прославленным женщинам римской истории.

Так закончилась эта глубокомысленная и назидательная беседа. Она несколько возвысила Генриха в глазах двора, в ту минуту на него смотрели с меньшим презрением. Ведь человеку каждый день приходится быть иным, если он вынужден разнообразить свои хитрости. Для разнообразия Генрих решил прикинуться послушным, но туповатым. От него потребовали, чтобы он написал письмо бургомистру и старейшинам протестантской крепости Ла-Рошель с приказом распахнуть настежь ворота перед комендантом, которого им пришлет король Франции. И состряпал в высшей степени простодушное послание, так что те, зная его характер, конечно, не попались на удочку. В результате протестантская твердыня была через несколько месяцев осаждена, и всему королевству стало ясно, что Варфоломеевская ночь ни к чему не привела. Свалить врагов — дело нехитрое; но надо обладать уверенностью, что они не поднимутся вновь и не окажутся при этом вдвое сильнее. Что-то в этом роде сказал или буркнул себе под нос Карл

Девятый, когда из провинций стали приходить дурные вести.

Карлом владела безысходная тоска. Ночью ему являлись привидения, он слышал вновь глухие звуки набата, как в ночь резни, а с реки неслись в ответ стоны и вопли. Кормилица-протестантка отирала ему пот, а пот-то был кровавый; так, по крайней мере, уверяли в замке Лувр. Утешить беднягу-короля удалось только его неунывающему кузену Наварре.

— Зачем вешать нос, милый братец. Сейчас в замке Лувр стало просторнее и живем мы дружнее. Те, кто попали в ловушку, — дураки. Я их всех уже позабыл. Если не ошибаюсь, твоя сестрица наставляет мне рога; но мне открываются богатейшие возможности отплатить ей тем же. — Тут он прищелкнул пальцами и повернулся на каблуках, которые носил несколько выше, чем принято.

Затем он улегся в постель, уверяя, что нездоров, и на самом деле был горяч и весь в поту. Врачи осмотрели его по приказу мадам Екатерины и были вынуждены признать, что он действительно болен, хотя и качали при этом головами. Но ведь можно заболеть лихорадкой и от одного нежелания идти к обедне, — подожди еще, ради бога! «Если это уж непременно должно случиться, то отсрочь еще хоть чуточку, господи! Молю тебя, сделай так, чтобы я слег по-настоящему, пошли и мне кровавый пот или даже привидения. Пусть мои четыреста заколотых дворян обступят мое ложе. Уж лучше это, чем идти к обедне».

Однако роковой день все приближается. И вдруг оказывается, что вот он и забрезжил. И тогда мы покидаем наше убежище и неожиданно чувствуем в себе силы встретить его. Это случилось двадцать девятого сентября, в день святого Михаила, и рыцари ордена окружили Наварру, когда он шел в церковь. Его глаза были опущены, и даже в сердце своем не замечал он толпы, которая стояла вдоль дороги и пялила на него глаза, — может быть, с презрением, может быть, оплакивая… Переодетые гугеноты следовали за ним, видели, как тяжел был его шаг, и потом рассказывали по всей стране о

том, сколь невыносимо притесняют их любимого вождя. Он же всю дорогу думал о своей матери и об адмирале.

Он думал: «Дорогая матушка, они нажимают на меня, еще немного — и я отдам приказ, чтобы наша страна, Беарн, отреклась от твоей веры. Мне придется изгонять твоих пасторов, а это все равно, как если бы я собственной рукой изгнал тебя, дорогая матушка! Господин адмирал, вашим сыновьям и племянникам пришлось бежать переодетыми. Вашу супругу держат в Савойе под стражей. Пройдет недолгий срок, и суд объявит ваши имения выморочными, а ваше имя бесчестным. Но не думайте, господин адмирал, дорогая матушка, что я предаю вас, если все же иду теперь к обедне. Вы знаете: я всеми силами оттягивал, целых семнадцать дней. Мой кузен Конде, который перед тем кипятился гораздо сильнее меня, пошел к обедне раньше, чем через семнадцать дней. Пожалуйста, зачтите в мою пользу мои хитрые уловки и проволочки, дорогая матушка и господин адмирал!» Так обращался он к ним, словно они живы, а ведь, вероятно, они и были живы и слышали его: туда, где они теперь, столь задушевные мысли доходят.

Когда торжественный церемониал перехода в другую веру совершился, — это было четвертый раз в его жизни, — Генриха без конца обнимали и целовали, и он смело отвечал на поцелуи. Королева-мать, со своей стороны, также оказала ему честь: ока ожидала увидеть юношу, который наконец-то был в жизни совсем один, ибо от него отступились, как она полагала, даже духи его умерших близких и он утратил свое былое доброе имя. Поэтому она встретила его с веселой усмешкой, обняла и только, желая ему добра, ощупала, словно это было будущее жаркое. Но что с ней? Все веселье ее как ветром сдуло. Под одеждой у него оказался панцирь, он был на нем и тогда, когда Генрих отрекался от своих прежних единоверцев. Дурное предзнаменование! Мадам Екатерина хотела тут же удалиться, опираясь на свою палку. Он же позволил себе удержать ее за руку и, поддразнивая, осыпать всякими ласкательными прозвищами. Что тут может поделать

неповоротливая старуха в закрытом наглухо черном платье и вдовьем чепце, если слишком порывистый молодой человек восхваляет ее нос, который явно слишком толст? И вот он уже старается поцеловать ее в нос, ловит его губами. Наконец ей удается ударить его своей палкой, с виду, конечно, в шутку, ведь тут зрители. А он начинает изображать собачонку, лает, прыгает вокруг королевы на четвереньках, хочет схватить ее за ноги. И тут мадам Екатерина, наконец, спасается бегством. Тело силится опередить ноги. Словно разваливаясь надвое, спешит она прочь, а двор хохочет над ней.

Месть последовала незамедлительно. Генриху не только пришлось написать указ относительно беарнских протестантов, он отправил и письмо к папе. Это письмо превзошло своим самопопранием все остальное, и королева велела распространить его как можно шире. Когда они однажды опять дразнили друг друга, ей вдруг пришло на ум осведомиться о его здоровье. Он ведь хворый юнец, не настоящий мужчина, так ведь? Наверно, его мать Жанна передала ему по наследству зародыш преждевременной смерти…

Он открыл было рот, чтобы под видом шутки ответить: «Зародыш вы сами, мадам, всыпали ей в стакан!» Ибо они были в то время на очень короткой ноге — попавшаяся в силок птица и хозяйка клетки. Ненависть сближает. И вдруг он — услышал ее голос: — Надо будет спросить мою дочь относительно ваших мужских способностей. — Он тут же понял, что она задумала; обвинить его в мужском бессилии и добиться от Рима расторжения брака. Убивать его уже не стоило. Тем сильнее хотелось ей разделаться с зятем, от которого не было теперь ни вреда, ни пользы, и снова выгодно отдать замуж Марго. Голова у мадам Екатерины была вечно забита всякими брачными планами, которые она измышляла для своих детей.

В тот вечер Генрих лег опять на супружеское ложе.

Вот чем становится любовь

Он подошел к опочивальне королевы Наваррской в сопровождении многочисленных придворных, из которых лишь немногие стали бы защищать его, окажись остальные убийцами. Но он всех их прихватил с собой; они потом будут вынуждены подтвердить, что он ходил к королеве. На всякий случай он сжимал в руке кинжал, им он и поскребся в дверь — не громко, но она тут же отворилась.

— Я жду вас, мой государь и повелитель, вы сегодня поздней, чем обычно, — сказала королева.

Он запер дверь изнутри на ключ и на задвижку. Когда Генрих обернулся, Марго уже лежала на подушках и протягивала к нему объятия. А он знал, чего хочет: разрушить коварный план ее матери; он это и сделал, затем повторил и уже не знал конца. Нежной Марго пришлось попросить его не забывать, что они снова вместе после долгой и страшной разлуки.

— У меня будет теперь от тебя сын, любовь моя. Ну скажи, почему ты раньше не подумал об этом средстве, чтобы посрамить всех твоих врагов?

— Ты подаришь мне сына?

— Я чувствую это, — сказала она. — Я хочу этого, — поправилась Марго. — Как давно уж я тоскую о тебе! Еще вчера вечером я скреблась у твоей двери.

Он хотел снова заключить ее в объятия: на этот раз, чтобы обнять в ней своего сына. А между тем, даже когда его сердце все еще учащенно билось, он уже вспомнил о том, что хитрость — это теперь для него закон. Хитрость управляет нашей жизнью. Ведь дочь проводит целые дни, сидя на ларе в комнате матери, и служит ее орудием. Уже раз так было, и Марго сама не понимает, какое через нее совершилось предательство. Генрих спросил: — А здесь не спрятан убийца? — высунулся из кровати и схватился за кинжал. Если бы она сделала хоть малейшую попытку удержать его! Но она, напротив, оцепенела; она прошептала с ужасом и так тихо, что никакой

непрошеный гость ее бы не услышал: — Я ведь забыла о том, что мы враги.

— Я и сам забыл, — сказал он. — Все нам запрещено — и наслаждение и страдание. — В ответ она быстро потянулась к нему губами, но между ними сверкнули зубы. Он ответил, еще задыхаясь от поцелуя: — Faciuntque dolorem.

Ее прекрасный голос произнес весь стих, и Генрих подумал: «Она все-таки выдавала мне тайны своей страшной матери; а сегодня вечером она перед всеми этими дворянами сделала вид, будто принимает меня каждый день». И он рискнул спросить: — Моя прекрасная королева, ты поможешь мне вырваться отсюда?

— Я восхищаюсь вами, сир, вы побеждаете опасности, как никто. Это про вас Вергилий сочинил стихи:

Все волнения, все тревоги
В жизни мне довелось испытать.
Даже грозные силы ада
Вряд ли могут меня испугать.

— Это вы сами перевели? — спросил Марго ее возлюбленный. — Вы очень учены и искусно переводите. Но — как же все-таки насчет моего освобождения?

— Прежде всего берегитесь моей подруги де Сов, — отозвалась возлюбленная. — Я отлично вижу: эта сирена заманивает вас. Не поддавайтесь! Иначе вы погибнете. Ее господин и повелитель — герцог Гиз.

— А ты что, хочешь вернуть его? — спросил он. Ревность заставила его забыть всякие маневры и идти напрямик. Но и она не сдержала себя. — Так это верно, что Шарлотта вам нравится?

— Нисколько. У нее колючее лицо, да и душа колючая. А все же — какая женщина не нравится мне? Даже ваша мать — мадам. Право же, я не лгу. Злая

женщина — все равно что злой зверь. Это меня радует: два существа — в одном. Ибо в природе я больше всего люблю женщину и зверя да еще горы, — добавил он, — и океан. Люблю, люблю, — стонал он, уже прижимаясь к ее жаркому телу, которое нетерпеливо ожидало его ласк.

После столь великого воодушевления плоти истомленная и благодарная Марго решила открыть любимому все, что ей было дозволено, и даже сверх того.

— Любовь моя, мы не дадим тебе ускользнуть от нас, ты нужен нам, и мы тебя удержим.

На миг она предоставила ему гадать: но ради чего? Может быть, ради ее тела, но оно каждый раз быстро насыщается. Тогда зачем же? Ради ее ненасытной души? Нет, нет, дочь королевы сказала, откинувшись на подушках: — Мы не допустим, чтобы вы ускользнули к вашим гугенотам, сир. Если они вас опять заполучат, они станут в десять раз сильнее. Мы же хотим воспользоваться вами в борьбе против наших врагов, вы будете находиться при войске моего брата д'Анжу, когда он начнет осаждать Ла-Рошель. Знай, — зашептала она почти беззвучно, у самого уха, ибо выдавала тайну, — что мы не в силах справиться с твоими единоверцами. Они чуяли, что ты не по своей воле написал им, предлагая сдаться. Обещай же мне, что ты покамест не будешь пытаться бежать, не то тебя убьют. О, обещай! — молила она с явным страхом, прижимаясь лбом к его лбу, так что их дыхания смешались и стали одним дыханием. Но он хотел видеть ее глаза, поэтому отодвинулся и спросил:

— Ты действительно боишься за меня?

Вот нелепое недоверие! Она тоже отодвинулась; больше того, ее лицо стало далеким и холодным. — Я принцесса Валуа, и я не желаю, чтобы вы победили мой дом и отняли у него престол.

Так закончилась эта ночь; потому-то на следующую Генрих и лежал рядом с Шарлоттой де Сов, которая ему еще совсем не нравилась, увлечение

пришло позднее. До сих пор в его крови была Марго, она знала это. И горделиво сказала де Сов:

— Мадам, вы оказали нам большую услугу — мне и королю Наваррскому. Вы сразу же довели до сведения моей матери, что он лежал у вас в постели. Теперь королева полагает, что ее цель достигнута и я соглашусь на развод. Поэтому мой дорогой муж пока останется жив.

Разговор на побережье

Карл Девятый временно оправился от своей глубокой печали. Мать спросила королеву Наваррскую, доказал ли ей королек, что он настоящий мужчина. Так как тут случились свидетели, Марго покраснела, не ответила ни «да», ни «нет», а сослалась на некую античную даму. — А кроме того, раз моя мать выдала меня замуж, пусть все так и остается. — Это ей сошло безнаказанно лишь потому, что мадам Екатерина была целиком занята тем, как бы ей посадить своего сына д’Анжу на польский престол. Тут она шла даже против воли императора — так велико было ее честолюбие, а может быть, и страсть к интригам. Одновременно она вела переговоры с Англией, чтобы женить другого сына, д’Алансона, на королеве Елизавете. Последняя могла бы, таким образом, получить, при известных обстоятельствах, права на французский престол. Однако Елизавета была хитрее Екатерины Медичи, о которой Жанна д’Альбре некогда справедливо заметила, что, в сущности, Екатерина глупа. Поэтому рыжая королева и не соглашалась на эту сомнительную авантюру, а только водила свою подругу за нос.

Тем временем войско герцога Анжуйского подступило к крепости Ла-Рошель; короля Наваррского и его кузена Конде заставили сопровождать его.

Но они держались так, словно участвуют в этом походе с удовольствием.

Генрих был обычно хорошо настроен и в любую минуту готов вести свои войска на приступ непокорного города. К сожалению, всякий раз штурм почему-то кончался неудачей, и так тянулось с февраля до лета. Одной из причин, вероятно, было то, что атакующие от усердия ужасно громко орали: какой гарнизон тут не насторожится? Однажды король Наваррский даже собственноручно выстрелил из аркебузы. Это увидел с крепостной стены один из гасконских солдат и стал сзывать остальных, чтобы они полюбовались на своего короля. «Lou noust Henric!» — восторженно кричали они со стены. Он тоже очень обрадовался и во второй раз запалил фитиль. Раздался оглушительный выстрел, и осажденные замахали шляпами. Однако у герцога Анжуйского не было особых оснований для радости: его чуть не убило одним из этих выстрелов; на нем рубашку разорвало. Наварра стоял рядом и слышал, как его кузен воскликнул:

— Уж скорей бы в Польшу!

Ему давно туда хотелось, и не только из-за личных обид, нет, под Ла-Рошелью выяснилось, как плохи дела французского королевства. Всем стало ясно, что Варфоломеевская ночь — тягчайшая ошибка: ведь в стране опять идет религиозная война. Адмирал Колиньи желал, чтобы католики и протестанты соединенными усилиями боролись против Испании. В результате этой проклятой резни междоусобица опять раздирала Францию, и ко всем ее границам неслись вести о гугенотах, которые продолжают держаться в Ла-Рошели, ибо им подвозят продовольствие с моря. А войско французского короля сожрало дочиста все, что было в окрестностях, и уже начало разбегаться. Но и это было еще не самое худшее. Не так страшен голод, как страшны мысли. На высоких постах, там, где еще кормили мясом, сидели недовольные, они называли себя «политиками», и они желали мира.

Если кто-нибудь уверяет, что он жаждет мира, то неизбежно возникает вопрос: ради чего? Когда в стране мир, то на полях созревает пшеница, и важно сначала узнать, хочет ли он мира прежде всего ради своей пшеницы

или вообще. Урожай, которым интересовались под Ла-Рошелью умеренные, или «политики», назывался «Свобода вероисповедания». Они требовали права, наконец, открыто следовать своей вере и проповедовать то, что им подсказывают их убеждения и их воля. Поэтому у них был особенно зоркий глаз на те опустошения, каким подвергается страна в результате религиозной нетерпимости. Но противников свободы совести не останавливает даже опасность совсем погубить страну. Куда там! Они не замечают ни разорения, ни разгрома, лишь бы силою переделать всех людей на одну колодку. Человек с изнасилованной совестью — для них более приятное зрелище, чем созревающие поля и мирная жизнь. Они имеют еще и то преимущество, что могут столь же часто высказывать свое убогое представление о мирной жизни, как и мадам Екатерина, д'Анжу или Гиз. А тому, кто хотел просто-напросто быть свободным, выпала на долю неблагодарная задача проповедовать необходимость мира.

Таковы были размышления пленника, который хотя и командовал католическими войсками, но все же оставался пленником. Додумался он до всего этого сам и особенно после тайных встреч с заговорщиками. Вначале это были еще как бы сырые, необработанные мысли. Отчетливую форму они приняли лишь во время кое-каких бесед на морском побережье с одним человеком, служившим в том же войске, довольно скромным дворянином, отнюдь не на виду.

На собраниях «политиков» среди других бывал и д'Алансон, или Двуносый, а также некий виконт де Тюрен. Последний получил от французского двора самые точные указания относительно резни, которую предполагалось устроить здесь, в лагере, среди «подозрительных», то есть «политиков». На этот раз в числе намеченных жертв оказался и король Наваррский. Из-за него-то и тянули, — пусть его супруга сначала родит сына, а вскоре после этого последует резня. Уже его дворяне получили дружеские предостережения из ставки герцога Гиза, чтобы они как можно скорее

покинули палатки короля Наваррского; дю Га, любимец д'Анжу, которого тот постоянно держал при себе, уже осмеливался угрожать открыто. Как же тут пленнику не стоять за умеренность, когда под угрозой его жизнь?!

А партия «политиков» повторяла: да, мы умеренные! Нас охватывает гнев и омерзение, когда мы видим, что творится и в управлении, и в финансах, и в суде. Дальше идти некуда. Помочь тут могут только самые решительные меры. Д'Алансон, Наварра, Конде должны восстать открыто. Нужно создать отряды из недовольных. Мы захватим королевский флот, английские суда подвезут нам подкрепление.

Генрих только отшучивался. Но ему было страшно; он говорил: — Уж таков обычай: сначала протестантов выгоняют из их крепостей, потом с ними торгуются и крепости им возвращают, чтобы вслед за тем опять оттуда выгнать. Этот обычай и до сих пор не отменен. — Он говорил так, опасаясь, что мятежники ничего существенного не сделают; и действительно, они предпринимали только робкие попытки и тут же терпели неудачу, ибо каждый действовал наугад. Так, например, ведет себя перевертыш д'Алансон. А чего он хочет? Да всего-навсего отравить жизнь своему брату д'Анжу. Вот его единственная цель, никаких убеждений у него нет. Но если бы Наварра вздумал отстранить его от руководства, он сейчас же обратился бы против Наварры. «А мне опасность грозит больше всех, — говорит себе Генрих. — Каждый может изменить мне и предать меня!»

Потому и вышло так, что под Ла-Рошелью он отчаялся в возможности действовать и занялся философствованием. Он предавался этому занятию в обществе, а отчасти и под руководством одного дворянина, человека, не занимавшего особого положения, но уроженца юга. Дворянин этот только что сложил с себя судейское звание, чтобы попытать счастья в военном деле. Но и тут ему не удалось выдвинуться. Он и сам соглашался с тем, что нет у него способностей ни к танцам, ни к игре в мяч, ни к кулачному бою, верховой езде, плаванию и к прыганью, да и вообще ни к чему. Руки у него были

неловкие, и он не мог разборчиво писать, в чем охотно признавался. И уж сам от себя добавлял: даже печать к письму приложить не может, даже пера очинить или хотя бы взнуздать лошадь.

Всем его недостаткам Генрих дивился больше, чем если бы у его нового знакомца было столько же достоинств, ибо это сочеталось с таким складом ума, который был явно сродни уму Генриха, хочешь не хочешь, а это так. Даже видом своим этот перигорский дворянин напоминал самого Генриха: так же невелик ростом, коренаст, силен. Правда, ему было уже сорок лет и лицо стало бурым, а на лысой голове намечалась какая-то шишка. Выражение этого лица было приветливое, однако же с примесью той печали, какая появляется у человека, который жил и мыслил. Нового друга Генриха звали господин Мишель де Монтень.

Однажды Монтень сказал: — Сир, ваше теперешнее положение уравнивает вас со мной, человеком в летах. Мы оба побежденные: я — своим возрастом, вы — своими врагами, но их победа не окончательная, не то что победа лет, — повторил сорокалетний мудрец. — Одним словом, в эту минуту мы можем понять друг друга, и вам тоже понемногу становится ясно, что лежит в основе человеческого поведения. Вы жалуетесь на непоследовательность и бесцельность ваших действий. Правда, вы вините за это герцога Алансонского.

— Он перевертыш. Будь я на его месте, я бы уж нашел способ защитить свободу от насилия и помочь ей победить.

— Но это была бы прежде всего ваша личная свобода, — заметил Монтень, и Генрих, смеясь, согласился с ним.

— Вы бы вернули себе свободу. Впрочем, ваш бунт и появление англичан вызвали бы еще более губительное смятение.

Тут они прервали свою беседу, так как продолжали идти среди палаток и их могли услышать. Но потом лагерь остался позади. Из прибрежного песка торчал ствол одинокой, завязнувшей в нем пушки. Редкие часовые,

закрываясь плащом от ветра, который дул с моря, спрашивали у них пароль, и они громко выкрикивали его в морской простор: — Святой Варфоломей!

Они еще помолчали, чтобы привыкнуть к неистовому реву ветра и волн. Осажденная крепость Ла-Рошель высилась серым пятном на фоне разорванных туч и моря, с грохотом катившего свои валы из бесконечности. Какое войско дерзнуло бы атаковать эту крепость, которая высилась там, как зримый воочию форпост бесконечности? У Генриха и его спутника при виде крепости возникли те же мысли. Генрих ощутил, что толчком для размышлений явилось внезапно вспыхнувшее чувство; оно родилось где-то в недрах тела, но с необычайной быстротой дошло до горла, которое сжалось, и до глаз — на них выступила влага. И пока в нем росло это чувство, юноша познал бесконечность и тщету всего, чему суждено кончиться.

Его спутник заговорил о противоречивости человеческих действий.

— Один великий человек причинил даже вред своей религии тем, что хотел выказать себя более усердным служителем ее, чем подобало.

— Кто же это? «Insani sapiens», — проговорил Генрих, задыхаясь от ветра, дувшего ему в лицо. Гораций выразил в стихах ту мысль, что даже мудрость и справедливость могут зайти слишком далеко. А тогда разве назовешь д’Анжу «великим»? Вдохновитель Варфоломеевской ночи — и мудрость и справедливость? Совместимо ли это? Однако спутник Генриха все-таки имел в виду д’Анжу, хотя, по обычаю философов, и высказался на этот счет весьма туманно. Он привел еще ряд примеров непоследовательных поступков, и так как они были взяты из древности, то решился назвать и имена. Генриху же было важнее узнать его мнение о современниках. Однако Монтень не поддавался и не шел дальше самых общих замечаний. Но и они становятся удивительно осязаемыми, когда касаются того, что важнее жизни для человека.

— Ничто, — говорил Монтень, — так не чуждо религии, как религиозные войны. — Он заявил это прямо, хотя его слова и могли

показаться чудовищными. — Причиной религиозных войн является вовсе не вера; да и люди от них нисколько не становятся благочестивее. Для одного такая война — средство осуществить собственные честолюбивые замыслы, для другого — способ нажиться. Святые появляются не во время религиозных войн. Эти войны, напротив, ослабляют и народ и государство. Оно становится добычей своекорыстных вожделений.

Не было названо ни одного имени — ни мадам Екатерины, ни ее сына д'Анжу, ни кого-либо из протестантов. И все же Монтень говорил слова столь дерзкие, что на них едва ли отважился бы кто-нибудь другой. Не только буря и волны восставали против них — почти все человечество заглушило бы их остервенелым ревом. И Генрих лишь диву давался, как дерзает обыкновенный дворянин высказывать то, чего не осмелился бы признать вслух ни один король. У него самого иногда возникали сомнения в пользе религиозных войн; но если бы он в них окончательно разочаровался, пришлось бы вместе с тем осудить и тех, кого он чтил так глубоко: свою мать и адмирала Колиньи. Правда, «политики» под Ла-Рошелью устроили заговор, заявляя, что их цель отныне — бороться только за умиротворение. Но в этом они просто увидели новый способ удовлетворить свое честолюбие и свои вожделения. Те, кто задумал вместе с англичанами напасть на Францию, едва ли отнеслись бы благосклонно к суждениям перигорского дворянина, и, вероятно, д'Алансон, невзирая на всякое умиротворение, преспокойно заключил бы его в самую глубокую темницу и там навсегда забыл.

Генрих почувствовал столь глубокое уважение к мужеству этого человека, что в его душе исчезли последние следы недоверия.

— Какая же вера самая правильная? — спросил его Генрих.

— Разве я что-нибудь знаю? — ответил ему вопросом дворянин.

Этим он открылся и выдал себя, — люди делают так, только уверившись, что перед ними свой человек и они ему доверяют без оговорок. Поэтому Генрих взял руку Монтеня и пожал ее.

— Зайдемте вон в тот дом, — предложил Генрих. — Хозяева бежали, но свое вино они, наверное, оставили.

Дом стоял на берегу, и его, видимо, обстреливали с моря. Кто? Зачем? На это уже никогда не смогут дать ответ ни те, кто напали, ни те, кто спаслись бегством. Генрих и перигорский дворянин, пробравшись через заваленный вход. Внутри лежали обрушившиеся балки потолка, и через дырявую крышу было видно небо. Но из подвала торчал конец лестницы, и внизу нашлось вино. В бывшей кухне гости уселись на одну из балок и выпили друг за друга.

— Так и мы — гости, гости на земле, где все убежища непрочны. И мы тщетно боремся за то, чтобы сохранить их. Что до меня, то я никогда не старался добиться большего, чем мне предназначено судьбой, и, хотя уже приближается старость, я до сих пор живу в маленьком замке моих отцов.

— Сейчас война, и вы можете его лишиться, — сказал Генрих. — Выпьем!

— Я пью, но вино показалось бы мне еще вкуснее, если бы я потерял все, чем владею, а потому был бы свободен от всяких забот. Уж у меня такой характер: я всегда опасаюсь худшего, а когда оно действительно приходит, постепенно к нему привыкаю. Мне гораздо труднее переносить неуверенность и сомнение. Нет, право, я не скептик, — заявил дворянин.

— Разве я что-нибудь знаю? — повторил Генрих. Эти, слова произнес перед тем его спутник; но тот уже забыл о них. — Выпьем! — решительно сказал он. — На пороге старости следовало бы во всем быть осторожнее; но иногда я начинаю понимать одного знакомого моих знакомых, который уже под конец своей жизни нашел себе жену в таком месте, где каждый может получить ее за деньги. Так он достиг самой нижней ступеньки, а она самая прочная.

— Выпьем! — воскликнул Генрих и рассмеялся. — Вы смелый человек! — И вдруг лицо его омрачилось: подумал, вспомнил признание дворянина

относительно религии. Однако Монтень понял его иначе.

— Да, и я сделался солдатом. Мне хотелось проверить свое мужество. Познай самого себя! Только самопознание достойно того, чтобы ему предаваться. А кто знает хотя бы свое тело? Я вот ленив, вял, у меня неловкие руки; но я изучил свои органы, а потому и свою душу, которая свободна и никому не подчинена. Выпьем!

Они предавались этому занятию довольно долго.

И когда спутник Генриха, подняв кубок, запел стих из Горация, Генрих стал ему вторить:

Пусть высшие мне в счастье отказали
Быть равным им по роду и уму —
Мне их расположенье ни к чему,
Коль высшим низшие меня признали.

Затем они поднялись, помогли друг другу перебраться через развалины и, выйдя на свежий воздух, все еще продолжали вести друг друга под руку. Духи вина улетучились лишь постепенно. Генрих сказал опять под грохот и шум океана:

— А все-таки я был и остаюсь пленником!

— Сила сильна, — отозвался дворянин, — но доброта сильней. Nihil est tam populare quam bonitas[4].

Генрих навсегда запомнил эти слова, ибо услышал их в ту пору, когда они явились для него единственным утешением. Народ любит доброту, ничто так не популярно, как доброта. И, полный доверия, он спросил своего спутника: — Неужели это правда, что когда мы действуем, то как будто становимся вниз головой? Верно ли, что кто призывает к действию, призывает к смятению?

Услышав слова, которые он сам произнес в начале разговора, принимавшего несколько раз совершенно неожиданный оборот, господин

Мишель де Монтень опомнился. Он вспомнил о том, кого держит под руку, и выпустил ее; он повернулся лицом и грудью к океану.

— Господь бог на небесах, — начал он, торжественно подчеркивая каждое слово, — господь бог редко удостаивает нас возможности совершить благочестивый поступок.

— А что такое благочестивый поступок? — спросил Генрих, так же оборотившись к морю.

Монтень привстал на цыпочки, чтобы выразить то, что на сей раз познал не из погружения в себя: чье-то великое дыхание пронизало его и заставило говорить.

— А вы вообразите себе следующее: войско, целое войско опускается на колени и, вместо того чтобы атаковать, начинает молиться; так глубоко оно убеждено в том, что ему уготована победа.

И это предсказание Генрих тоже сберег в своей душе до определенного дня.

Так завершилась их беседа. Стража во главе с офицером отвела друзей обратно в лагерь. Их уже искали. Возникло опасение, что король Наваррский бежал.

Вниз головой

Тем временем Париж наводнили невиданно блистательные господа в драгоценных мехах. Это были поляки, приехавшие за своим королем, ибо д’Анжу все-таки избрали на польский престол при великом ликовании польского народа, который собрался для этого на огромном поле. Казалось, новому королю следовало поторопиться: чего еще ждать от этой неблагодарной крепости, которая никак не хочет сдаваться! Но истинная причина, если бы только он мог признаться в ней, заключалась в том, что он

ждал смерти своего брата Карла. Все же приятнее быть королем Франции, чем Польши. Карл, который отлично был об этом осведомлен, слал ему в Ла-Рошель одного гонца за другим, торопя его с отъездом. Ведь и выздороветь легче, если нет подле тебя никого, кто бы каждый день и каждый час надеялся, что у тебя вот-вот из всех пор брызнет кровь.

Мадам Екатерина относилась к обоим сыновьям по всей справедливости: она настаивала на отъезде своего любимца, чтобы больной успокоился. А вместе с тем позаботилась о том, чтобы в случае чего права любимца остались за ним. Успех в Польше, забота о преемнике Карла и виды на Елизавету Английскую, которой она послала весьма приукрашенный портрет Двуносого, — все это требовало от мадам Екатерины немало сил и внимания, и она уже не могла в любую минуту сказать о каждом, как у него и что. А уж ей ли не знать, насколько это важно, если хочешь властвовать сама, держа других в подчинении. Будь у мадам Екатерины голова не столь забита, все дальнейшее едва ли случилось бы.

Уже само путешествие к границам государства происходило как-то беспорядочно. Ведь двор непременно должен, был сопровождать польского короля до самой границы. Но целым двором ехать трудно даже в обычных условиях. А каково это, если обстоятельства требуют особого величия и к тому же сопровождающие королевский поезд поляки расскажут обо всем в Варшаве? Кареты, всадники, скороходы, вьючные животные, возы с припасами, вокруг идут солдаты, сзади тащатся зеваки и нищие, и все это движется через всю страну, катится и топает по дорогам, по глубоким колеям. А ведь гати из высохшей глины легко размываются дождями. Когда идет дождь, на кареты надевают чехлы, всадники закутываются в плащи. Все спешат, бранятся, съеживаются. Народ уже не сбегается со всех сторон, чтобы поглазеть, разинув рот, или бухнуться на колени. Кругом широкие открытые равнины, на которые льются потоки дождя, только там и здесь среди пашни выпрямится крестьянин, неодобрительно поглядит на

странствующий двор и снова согнется под мешком, которым он накрылся. Порядочные люди сидят дома или трудятся, накрывшись мешками. А двор кочует под дождем, точно цыганский табор.

Но вот выглянуло солнце, и вдали уже показался город — двор опять преисполнен величия. Стаскивают чехлы с карет, вспыхивает позолота, привинченные к ним короны блестят, развеваются перья. Всюду бахрома и блеск, шелк и счастье. Одни придают себе заносчивый, вид, другие улыбаются — кто строго, кто милостиво. Наконец поезд входит в город. Двор горделиво принимает все, что положено, — почтительность, склоненные спины. Звонят колокола. Старейшины города подносят хлеб-соль и уплачивают налоги под решительными взглядами вооруженных людей. Карла Девятого приветствуют, приходится выпить целую чашу вина.

Это пошло ему во вред, бедняге королю уже было не под силу осушать столь вместительные сосуды, его утомляли и тряска, и шум, и постоянная близость толпы. Но хуже всего переносил он воспоминания, а они неотступно преследовали его, они путешествовали вместе с ним, как бы далеко он ни отъехал от замка Лувр. Поэтому он молча выслушивал торжественные приветствия, недоверчиво косился на всех, кто пытался протолкаться к нему поближе; ибо отныне и до конца он обречен быть один. Двор таскал его за собой, по всем путям и дорогам, от толпы к толпе, хотя все ему опостылели и он им опостылел. Исхудавший и опять побледневший, он чувствовал себя столь же далеким от всего, что его окружало, как чувствовал себя, когда был еще бледным, надменным мальчиком, таким, как на своих портретах.

Карлу не удалось добраться до границы своего государства. В местечке Витри его пришлось оставить. Дворяне злоупотребили его именем, чтобы состряпать Варфоломеевскую ночь, они бросили его больного в Витри и поехали провожать дальше его брата д’Анжу. Только кузен Наварра остался с ним, но у того были свои причины. И Карл угадал, какие: Генриху, конечно, хотелось удрать. Он, видимо, считал, что вокруг одра больного уже не

шныряют шпионы. Кареты с фрейлинами укатили, и старая королева сейчас не следит за ним. Почему же он не бежал на юг? Но Генрих лелеял более широкие планы, вернее, — более безрассудные. Он дал кузену Франциску уговорить себя и обещал податься с ним в Германию. Протестантские князья, дескать, их обоих только и ждут. Соединившись с ними, кузены вторгнутся в королевство, кузен Франциск сядет на престол, раньше чем его брат д'Анжу успеет вернуться из далекой Польши. Карл уже и в счет не шел.

Между Суассоном и Компьеном д'Алансон и Наварра попытались бежать, но были схвачены.

Тут-то мадам Екатерина и поняла, что внешнеполитические заботы слишком отвлекли ее от наблюдения за семьей. Своему больному сыну она заявила:

— Пока я ездила к границе, ты был все время с корольком и самое важное проворонил! Никогда тебе не стать настоящим государем. — Незачем было теперь щадить Карла! Ведь его дни сочтены!

Карл лежал, подперев голову рукою, и смотрел на мать тем же косящим взглядом; он ей ничего не ответил. А мог бы сказать: «Я знал об этом». Но он тоже достиг границы, правда, иной, чем путешествующий двор, и вот он молчал.

А мадам Екатерина уже не обращалась к нему, она говорила сама с собой: — Мне все-таки удалось в последнюю минуту перехватить беглецов, оттого что кое-кто наконец-то проболтался. — Кто — она не сказала. Тут в дверь постучали, оказалось — Наварра; как ни в чем не бывало, он потребовал, чтобы его впустили к королю. Но вместо этого услышал, как королева-мать приказала ответить ему, что король спит. Между тем она говорила громко — так не говорят в комнате спящего. При столь явном унижении присутствовало большое число дворян. Наварра, опустив голову, торопливо удалился в свою комнату. Но с двери уже были сняты замки и задвижки, офицеры могли входить в любое время и заглядывать под кровати;

так они обращались и с королем Наваррским и с герцогом Алансонским; эти же люди были в свое время одними из главных участников Варфоломеевской ночи. Так обстояло дело в Суассоне.

Д'Арманьяка, спавшего в комнате своего государя, обыскивали всякий раз, когда он в нее возвращался. Не только его — задержали даже королеву Наваррскую, пожелавшую пройти к своему супругу. Наконец ей разрешили побеседовать с ним при открытой двери. Но их подслушивали, поэтому она говорила шепотом и вдобавок по-латыни.

— Дорогой повелитель, — сказала Марго кротко и печально, — вы очень меня обидели, и это после всего, что я сделала, чтобы спасти вас! Даже врачи поверили, будто я беременна. Увы! Этого не было и, боюсь, не будет. Когда мне показалось, что пора, я даже подвязала себе подушку к животу. Однако можно обмануть врачей, но не мою мать, и я не хочу даже говорить о том, что мне пришлось вытерпеть. И вот в то время, как я заботилась только о вашем благе, что вы задумали?

— Да ничего! — уверенно и небрежно бросил Генрих. — А что мне было задумывать? Неужели ты не видишь, что твоя дорогая мамаша только ищет предлога, чтобы отправить меня на тот свет?

— И правильно делает, — отрезала Марго… другая Марго, принцесса Валуа. — Ибо вы враг нашего дома, вы хотите его погубить! — Другую Марго рассердила его неискренность, и в голосе у нее появились жесткие нотки.

Но тем непринужденнее держался Генрих:

— Неужели ты веришь в какой-то заговор? Значит, по-твоему, я хотел призвать к нам пузатого Нассау? — Генрих надул щеки, запыхтел и мастерски изобразил, как дышит толстяк. Но она не рассмеялась, в ее прекрасных глазах стояли слезы.

— Даже мне ты лжешь, даже сейчас! — с трудом проговорила она. Но он продолжал отрицать это, он дерзко подшучивал над нею и окончательно

вывел Марго из терпения. Обозлившись, она крикнула ему на этот раз по-французски: — Нет, ты дурак, ты просто дурак! Нашел, с кем связаться! С моим братцем д'Алансоном! И воображаешь, что он будет хранить твою тайну!

— Он и хранил ее очень строго, — настаивал Генрих, только чтобы еще больше раздразнить Марго.

Она и в самом деле потеряла всякую власть над собой и, наклонившись вперед, бросила ему в лицо: — Да это он и выдал тебя! — Но Генрих продолжал подзадоривать ее: — На худой конец — одной-единственной особе, и она мне известна. — Тут Марго торопливо и необдуманно выпалила: — Дуралей, я-то ведь лучше знаю, кому! И эта особа, конечно, не стала долго раздумывать, она все выложила матери!

Вот оно, признание. Значит, доносчица — сама Марго. Выдав свою тайну, она почувствовала страх и тоску и отступила к двери. А он — у него и в мыслях не было наброситься на нее; напротив, он добродушно крикнул в ответ: — Вот я и узнал наверняка! А тебе проболтался Ла Моль!

Ла Моль принадлежал к числу тех красавцев-мужчин, которые, подобно Гизу, гордятся своим ростом и мощными телесами. Марго питала к нему слабость, она неизменно возвращалась к излюбленному ею типу мужчин. Генрих это видел, потому-то он и назвал имя Ла Моля, словно Марго уже настолько с ним сблизилась, что любовник мог посвятить ее в тайну своего сообщника д'Алансона, а она тут же побежала с доносом к матери. Таков был скрытый смысл всего, что говорил Генрих, и вот он, наконец, с улыбкой бросил ей в лицо: «А тебе проболтался Ла Моль!».

Она прикусила губу; она размышляла: «Ты сам виноват, ну и получишь рога». Придя к такому решению, она снова обрела всю свою кротость. Подошла к нему, преклонила колено и сказала с мольбой: — Дорогой мой повелитель, пусть между нами не останется и следа от этой ничтожной размолвки.

Затем она удалилась. А он смотрел ей вслед и думал о своей мести, так же как она о своей.

Скорее! Скорее! Заговоры следуют один за другим, как дни в замке Лувр, как месяцы, а потом и годы. Решительный удар был намечен на одно февральское утро — двор как раз находился в Сен-Жермене. Генрих и его кузен Конде поедут на охоту и не вернутся. Страна восстанет, все «умеренные» уже наготове — католики и протестанты. Губернаторы провинций поддержат, один гарнизон уже на нашей стороне. Принцам остается только пуститься в путь с пятьюдесятью всадниками, и они — в безопасности. А вместо этого арест, крушение всех надежд, вынужденный, унизительный отказ Наварры от всяких затей подобного рода и клятва никаких мятежников впредь не поддерживать, если они намереваются нарушить порядок в государстве. Наоборот, он должен хранить верность престолу и решительно за него бороться. Подо всем этим Генрих подписался; он сам себе не верил, даже когда уже держал перо в руке. Не верила ему и мадам Екатерина. Этот королек — отчаянная голова, почти такой же сумасброд, как и ее сын д'Алансон, который в решающий день вдруг отказывается ехать на охоту и остается в постели. Надеяться можно только на нелады между заговорщиками, да к тому же всегда найдется изменник, который всех выдаст. В Сен-Жермене эту роль сыграл Ла Моль, человек с красивым и мощным телом, наконец украсивший рогами голову Генриха. А о чем умолчит Ла Моль, то откроет Двуносый, только бы выгородить себя.

И мадам Екатерина действительно простила д'Алансону: как-никак он ей сын, к тому же не очень-то опасен. Из пренебрежения пощадила она и Конде и позволила ему уехать, возложив на него обязанность именем короля править Пикардией. Вместо этого Конде удрал в Германию; но его побег мало трогал мадам Екатерину. Нет, по-настоящему она не доверяет только одному человеку, которого с притворным презрением зовет «корольком». Крапивница, или королек, — очень маленькая птичка, однако в ее глазах он

был еще недостаточно мал. С тех пор как ее дочь стала его обманывать, королева отказалась от мысли расторгнуть их брак.

Но если только его благочестивые гугеноты узнают, что Марго ему изменяет, он, конечно, тут же вырастет в их глазах! Ведь за кого они его теперь считают? Чего могут ждать от него? Чтобы спасти собственную шкуру, он опять сделался католиком. Остатки своей доброй славы он растрачивает в бессмысленных, авантюрах и отрекается от каждой, как только она проваливается. Ниже всего Наварра скатился тогда, когда, желая предать короля, стакнулся с любовником собственной жены.

Двор стоял в Венсене; здесь было еще меньше возможностей для тех, за кем зорко наблюдала мадам Екатерина. И все-таки они затевали все новые козни, вернее, те же, что и обычно: побег, мятеж, приглашение немецких войск.

Однако на этот раз зачинщиком оказался сам предатель; Давно ли их выдал Ла Моль, и вот они теперь на него же положились! В Сен-Жермене они поняли, что это за человек, а в Венсене успели уже позабыть? Чем объяснить такое легкомыслие? Пусть д'Алансон — сумасброд, а Генрих озлоблен тем, что ему приходится давать унижающие его объяснения. Но все-таки ни один человек, если он в трезвом уме и твердой памяти, не будет действовать столь неосмотрительно, да еще при дворе, где, как известно, следят за каждым шагом; особенно же — если дело касается столь опасных личностей, как Наварра и его кузен Франциск, уже не говоря о том, что они и сами друг другу не доверяют. Но, видно, в человеке живет неискоренимое стремление действовать во что бы то ни стало, это похоже на тревожный сон. Ведь уж, кажется, оба молодых человека на горьком, опыте узнали, что такое Ла Моль: предатель по натуре, и к тому же друг принцессы, которую мать не выпускает из своих страшных когтей и которая все ей передает. Может быть, сама Марго и была подстрекательницей своего любовника и сделала это именно по приказу матери? Мадам Екатерине хочется наконец знать, кто же все эти

люди, готовые ей изменить, и какой вид примут союз ее врагов и их планы, если она даст этим планам дозреть до конца и до кровавой расправы!

А союз этот выглядел так: два молодых принца, которые по разным причинам вздумали словно стать вниз головой и бегать на руках, отчего, как известно, кровь приливает к глазам и человек ничего не видит. Затем несколько влиятельных вельмож, из тех, которые считают себя особенно разумными, сдержанными и верными. Они вообразили, будто понимают больше старой умницы королевы, и доказывают это тем, что вступили в сообщество со всякими проходимцами, в числе которых один алхимик, один астролог и один шпион. Последний изо дня в день обо всем осведомлял мадам Екатерину, и эти дни она особенно любила — дни, полные внутреннего напряжения и радостного чувства превосходства: так кошка, притаившись, подстерегает беззаботную птичку. Вот птичка уже напрыгалась и готова улететь; тут-то ее и настигает когтистая лапа.

Герцог Монморанси, родственник покойного адмирала, а также маршал Коссе исчезли в казематах Бастилии. Всенародно были казнены на Гревской площади оба зачинщика: один итальянец и вместе с ним этот самый Ла Моль, что доставило мадам Екатерине истинное удовольствие, ибо она была мастерица на такие шутки: ведь Ла Моль служил ее же орудием, хотя и не догадывался об этом. Кроме того, он был дружком ее влюбчивой дочки — уж та задала ей жару, когда покатилась его голова! Прямо скорбь восточной вдовы! Марго взяла себе эту отрубленную голову и приказала впрыснуть в нее соответствующие составы, чтобы сберечь во всей мужской красе; убрала драгоценными каменьями и повсюду таскала с собой; но когда новый мужчина захватил и увлек Марго, она бережно похоронила голову, заключив ее в свинцовый ящик.

Что касается остальных заговорщиков, то ведь астрологам надлежит вопрошать звездный свод о судьбах сильных мира сего, а алхимики, со своей стороны, должны прозревать будущее в испарениях металлов. Поэтому мадам

Екатерина никак не могла решиться отправить на тот свет двух великих посвященных. Она тут же решила, что хотя эти мудрецы и надули своих товарищей, но ей они, конечно, будут предсказывать правду.

Иначе поступила она с зятем Наваррой. Хорошо, пусть и ее сын, этот дуралей д'Алансон, подвергнется позорящим принца допросам и изобразит из себя пленника. Но своего королька старуха забрала к себе в карету. Уютно посиживала она там, искренне наслаждалась и, не спуская с него любящего взора, везла его обратно в Париж, в замок Лувр. А он-то надеялся, что не так скоро увидит опять его ненавистные стены. Оказалось, окна его комнаты забраны решеткой, и кому же поручена охрана Генриха? Его дорогому дружку, капитану де Нансею. Да, узник попал в надежные руки.

Он понял и образумился. Это был как бы толчок, вызванный внезапной остановкой после слишком торопливого и беспорядочного движения. Какая-то дрожь безнадежности охватывает члены, и голова никнет от небывалой усталости.

— Сир, — посоветовал ему д'Арманьяк, — не лежите так много! Танцуйте! Главное же, показывайтесь при дворе! Тот, кто уединяется, вызывает подозрения, а их уж и так достаточно.

Генрих ответил: — Моя жизнь кончена.

— Она для вас даже еще не начиналась, — поправил его первый камердинер.

— Ниже пасть нельзя, — жалобно продолжал несчастный. — Я очутился на последней ступеньке, а она самая надежная, — почему-то вдруг добавил он. Д'Арманьяк нашел его речь несколько бессвязной, и в самом деле Генрих спросил: — Разве я был не в себе? Зачем, — продолжал он, — я это делал? Я же знал, какой будет конец.

— Заранее никто ничего знать не может, — вставил д'Арманьяк. — Все зависит от случая.

— Но ведь решать должен был мой разум, а где у меня была голова? —

возразил Генрих. — Тем сильнее смятение нашего духа. Чем больше мы предаемся интригам, тем сильнее смятение. И это потому, что в них участвуют и другие, а они ненадежны. И я сам становлюсь в конце концов ненадежным. Поверь мне, д'Арманьяк, большинство наших поступков мы совершаем в состоянии неразумия, точно на голове стоим.

Крайне удивленный, д'Арманьяк заметил: — Не ваши это слова, сир.

— Я слышал их от одного дворянина, которого знавал под Ла-Рошелью, они произвели на меня глубочайшее впечатление, и самое удивительное вот что: едва услышав, я их тут же забыл, однако начал совершать поступки, от которых помрачается, затуманивается рассудок, сознание.

— А вы больше не думайте об этом, — посоветовал первый камердинер.

— Напротив, я никогда этого не забуду. — Генрих встал с кровати, выпрямился и решительно заявил: — Никаких начальников больше нет! Отныне я сам себе единственный генерал.

Так он сделал в высшей степени своеобразный вывод из того положения, что большую часть наших действий мы совершаем, как будто стоя вниз головой. Дворянин под Ла-Рошелью для себя лично сделал бы иной вывод. А вместе с тем ему ли не знать, что всякая истина имеет оборотную сторону, примеры же, взятые из древности, помогли ему понять душевный склад двадцатилетнего юноши: у этого юноши ловкие руки, он схватывает мысли, как мячи, он прыгает, он может оседлать коня. «Я стою на пороге старости, а он — прообраз молодости, которой я слишком мало пользовался».

Так размышлял господин Мишель де Монтень в своей далекой провинции, ибо он тоже не забыл ни одного слова из их беседы на морском побережье.

Мамка и смерть

В следующем месяце Карлу Девятому должно было исполниться двадцать четыре года; но 31 мая 1574 года он лежал на кровати и умирал. Это было в Венсене.

Все уже знали о предстоящем событии, и потому замок точно вздрагивал от тревоги, то и дело прорывавшейся шумом. Партия, стоявшая за польского короля, уверяла, что он успеет вовремя вернуться во Францию и покарать всех изменников — так они называли приверженцев Двуносого. Отсюда раздраженные голоса и звон оружия, но это было не все: под сводами отдавались громкие звуки команды, все выходы охранялись, и особенно гулко гремели тяжелые шаги охраны у двух дверей, на которые было обращено неусыпное внимание мадам Екатерины. За этими дверями находились ее сын д'Алансон и королек — и они хорошо делали, что не показывались, а сидели там, у себя, под охраной. Только выйди они — и ни один не сделал бы и нескольких шагов. Первый же призыв к мятежу кого-либо из их друзей — и жизнь обоих немедленно подверглась бы опасности.

Сегодня здесь правила смерть, ибо король умирал. Мать все-таки дотащила его до Венсена: этот замок легче держать под наблюдением, чем Лувр. Ни народ, от которого можно ждать чего угодно, ни противники ее любимца д'Анжу не могут ей здесь помешать, когда она провозгласит его королем. Королем! Это уже третий сын! Сегодня умрет второй, очередь будет за третьим, а в запасе у нее есть еще четвертый. Если оба они будут жить недолго, то в конце концов настанет день, когда мадам Екатерина возьмет на себя все заботы об управлении государством, и та роль, которую она выполняет сейчас, видимо, так и останется за ней навсегда. Ибо для того, чья жизнь протекает в действии, существует только настоящее: будущее и прошлое тонут в нем. Для нее Карл Девятый, например, никогда и не жил, так как сейчас ему предстоит умереть. И уж, конечно, не мать будет помнить о нем. Он лежал один.

Обвязав умирающего платками, пропитанными останавливающим кровь

целебным бальзамом, врач ушел. И Карл понял: врач уже не надеется остановить кровь. Он просто хочет избавить больного от тяжелого зрелища: пусть не видит, как на коже повсюду выступают и сплываются капли багряной влаги, пусть лучше не слышит, как от него пахнет. Благовонный бальзам заглушит запах крови, — конечно, ненадолго, думает Карл. Даже когда повязки были только что наложены, Карл потягивал носом и не мог уже забыть до конца, как пахнет его последний часок. Он был когда-то крепким молодым человеком и сохранил для смерти всю ту силу, которую жизнь уже не хотела от него принять: силу познания, силу присутствия духа.

«Мой врач, Амбруаз Паре, когда-то перевязывал адмирала, — думал Карл. — Вместе с адмиралом должен был погибнуть и он, но спасся, выскочив на крышу. Хорошо, если бы можно было бежать через крышу! Я знаю! Я все знаю! Но я всего этого, наверное, не знал бы, если бы по моей вине не был убит адмирал. И я знаю, почему сейчас за стеной такой шум. Почему меня, невзирая на мои страдания, привезли сюда. Почему я лежу теперь совсем один и никому уже нет дела до меня».

— Я умираю, — проговорил он вслух.

— Это правда, сир, — отозвалась его мамка. Она сидела на ларе и вязала. Когда ее питомец открыл глаза и заговорил, она поднялась и отерла ему лицо. Но платка не показала.

— Хорошо, кормилица, что ты не болтаешь вздору, как этот врач, и не стараешься обмануть меня. Я знаю, и я готов: ведь я уж ни на что больше не гожусь. И я не хочу быть, как иные, которые под конец еще соскакивают с кровати, кричат и стараются убежать от смерти. Куда и зачем? Хотя у меня, конечно, еще хватило бы сил встать с кровати, напугать двор и мою мать этими белыми тряпками, моим окровавленным лбом и заставить их всех разбежаться.

— Но ты же король! — радостно напомнила она ему с пробудившейся безрассудной надеждой. Только кормилица и осталась ему верна. Двадцать

четыре года без одного месяца была она благодаря ему особой высокого ранга. Накупила земли столько, что теперь до конца своих дней обеспечена; и лет ей всего немногим за сорок, красивая, ядреная женщина. Но твой король не умрет без того, чтобы ты, кормилица, не проводила его часть пути, ведущего во мрак. Да, его последние содрогания и прощальный шепот сливаются с его первым движением и первым плачем. Тогда ты держала его на коленях, которые горделиво напрягались, и прижимала к своей полной груди. Так же и теперь, кормилица, ты хочешь подержать его напоследок.

Он решил не кричать и не уклоняться от предстоящего ему, но тяжело вздыхал, охал, и видно было, что ему страшно. Перед ним вставали видения, даже теперь, среди бела дня, он слышал жуткие голоса, не принадлежавшие живым.

— Ах, кормилица, как много крови, сколько убитых! Дурные у меня были советчики. Только бы господь простил и сжалился надо мной!

— Послушай, король! Разве ты ненавидел нас, протестантов? Нет, ты всосал нашу веру с моим молоком. Сир! Вся кровь убиенных да падет на тех, кто их в самом деле ненавидел! Ты был неповинным младенцем, с тебя господь не взыщет.

— А что сделали с твоим неповинным младенцем? — жалобно отозвался он. — Разве это можно понять? Я… да! Ничто из содеянного мной не мое, и ничего из того, что было, я не могу взять с собой. А когда бог спросит меня про Варфоломеевскую ночь, я пробормочу: «Господи! Я, наверно, проспал ее!»

Голос больного перешел в шепот, он задремал. Мамка приложила к его лицу чистый платок, затем расправила. На нем отпечатлелись кровавые очертания этого лица.

Так как его дыхание стало тяжелым и хриплым, она вытащила из-под его головы подушку; и вот он лежал перед нею, вытянувшись во весь рост, и она сделала то, чего он так же не должен был видеть, как и кровавый платок: она

сняла с него мерку. С величайшей тщательностью обмерила мамка тело своего короля и, как некогда клала его в колыбель по своей должности и по праву, должна была теперь положить в гроб. И сделать второе было ей не труднее, чем первое: она была женщина сильная. Он же, напротив, стал опять легким, как дитя. Долгие годы была она свидетельницей того, как увеличивался его рост и вес! Одно время его лицо сделалось багровым, движения несдержанными, голос гремел. Задумчиво смотрела она на него теперь, когда он стал опять такой тонкий и бледный, а скоро и совсем затихнет. Между началом и концом своей жизни он пролил кровь многих людей, теперь его собственная кровь медленно вытекала из него. Мамка чувствовала, что ни того, ни другого нельзя было предотвратить, — все это происходило ради каких-то неведомых ей целей. Теперь оставалось одно: «Я, его кормилица, положу его в гроб». Она одобряла все, что происходило, и глаза у нее были сухи.

Наступил вечер, вечер накануне Троицына дня. Вдруг Карл проснулся. Мамка догадалась об этом только по его дыханию. Она зажгла свет: вот диво — кровотечение прекратилось. Но он очень ослабел и лишь с трудом пошевелил рукой, чтобы объяснить ей, чего он хочет. Мамка сначала не поняла, хотя посадила его на кровати и приложила ухо к его губам.

— Наварру, — прошелестел он, тогда она догадалась.

Распахнув двери, она выкрикнула приказ короля, охрана передала его дальше, и кто-то побежал выполнять. Офицер поспешил, конечно, не к Генриху, а к мадам Екатерине. Поэтому она первая появилась у одра умирающего сына. Мамка умыла ему лицо, оно казалось высеченным из белого камня и невыразимо отстраняющим навязчивость живых. Мадам Екатерина со своей теплокровной натурой убийцы наталкивается на что-то совершенно ей чуждое, даже жуткое. Так ее дети раньше не умирали. Что-то уж слишком благородно! Этого человека я не знаю. Этот никогда не вылезал из моей утробы. Хорошо, что здесь ждут еще кое-кого!

А тем временем Генрих Наваррский шел дорогой страхов — по сводчатым коридорам, словно ощетинившимся от множества вооруженных людей. Мороз подирал по коже при виде всего этого обнаженного железа — аркебузы, алебарды, бердыши. Он понял, что здесь хозяйничает смерть, понял не хуже, чем сам Карл, но при этом вся его горячая кровь осталась при нем, и у него были ноги, чтобы бежать отсюда. Генрих действительно запнулся и чуть не повернул обратно. Однако пересилил себя, вошел к королю и опустился на колени. От двери и до кровати он полз на коленях. И тут услышал, как прошелестел голос Карла: — Брат мой, теперь вы теряете меня, но вас самого давно уже не было бы на свете, если бы не я. Один боролся я против всех, кто замышлял убить вас, и вы за это не оставьте в будущем мою жену и ребенка. В будущем… — повторил он, и, как ни тихо говорил Карл, это слово прозвучало громче остальных. «Он знает, что я должен стать королем Франции! — подумал Генрих. — Умирающий провидит грядущее».

Так-то обстоят дела; вот почему мадам Екатерина в чрезвычайном смущении. Правда, гороскопы и испарения металлов опровергают слова ее умирающего сына. А все-таки подобные слова чреваты последствиями; итак, будем начеку! Карл силится еще что-то завещать Генриху. Вероятно, он хочет предостеречь его, это видно. — Не доверяй моему… — с трудом начинает он, но тут королева прерывает его: — Молчи! — И так как Карл окончательно изнемог и упал обратно на подушки, Генрих так и не узнал, кого именно ему следует больше бояться — д’Анжу, который его ненавидит, или д’Алансона, своего ненадежного единомышленника. И он решает остерегаться обоих.

Мадам Екатерина, убедившись, что Карл уже ничего больше не скажет, ушла. Генрих, коленопреклоненный, дождался начала агонии.

В конце концов мамка осталась одна со своим питомцем. Склонившись над ним, она ловила его тяжелые вздохи, не из сострадания к тому, кто уже не чувствовал страданий, а просто она не хотела пропустить последнего вздоха.

И она чувствует, что перед этим угасающим духом сейчас таинственно брезжат только самые ранние, давно забытые, никому, кроме них двух, неведомые минуты. Они пришли им на память одновременно, и, бок о бок с отходящим от этого мира, она вернулась к тем далеким дням. Его губы вздрагивали лишь от судорожного дыхания; и все-таки она расслышала слово «лес», все-таки уловила слова «ночь» и «устал». Ребенок заблудился в лесу Фонтенбло, и теперь ему страшно в темноте. Это случилось в незапамятные времена его детства и теперь, перед самым концом, еще раз. И она тихонько запела — вместо него. Повторяясь, нижутся друг за другом все те же слова, и мамка выводит вполголоса:

Стало, дитятко, темно,
Стало холодно давно.
Мрак ночной в лесу залег.
Дитятко, твой путь далек… —

тянет мамка, убаюкивая его и себя.

Дитятко, где дом родной?

Вдруг она замечает: что-то свершилось.

Ты устал — а где постель?..

Ей-богу, это и был последний — его последний вздох. И она тут же выпрямляется и, закрывая ему глаза, с чувством доканчивает:

Мамка в гроб тебя кладет
На покой, как в колыбель.

Поучение

Несчастье может даровать неожиданные пути к познанию жизни. Казалось бы, столь высокородному принцу не суждено было в удел такое обилие бедствий. Бесстрашный, равнодушный ко всем предостережениям, он попал в беду, как попадаются в капкан. И ему не вырваться; тогда он решает извлечь пользу из своего нового положения. Отныне жизнь показывается ему с иных сторон, нежели те немногие, которые зримы для счастливцев мира сего. Суровы уроки, которые она ему преподает, но насколько же глубже они проникают в душу, чем все, что занимало его в дни безмятежного неведения! Он учится настороженности и скрытности. Это всегда может пригодиться, а с другой стороны, ведь ничего не теряешь, отирая плевки унижений, выращивая в себе ненависть и видя, как умирает любовь, когда ею помыкают. При некоторой одаренности все это можно охватить мыслью так, что превратится оно в стойкий опыт души. Немного погодя эти бедствия приведут его на путь сомнения во всем; но, побывав в шкуре угнетенных, молодой государь, прежде ничего не ведавший, сделается человеком мудрым, трезвым и снисходительным — столько же от доброты, сколько от презрения; вместе с тем, действуя, он окажется способным судить самого себя.

До того он слишком много суетился без смысла и толку, а теперь начнет совершать поступки лишь по зрелом размышлении, остерегаясь чересчур непосредственных порывов, И если тогда можно будет о нем сказать, что ум его выше страстей, то этим он будет обязан своему былому плену, когда он проник в их истинную природу. Правда, потребовалась необычайная выдержка, чтобы не пасть во время столь долгого испытания. Лишь натура уравновешенная и наделенная чувством меры может безнаказанно подражать распутным нравам этого двора. И лишь такая натура способна, отважно погрузиться в пучину мучительных дум и все же сохранить в себе силы и

вернуться к душевной ясности, при свете которой совершаются и великие деяния, полные благородного великодушия, и повседневные поступки, внушенные всего лишь здравый смыслом…

VI. Немощь мысли

Нежданный союз

Что это случилось с Марго? Она вдруг заявила о своей готовности помочь бегству и того и другого — короля Наваррского и своего брата д’Алансона. Пусть один из них, переодевшись в женское платье, сядет рядом с ней в карету, когда она будет выезжать из Лувра. Она имела право взять с собой провожатую, и той разрешалось быть в маске. Но так как беглецов было двое и ни один не хотел уступить другому, то план этот не осуществился, как и многие другие. Впрочем, Генрих никогда в него и не верил. Ведь уж сколько таких планов сорвалось. Он нашел, что Марго прелестна в своем великодушии, и только потому не отказался сразу же. Видя, как велико несчастье Генриха, она пожалела о том, что некогда сама выдала его матери. Он был тронут, хотя и угадывал крывшиеся за всем этим личные побуждения: желание отомстить мадам Екатерине за смерть своего Ла Моля.

Даже во время торжественного погребения Карла Девятого, через сорок дней после его смерти, Генрих только и думал о том, как бы удрать. Была сделана еще одна попытка, — предполагалось, что Генрих уедет из Лувра на лодке и переправится на тот берег. Неудача вызвала в нем бешеную ярость, он стал выкрикивать самые нелепые угрозы, но на этом дело и кончилось.

Отныне к нему могли подъезжать с самыми соблазнительными выдумками — Генрих относился к ним совершенно спокойно. Ни следа прежней опрометчивости. Правда, когда такие предприятия обсуждаются слишком долго, все в них становится сомнительным, не только исполнимость самого плана, но и его желательность. Это верно как для планов побега, так и для всех случаев жизни. Наварра советовался много и со всеми. Ночью у него были для этого женщины, днем мужчины. И каждый из них мог думать, что Генрих его развлекает, или дурачит, или почтительно выслушивает. Одни видели в нем придворного весельчака, другие искали возвышенные чувства, но он всех водил за нос. Даже когда изредка дарил кого-нибудь своей откровенностью, то старался, чтобы это было потом разглашено и послужило его успеху. И пользовался любым случаем, чтобы лишний раз выразить свое восхищение перед мадам Екатериной. Послушать его, так Варфоломеевская ночь — шедевр мудрой политики. Вопрос только в том, что было гениальнее со стороны королевы: убить Жанну и Колиньи иди даровать Генриху жизнь.

— Со временем, когда я стану умнее, — говорил Генрих, — я, вероятно, пойму и это. Правда, я и до сих пор не знаю, какими судьбами я еще жив, но моя мать и адмирал были принесены в жертву ради достижения тщательно продуманной цели. Только дурак мог бы затаить в сердце месть. А я просто молод и любознателен.

Старуха узнала об этом, и если даже она поверила ему хотя бы наполовину, то сама эта ненадежность Генриха пленяла ее. Его же влекло к Медичи как раз то, что он находился в ее власти. Оба испытывали друг к другу любопытство и держались настороже, как бывает только при опасности. Иногда она пускалась в необъяснимые откровенности. Так, однажды вечером призналась, что он далеко не единственный ее пленник.

Не свободен даже король, ее любимчик. Она держит его в своей власти с помощью волшебных зелий, пояснила Медичи и подмигнула.

Король Генрих — третий французский государь, носивший это имя, —

приехал из Польши переодетым. Когда он был в Германии, они могли бы захватить его.

Однако там этого не сделали. Здесь же, в его собственном замке, Лувре, французский король оказался в плену у своей матери и ее итальянцев, которым удалось пролезть в канцлеры и маршалы. Только иноземцы, откровенно призналась она своему другу Наварре тридцатого января, под завывание ночного ветра и дребезжание оконных стекол, любой нацией должны править только иноземцы. Пришлый авантюрист никогда не побоится пролить кровь чужого народа. А если пришлого не найдется, так пусть этот народ пропадает пропадом. Таков закон, он непреложен, благополучие развивает в нациях легкомыслие. Особенно французы — эти любители всяких памфлетов. Лучше, если люди дрожат, чем зубоскалят.

— Вот уж правда-то, мадам! — воскликнул Генрих с воодушевлением. — Но как бы вы стали награждать поместьями всех ваших соотечественников, которые перебрались во Францию, если бы не существовало верного средства: когда нужно, вы приказываете удавить одного или нескольких сидящих в тюрьме французских поместных дворян.

Мадам Екатерина прищурила один глаз, как бы подтверждая справедливость его слов.

— Среди удавленных вами, поместья которых вы отобрали, был даже секретарь вашего сына, короля.

— Попробуй только сказать ему об этом! Ни у кого еще не хватило смелости.

Так говорила старая королева, ибо в минуты особого доверия называла своего королька на «ты». Она наградила его шлепком и продолжала совсем другим тоном — лукаво и вместе с тем таинственно.

— Королек, — начала она. — Ты вот мне подходишь. Я давно за тобой наблюдаю и убедилась, что небольшое предательство тебя не испугает. Люди слишком в плену у предрассудков… А что такое в конце концов

предательство? Умение идти в ногу с событиями! Ты так и делаешь, потому-то твои протестанты тебя и презирают — по всей стране и в стенах Лувра, хотя тут их осталась какая-то горсточка.

Генрих испугался: «Что подумают обо мне господин адмирал и моя дорогая матушка? Вот я сижу и слушаю эту старуху, а надо бы взять и удавить ее. Но все еще впереди. Я медленно подготовляю свою месть, она будет тем основательнее».

Однако на его лице не отразилось ничего, кроме готовности служить ей и простодушного сочувствия.

— Вы правы, мадам, я совсем испортил отношения с моими прежними друзьями. Поэтому, мадам, я тем более хотел бы снискать ваше расположение.

— Особенно, если тебе, малыш, позволят в награду немножко порезвиться. Ты вот теперь играешь в мяч с Гизом и умно делаешь, хотя он и наступил на лицо мертвому Колиньи. Ты должен также сопровождать его каждый раз, когда он будет выходить из Лувра.

— Он часто выходит. Чаще всего выезжает верхом.

— Выходи и выезжай вместе с ним, — чтобы я знала всегда, где он был. Ты сделаешь это для меня?

— И мне тогда тоже можно будет выезжать из Лувра? Каждый день? За ворота? Через мост? Все, что вы прикажете, мадам, будет исполнено!

— Не воображай, будто я боюсь этого Гиза, — презрительно добавила королева. А ее новый союзник убежденно подхватил: — Кто еще, кроме лотарингца, способен так хвастать своими телесами? Отпустил себе белокурую бороду, а народу это нравится!

— Он дурак, — так же убежденно продолжала Медичи. — Он подстрекает католиков. И ему невдомек, на чью мельницу он воду льет! На мою же! Ведь мне скоро опять понадобится резня: протестанты не дают нам покоя даже после Варфоломеевской ночи. Что ж, получат еще одну. Пусть Гиз

подзуживает католиков, а я разрешаю тебе поднять гугенотов. Рассказывай тем, кто в Париже, что их вооруженные силы бьют нас по всей стране. К сожалению, в этом есть доля правды. А провинции ты дай знать, что здесь скоро вспыхнет мятеж; и пусть он вспыхнет! Согласен? Ты сделаешь все, как надо, королек?

— И мне можно будет переезжать через мост? И ездить на охоту? На охоту? — повторил он и рассмеялся: так велика была чисто ребячья радость пленника.

Мадам Екатерина, глядя на него, улыбнулась с высокомерной снисходительностью. Даже самая многоопытная старуха не всегда учует в искренней радости ту долю хитрости, которая в ней все же скрыта. Любой пленник, когда он прикидывается еще более приниженным, чем требуется, поступает правильно; тот, кто ожидает своего часа, должен вести себя как можно скромнее и неувереннее.

Когда Генрих вышел от своей достойной приятельницы, он тут же за дверью натолкнулся на д’Обинье и дю Барта. Оба они давно не показывались вместе. Это было бы слишком неосторожно. Тут они не выдержали: ведь их государь так бесконечно долго беседовал с ненавистной убийцей. Генрих стал для них загадкой. Хотя они любили его по-прежнему, но совсем не знали, насколько ему можно доверять.

Генрих сказал недовольным тоном: — А я не ожидал встретить вас перед этой дверью.

— Да, сир, мы охотнее встретились бы с вами в другом месте.

— Но это нам запрещено, — добавил один из них.

— Д’Арманьяк не пускает нас к вам, — пояснил другой. Охрипшими голосами, перебивая друг друга, они начали жаловаться: — Вы все забыли, водитесь только с новыми друзьями. Но это же недавние враги. Неужели вы действительно все позабыли? И кому вы всем обязаны, и даже за кого должны отомстить?

Слезы брызнули у него из глаз, когда они напомнили о мести. Но он отвернулся: пусть не видят этих слез. — Новый двор, — сказал он, — любит веселиться, а вы все еще продолжаете грустить. При Карле Девятом и я был бунтовщиком, да что толку? Месть! Что вы понимаете в мести? Если отдаться ей, она делается все глубже, глубже, и наконец почва уходит из-под ног.

Все это говорилось в присутствии охранявших Лувр швейцарцев, которые бесстрастно смотрели перед собой, будто не понимали ни слова.

Оба старых товарища заворчали: — Но если вы ничего не предпримете, сир, тогда будут действовать другие — небезызвестные участники Варфоломеевской ночи. Они не унимаются ни при этом развеселом дворе, ни в церквах. Вы бы послушали, что они там проповедуют.

— Они требуют, чтобы вы обратились в католичество, иначе прикончат еще и вас. Ну что ж, обратитесь! Я это уже сделал.

Тут они от ужаса словно онемели. Он же продолжал: — А если вы все-таки не хотите сдаваться, так ударьте первые. Вы сильны. В Париже еще найдется несколько сотен ревнителей истинной веры. Может быть, у них нет оружия, но с ними бог…

Он двинулся дальше, а они в своей великой растерянности даже не сделали попытки следовать за ним. — Он издевается над нами, — прошептал один другому. Даже швейцарцы не должны были этого слышать. Но перед собой они старались найти ему оправдание: — Может быть, он хотел предостеречь нас, чтобы мы не затевали никакого мятежа? Через неправду дал нам понять правду? Это на него похоже. А перед тем он заплакал, но не хотел, чтобы мы заметили. Впрочем, у него глаза на мокром месте. Плачет, когда ему напоминают, что надо мстить, а все-таки вышел из этой двери. Из той самой комнаты, где отравили его мать!

И оба согласились на том, что они перестали понимать своего государя и что они глубоко несчастны.

Второе поручение

Генрих отправился к королю, который носил то же имя, что и он, и был третьим Генрихом на французском престоле. Когда-то они часто играли вдвоем, Генрих с Генрихом. Мальчишками в Сен-Жермене, наряженные кардиналами, они въехали однажды на ослах в ту залу, где мадам Екатерина принимала настоящего кардинала. Нечто подобное они повторили теперь, уже, взрослыми, — король Франции и его пленник-кузен, чья мать и многие друзья лишились здесь жизни. Зато на другой же день король Франции отправился в монастырь, чтобы поскорее замолить свои грехи. В течение определенного срока он замаливал свои богохульства, и еще одного срока — свои плотские заблуждения, и еще одного — свою слабость как государя. Его безволием злоупотребляли да еще глумились над ним: интриганы, жулики, наложники и одна-единственная женщина — его мать. А он продолжал все раздаривать, прошучивать, проматывать. Иногда на миг в нем вспыхивало сознание того, что происходит. Ведь он ограблен, обесчещен, и тогда он замыкался в безмолвии.

А они принимали это безмолвие за угрозу и стушевывались, едва король умолкал. Но его немота являлась следствием трагического ощущения своей несостоятельности. И каждый раз его душу начинала угнетать мысль о том, что вырождающийся королевский дом не способен что-либо свершить или предотвратить ни в своей стране, ни за ее пределами. — Терпимости бы нам побольше, — заявил он как раз сегодня своему зятю и кузену. Эти слова у него вырвало отчаяние. — Мир был бы нам весьма кстати. Разве я ненавижу гугенотов? Да я в девять лет сам был гугенотом и бросил в огонь молитвенник моей сестры Маргариты. Я отлично помню, как мать меня била и как мне доставляло удовольствие дразнить ее. До сих пор мне стыдно перед ней за это чувство. Хотя она давно обо всем забыла. И куда я иду? Мне

следовало бы желать мира между религиями. А когда я стал королем, то поклялся, что не допущу в моем государстве никакой религии, кроме католической. Что же мне делать? Я не изгоняю еретиков, как я должен бы, а молюсь об их обращении. Я способен только молиться.

— Нет, вы способны на большее, — убежденно заговорил Генрих Наваррский, выступавший теперь в роли скромного слушателя того Генриха, который стал ныне королем. — У вас превосходный слог. Усердно сочиняйте послания и указы. Ваше усердие, сир, послужит для всех нас наилучшим примером.

Этот король в дни уныния — а такой день был и сегодня, тридцатого января, — старательно писал, как будто мог возместить все, что им упущено, собственноручно изливая на бумагу потоки чернил. Однако к ним постоянно примешивалась кровь, а его добрая воля была бессильна. — Мой секретарь Ломени что-то очень давно болеет, — заметил он. — Проведаю его.

— Не надо, сир! Он умер, открою вам по секрету. Он от нас хотели утаить печальную весть, чтобы не огорчать, вы как раз были в монастыре. Говорят, он заболел чумой.

Ломени был именно тот удавленный в тюрьме поместный дворянин, земли которого перешли к итальянцу; король не в первый раз дивился исчезновению своего секретаря. Колючие глаза короля на небритом лице, явно напоминавшем обезьянье, метнули быстрый и неуверенный взгляд на кузена, желая подстеречь, какое у него появится выражение; впрочем, король тут же опустил их на бумагу. — И ради этой-то восхитительной жизни я не мог дождаться, когда умрет мой брат Карл, — пробормотал он.

— А разве не стоило? — спросил изумленно простачок-кузен.

Король закутался в свой меховой плащ и продолжал писать. А кузен Наварра тем временем ходил по комнате, принимался что-то бормотать себе под нос, на минуту умолкал и опять что-то бубнил.

— Новый двор сильно отличается от прежнего. Это скорее чувствуешь,

чем видишь. При Карле Девятом мы все были какие-то сумасшедшие. Правда, и сейчас беспутничают с женщинами, но еще больше с мальчиками. Многие научились этому только теперь, чтобы не отставать! Я — нет, и очень жалею: ибо таким образом некоторая сторона человеческой природы остается для меня скрытой.

— И слава богу, — вставил король, продолжая писать. — Мальчишки еще жаднее, чем бабы. Кроме того, они убивают друг друга. Мой самый любимый юноша заколот.

— При Карле этого не случалось, — заметил Генрих, — хотя вершиной его царствования была Варфоломеевская ночь. А что трупный запах держится при новом дворе устойчивее, чем при старом, с этим я готов согласиться. Но если не думать о запахе, то как дружно мы живем теперь! Никто и не мечтает о побегах, мятежах или вторжении немцев. Я уж ученый, я и пальцем не шевельну ради всего этого!

Он помолчал и, слыша только скрип пера, начал с другого края. — Мы с Гизом теперь друзья, кто бы мог думать! Если ваше величество меня отпустит, я сяду на коня и поеду охотиться. Королева-мать мне разрешила. Правда, за каждым моим шагом будут неусыпно наблюдать те, кто охотнее стали бы моими убийцами, чем телохранителями.

Перо продолжает скрипеть. — Ну, так я пошел, — заявляет Наварра. — Льет дождь, и мне не хочется выезжать, чувствуя, что за спиной у меня убийцы. Лучше пойду к себе в комнату и поиграю с шутом. Он еще печальнее, чем король.

Но когда пленник дошел до двери, его снова окликнули. — Кузен Наварра, — сказал король, — я долго тебя ненавидел. Но теперь ты в несчастье, как и я. И причины нашего несчастья — одни и те же события… наши матери… — проговорил он как бы с трудом. Генрих испугался: никогда он не смотрел на вещи с этой точки зрения. Как, его мать виновата в постигших его бедах? Поставить чистую Жанну рядом с мадам Екатериной!

Генриха охватило отвращение, и он позабыл, что должен владеть своим лицом. Однако его унылый собеседник ничего не заметил, у короля у самого было тяжело на душе. — Какую еще гнусность она задумала? — спросил он и прямо почернел от овладевших им подозрений.

— Никакой, сир. Королева в отличном расположении духа. Отчего бы и вам не быть в таком же?

— Оттого, что у меня есть еще брат, — раздался неожиданный ответ. Генрих не сразу нашелся, что ответить. Смерть старшего брата не принесла счастья. А теперь король все-таки хочет смерти младшего. Король Франции — прямо какой-то восточный владыка в своем серале, весь остальной мир для него заслонен смертельной опасностью, грозящей ему во дворце от каждого из окружающих. Генрих уж чуял, что воспоследует. Правда, король презирает свою мать за ее мерзости, но тревожит его беспокойный брат д'Алансон. И неизвестно, кого ему придется под конец презирать сильнее: мадам Екатерину или самого себя. Ясно, что он переживает внутреннюю борьбу. Но борется он тщетно; продолжая втайне подстерегать собеседника даже в минуту такой откровенности, стоившей ему стольких мук, он проговорил: — Кузен Наварра! Освободи меня от моего брата д'Алансона!

— Я глубоко тронут, сир, вашим доверием, — заявил Генрих почтительно и поклонился. Таким образом, он не ответил ни да, ни нет. Может быть, король принял его слова за согласие.

— В таком случае, — многозначительно продолжал король, — я смогу тебе верить. — В его голосе все еще слышались подстерегающие нотки, хотя д'Анжу и делал вид, что все это шутка.

— А тогда, — подхватил Генрих с той же многозначительностью, — мне можно будет выезжать верхом без моих убийц?

— Больше того. Кто меня освободит от брата, тот станет наместником всего королевства.

«А уж это ты соврал! — подумал Генрих. — Ну, Валуа, милый мой,

теперь ты у меня запоешь!» И он подпрыгнул с чисто ребяческой радостью. — Да я и мечтать об этом не смел! — ликующе воскликнул он. — Наместником всего королевства!

— Сейчас мы это и отпразднуем, — решил король.

Новый двор

Забегали дворецкие, и замок Лувр, который, казалось, погружен был в дремоту, пока король предавался печали, вдруг ожил и помолодел от радостной суеты многих юношей. К вечеру королевские покои были превращены в персидские шатры. За легкими узорчатыми тканями горели восковые свечи; их мягкий, мерцающий свет образовывал как бы призрачный свод и стены. Строгие бледные мальчики в прозрачных одеждах, с накрашенными губами и подчерненными ресницами, держа в руках обнаженные сабли, выстроились перед высоким помостом и застыли. На помост взошли зрители, впрочем, их было очень немного: несколько итальянцев и господа из Лотарингского дома. Герцог Гиз, гордый своим великолепным телом, всюду держался хозяином, да и только! У его брата Майенна брюхо было обтянуто переливающимися шелками. На поясе висел золотой кинжал. Присутствовал еще один член того же дома, д’Эльбеф, загадочный друг; он появлялся возле короля Наварского только в самые критические минуты.

Что касается Наварры, то он нарядился в роскошное платье и украсил его цветами своего дома, — пусть каждый видит, как он гордится тем, что тоже присутствует на таком празднике. Празднество устраивалось только для мужчин и мальчиков. Последние должны были пленить первых, а те отметить их своей благосклонностью. Несколько прелестных пар уже танцевало. Ни сложение, ни одежда не выдавали их пола, и это двусмысленное очарование

особенно действовало на итальянцев и на толстяка Майенна. Наварра отдал им должное и согласился, что таких пленительных созданий не было среди его людей, которые носили грубые колеты, ездили сомкнутым строем, не слезали с коней по пятнадцати часов и вместо отдыха пели псалмы. — Если бы мои друзья были живы, — проговорил он небрежно, — из них, наверно, вышли бы такие же прелестные мальчики.

— Подожди, еще выйдут, — заметил Гиз. — Кое-кто из них ведь уцелел.

— Я не знаю их, — отозвался пленник. — Я всегда там, где… — он хотел добавить: «весело», но вдруг спохватился; ведь перед ним был совсем особый враг.

Канцлер Бираг, итальянец, получил свой пост благодаря мадам Екатерине. С нею и с несколькими своими соотечественниками проник он однажды ночью в опочивальню Карла Девятого. Этот преуспевающий чужеземец видел в пленнике Наварре тайного врага собственной власти. И поэтому без всяких околичностей начал форменный допрос: — А вы не в сговоре с неким д’Обинье и его сообщником дю Барта? Эти господа возбуждают школяров против так называемого иноземного господства, как будто самые высокие посты в королевстве заняты только иностранцами.

— Sono bugie, какое вранье, господин канцлер! — с ненапускным негодованием воскликнул Генрих на языке пришельца. Впрочем, тот не поверил ни одному его слову. Лотарингцев еще можно обмануть, но не чужеземца.

— Ваши друзья, — с трудом проговорил Бираг, задыхаясь от ярости, — ближе к виселице, чем…

— Чем я, — докончил Генрих. — Да, меня вам не поймать.

— Я вешаю быстро и охотно.

— Но только мелких людишек, синьор. Вы повесили какого-то несчастного капитана, который кричал, что всем итальянским жуликам надо бы голову отрубить. Меня же вам пришлось бы изобличить перед всем

миром, судить и казнить со всей полагающейся торжественностью. Но этого вам не дождаться. Давайте держать пари! Идет? На что?

— Согласен и ставлю свой лучший сапфир.

Обе стороны разыграли эту сцену весьма театрально, словно она являлась неотъемлемой частью пленительной музыки и танцев и была задумана в духе грубоватой интермедии.

— Сир! — воскликнул Генрих, увидев короля Франции (тот раздвинул стену персидского шатра, и оказалось, что король уже тут, стоит, весь блистая, точно султан, дающий праздник). Генрих преклонил колено: — Сир! У вашего жестокосердного визиря на уме лишь колесование да четвертование. Неужели я для этого остался в живых после Варфоломеевской ночи?

— О, если бы покойный король меня послушался! — воскликнул канцлер Бираг. От ярости выговор его стал совершенно чудовищным, а голос — как у охрипшего попугая. Таким же голосом он однажды несколько часов подряд донимал Карла Девятого, пока короля не охватило бешенство и он не отдал приказ начать резню.

— Вот слышите, сир, что он говорит, — только и ответил Генрих и почувствовал, что король на его стороне. Раньше он был лишь братом короля и вдохновителем Варфоломеевской ночи, теперь он сам король, но только потому, что его брат умер от угрызений совести; а как обстоит дело с его собственной совестью? Он очень не любит встречаться с теми, кто некогда, в самые мрачные минуты его жизни, помогал ему уламывать Карла. Даже видеть мать было ему противно, а уж тем более ее итальянцев. Но приходилось их терпеть, допускать на самые интимные сборища; в мальчиках они тоже кое-что смыслили.

— Встань! — приказал персидский султан, блистая каменьями своего тюрбана. Кузен Наварра вскочил с упругостью мячика. Султан властно заявил: — Ты мой личный пленник, и никто не смеет поднять на тебя руку.

Помирись же с моим визирем! — Генрих только того и ждал. Он тут же исполнил вокруг канцлера настоящий танец примирения, а восточная роль последнего обязывала итальянца с бесстрастным достоинством взирать на все происходившее, хотя у него от ярости глаза вылезли из орбит.

— Великий визирь! — обратился к нему Генрих. Он коснулся своей груди, затем груди канцлера и как бы случайно попал пальцем в огромный сапфир. — В Персии ужасно воруют, — добавил Генрих. К счастью, заиграл туш, и в его звуках потонуло все, что окружающие еще могли услышать. Начался балет. Танцующие семенили на носках, взмахивали покрывалами и сгибали стройные колени; тут были одни мальчики, хотя некоторых и одели девушками. Их глаза искрились сквозь прозрачную ткань покрывал, пожалуй, пособлазнительнее, чем женские; и если забыть о некоторых, слишком явных признаках мужественности, то движения их тел казались совсем женственными. Те, которые сохранили свой облик юношей, протягивали мнимым девушкам кончики пальцев не менее жеманно, чем их «дамы», и так же мягко обнимали их гибкими руками, изнемогая в мольбе о любви. Танцоры двигались плавно, без малейшего напряжения. И когда мальчики кружили «девушек» или плавно приподнимали их над собой, казалось, действуют не мускулы, а одна лишь волшебная сила грации.

Тут-то дю Га и показал себя. В обычной жизни это был дерзкий на язык, глупый, нахальный и продажный малый; но сейчас он был как нельзя более на месте. И не случайно оказывался он при каждой фигуре танца в первом ряду. Зрители на помосте не спускали с него глаз, и каждый готов был поверить, что именно его благосклонности жаждет дю Га. Как и все другие мальчики, он опустился на колени перед своей «дамой» и молча молил о разрешении поднять ее покрывало. На самом деле он как бы преклонял колени перед королем или султаном, а незаметно для него выражал свои чувства канцлеру или визирю, уже не говоря о толстяке Майенне, который даже вспотел, так его разобрало. Всем этим господам чудилось, что они

чем-то отмечены и даже возвеличены, а на самом деле шалопай просто-напросто издевался над ними. В другое время дали бы ему пинок или приказали повесить. Однако искусство имеет великую власть, хоть она и мимолетна.

Но вот оно становится еще более волнующим. Кто бы подумал, что человеческие лица могут оказаться такими новыми и восхитительными, когда после искусного танца, подготовившего зрителей к этой минуте, с юношеских лиц наконец-то срывают покрывала? Даже у грубых мужчин дрогнуло сердце, тем более у короля Наваррского. У него невольно вырвалось проклятие — его обычное проклятие. Он глазам своим не поверил. Он даже потер их кулаком. — Габриэль? — спросил он.

— Он самый, собственной особой, — насмешливо заверил его верзила Гиз. — Один наложник срывает покрывало с другого: наш дю Га — с твоего Лерана.

— Выходи, будем с тобою биться!

— Будем, но не из-за мальчишки. Он красив, и его путь при новом дворе предрешен.

У Генриха на глазах выступили слезы. Ему хотелось сказать что-нибудь Лерану, но тот не поднимал ресниц. А ведь и у него когда-то, в Варфоломеевскую ночь, текли слезы из-под белой повязки, скрывавшей его лицо. Две жертвы этой ночи, Габриэль Леви де Леран и Карл Девятый, лежали тогда рядом на ложе короля Наваррского. Что ждет пас теперь?

Гиз насмешливо бросил ему вслед:

— Оказывается, такие создания были и у тебя, среди твоих людей в грубых колетах, в сомкнутом строю, когда всадники по пятнадцати часов не слезали с седел и для отдыха пели псалмы!

В самом деле: что тут скажешь? — Леран прав, если он подчинился и готов превратиться во что угодно, даже в девушку. — Так Генрих легкомысленно отмахнулся и от этого унижения, среди многих других он

проглотил и его, и никто не знал, куда их девает этот живчик. Он умел смеяться над собой, как будто сторонний человек. Низости тут не было никакой; вдумчивый наблюдатель не счел бы его ни бесчестным, ни дураком. Но только один наблюдатель, д'Эльбеф, старался понять, что же такое Генрих — дитя и глупец или человек, твердо идущий к намеченной цели. И д'Эльбеф наконец решил: он незнакомец, проходящий суровую школу.

Сам д'Эльбеф — наблюдатель, но и только. Отдаленный родственник могущественного дома, без особых надежд и видов на будущее, он никогда не выделится среди остальных, а их он, видно, не слишком уважает. Поэтому и придумывает себе службу на основании особых, присущих ему способностей. Имей д'Эльбеф такой же рост, как Гиз, он стал бы народным героем; но он держится небрежнее, и волосы у него темнее, и лицо не излучает сияния надменности. У него влажные, преданные, очень красивые глаза, они провидят в Генрихе его восходящую судьбу и ту силу, которая пока служит лишь непосредственному самосохранению. И он друг Генриха в эти смутные дни, пока еще лишенные славы, даже наоборот. А когда счастье наконец улыбнется Генриху, д'Эльбефа подле него уже не будет.

Девушки — они, собственно, мальчики — держат в руках золотые кубки. Они поднимают их, тихонько вращают на кончике пальца и с ними кружатся сами, не проливая при этом ни капли. Кубки, видимо, означают любовный напиток, и мальчики, изображающие и в танцах мальчиков, жаждут его. Выразительные позы их тел говорят об этом томлении. Все более волнующими становятся эти позы, алчущие губы приоткрываются, и когда желание становится уже нестерпимым, девушки льют на них немного настоящей влаги. — По крайней мере она течет в рот королевского любимца дю Га: д'Эльбеф видит это совершенно ясно. Его внимание целиком поглощено происходящим, ведь оно касается Генриха. Дю Га опускается на колени и запрокидывает голову, а Леран, в роли девушки, слегка наклоняет кубок: д'Эльбеф мог бы сосчитать капли. Затем быстро скользит взглядом по

лицам — по хищно настороженному лицу канцлера Бирага и откровенно восторженному лицу короля Франции. Король точно громом сражен и улыбается Лерану. Ни одним взглядом не удостаивает он своего прежнего любимца, уже это показывает, что сейчас произойдет что-то необычное. Выражается оно в том, что дю Га, отведав любовного напитка, откидывается назад, судорожно и неестественно выгибая спину, вскрикивает и выкатывает глаза. Все ясно: отравлен. Так оно, судя по всему, и должно быть. Д'Эльбеф мог бы предсказать это заранее.

Одновременно, словно по заказу, кто-то верещит голосом старого попугая: — Сир! Ваш любимец отравлен. Его девушка — орудие Наварры. Отдайте этого принца мне и правосудию, иначе вам самому будет грозить опасность!

Что могло последовать за столь ужасными словами? Все затаили дыхание и онемели. Музыка оборвалась, балет застыл на месте, оцепенели зрители на помосте, они ждали, что король сделает какое-нибудь движение, но и он не шевельнулся. Только сама сцена, то есть персидский шатер, слегка заколыхалась. Виновницами этого оказались придворные дамы, не допущенные на таинственный праздник: они спрятались позади занавесей и оттуда поглядывали. Там-то и притаились статс-дамы и фрейлины; осмелев, заглядывали в щелки кое-кто из дворцовой челяди; а у одной из них, теребя занавес, стояла сама королева Наваррская. «Что же теперь будет?» — думала Марго среди всеобщего безмолвия и оцепенения.

Она думала: «Вот так всегда бывает, когда предоставишь этих мужчин самим себе. Сначала вырядятся женщинами и уж так жеманятся — прямо неземные создания. А потом все кончается кинжалом и убийством. Мой царственный братец, конечно, пожелает отомстить за своего отравленного любимца. Он выдаст моего бедного Henricus'а этому негодяю Бирагу, у того даже слюнки текут от нетерпения. Ни один из болванов даже не догадывается, что тут поставлено на карту! И они еще воображают, будто

могут обойтись без нас, женщин!»

Но один все же догадался. Д’Эльбеф из Лотарингского дома соскочил с помоста, рванул с пола совсем скорчившегося дю Га, поднял его и начал лупить наложника по щекам до тех пор, пока тот твердо не стал на ноги. — Довольно ломать комедию! — зарычал он. — И смотри, не вздумай опять взяться за свои проделки! — Д’Эльбеф так вывертывал дю Га руку, что заставил этого молодца подняться вместе с ним на помост. Он бросил его на колени перед королем и приказал: — Признавайся его величеству, кто тебя научил этому жулыничеству, может быть, тебя тогда не повесят.

Дю Га выразил всем своим телом крайний ужас. Несмотря на талантливость всего предшествующего, это удалось ему лучше всего. Подлинное всегда убедительнее искусственного.

Шея у него вытянулась, как шея того, кому только что отрубили голову: обычно кажется, будто такие шеи неестественно вырастают. И эту-то вытянувшуюся шею он повертывал от короля к канцлеру и от канцлера к королю. У канцлера отвисли щеки, а у короля зловеще вздулась жила на лбу. Дю Га чувствовал, как пальцы его врага д’Эльбефа все теснее сжимают ему горло. И до того как они окончательно стиснули его, дю Га еще успел выдавить из себя: — Господин, канцлер! — Правда, едва д’Эльбеф отпустил его, как он раскаялся в своем признании и тут же попытался взять свои слова обратно.

— Нет, не господин канцлер! Я сам, без его наущения, притворился, будто меня отравили… из ревности к господину Лерану, которому улыбался мой король!

Ему, конечно, не поверили, хотя это была все же правда. С еще большим раздражением король взглянул на канцлера, вернее, султан на визиря, ибо они стояли друг перед другом именно в этом обличье. Первым прервал молчание Наварра.

— Синьор Бираг, вы проспорили мне ваш камень! Сир, он держал пари,

что казнит меня всенародно. Это ему бы и удалось, если бы вы не разгадали его происков.

Король не мог ни заточить канцлера в Бастилию, ни отрешить от должности, ибо, будучи соотечественником мадам Екатерины, он находился под ее особой защитой. Поэтому король сделал то, что было в его силах и чего все от него ожидали: он сорвал с груди канцлера сияющий сапфир. Потом нерешительно посмотрел вокруг, точно еще не зная, что воспоследует. Но на самом деле он отлично знал, что. Король кивнул Лерану, тот взошел по ступенькам на помост и принял на коленях знак королевской благосклонности. И с этой минуты от него исходило голубое сияние. Когда все покрывала были сброшены, у виконта де Лерана оказалось лицо юного воина, который в блеске своей едва расцветающей мужественности готов наступить ногой на затылок поверженному врагу. Дю Га сам вызывал его на это: словно повергнутый в прах, он нарочно уткнулся лицом в пол, — и Леран не стал медлить.

Когда обитатели персидского шатра увидели, что все завершилось столь благополучно, они ожили, захлопали в ладоши, возобновили танец и, отдаваясь волнам музыки, стали изображать любовь и счастье перед зрителями, которые верили в любовь и счастье, только когда они изображались на сцене. До поздней ночи мерцал персидский шатер узорчатыми занавесями, сквозь которые просачивался мудро смягченный свет, отчего все внутри представлялось терпимее, чем обычно, — султан, мальчики, старые негодяи, а также те вещи, в которых самое драгоценное — только их голубое сияние.

Впрочем, двух участников не хватало: Генрих и д’Эльбеф прощались в отдаленном покое замка.

— Этого я никогда не забуду, д’Эльбеф.

— Сир, вы очень долго тут мешкаете, но, вероятно, должны медлить.

— Время у меня есть. У меня только это и остается: терпение и время.

Что же такое ненависть?

Но тот, кто ждет слишком долго, видит, как его самые сильные чувства изменяются, как они раздваиваются и теряют свою цельность. Взять хотя бы эту дружбу с Гизом. Генрих сблизился с ним из ненависти: он хотел получше узнать его, ибо этого требует ненависть. Но когда узнаешь врага, возникает опасность, что найдешь его вовсе не таким уж плохим. Больше того: враг потому и притягивает, что его принимаешь, какой он есть.

Они играли в мяч, «длинный мяч», игра эта труднее всех прочих, и в ней состязались всегда только два противника — Наварра и Гиз; остальные лишь смотрели, и им нередко бывало обидно. Коротышка Наварра легко носился туда и сюда, тогда как огромный Гиз стоял на месте и спокойно, как Голиаф, ожидал его ударов; но и это были еще пустяки. Однажды мяч перелетел через изгородь. — Наварра! Ты поменьше, — крикнул Гиз, — полезай через изгородь и достань мяч! Но Генрих просто перепрыгнул ее с места, невольно восхитив этим зрителей. Назад он, правда, пролез под ней, однако вдруг послал мяч на площадку, и кожаный снаряд попал лотарингцу прямо в грудь. Гиз покачнулся, но тут же воскликнул: — Ты мне в лоб метил, и тогда бы я упал! Но так высоко тебе не достать, малыш. Поди-ка, принеси нам винца — запьем испуг.

Генрих, конечно, побежал за вином. Но этого случая было достаточно, чтобы в тот же день д’Алансон и д’Эльбеф, отведя в сторону Гиза, поговорили с ним серьезно. Правда, король Наваррский — всего лишь пленник и в настоящее время лицо незначительное; но все присутствующие, а среди них были кое-кто из черни, увидели в этом недопустимое унижение королевского дома. Гиз ответил: — Чего вы хотите? Мальчуган ведь не обижается, он прямо прилип ко мне. По всем церквам со мной таскается.

Скоро он будет более ревностным католиком, чем я сам.

Они пересказали его слова Генриху; но своими мыслями на этот счет он с ними не поделился. «Тщеславный Голиаф, — думал он, — не подозревает о моем сговоре с мадам Екатериной. Напрасно он вообразил, что на его неуклюжие интриги с попами и испанцами всегда будут смотреть сквозь пальцы. Не знает он меня так, как я знаю его. Я ведь его друг. Никто не может себе позволить того, что позволяет друг».

При следующей игре в мяч ему действительно удалось угодить Гизу в лоб, у герцога вскочила шишка, и ему стало плохо. Генрих притворился, что ужасно огорчен: — Право же, я нечаянно, я вовсе не хотел, чтобы у тебя выросли рога. Только герцогиня имеет право наставить их тебе. — Тут все присутствующие начали хохотать, называя друг другу громче, чем допускают приличия, имена любовников герцогини. Эта молодая дама быстро и основательно усвоила придворные нравы.

Лотарингец лежал на земле, стараясь остудить лоб, и все слышал. Он стонал, больше от ярости, чем от боли, и решил сурово наказать неверную жену.

Потом он заявил Наварре: — В сущности, ты только напомнил мне, что надо следить за ней. Никто другой на это бы не дерзнул. Я вижу, что тебе можно доверять. Пойдем со мной, послушаем проповедь отца Буше.

В тот же день они отправились верхом, герцог Гиз, как обычно, в сопровождении блестящей свиты, Наварра — совсем один. Он все еще знал Париж недостаточно, и название церкви ему ничего не сказало. Где бы они с Гизом ни проезжали, в толпе из уст в уста передавались все те же слова: — Вон король Парижа! Здравствуй, Гиз! — Этого короля приветствовали, подняв правую руку. Женщины подражали мужчинам, хотя иногда они забывались и протягивали обе руки к белокурому герою своих грез. А тот, надменный и уверенный в себе, изливал на них блеск, точно был самим солнцем. Так они доехали до церкви. И когда многочисленные воины

перестали лязгать оружием, священник Буше поднялся на кафедру.

Это был оратор нового типа. Он разъярился с первого же слова, и его грубый голос то и дело сбивался на бабий визг. Буше проповедовал ненависть к «умеренным». Не одних только протестантов нужно ненавидеть так, чтобы их уничтожать. Когда наступит некая ночь длинных ножей и отрубленных голов, вещал священник, следовало особенно беспощадно расправляться с теми, кто слишком терпимы, хотя и называют себя католиками. Главное зло в обеих религиях — это такие люди, которые чересчур уступчивы, они готовы пойти на соглашение и желают, чтобы в стране воцарился мир. Но мира страна не получит, она его не выдержит, ибо он несовместим с ее честью. Постыдный мир и навязанный ей договор с еретиками должны быть уничтожены. И земля и кровь зовут к насилию, насилию, насилию и решительному очищению от всего чужеродного, от прогнившего прекраснодушия, от разлагающей свободы.

Толпа, переполнявшая церковь от алтаря до самых далеких приделов, скрежетом и стенаниями подтвердила, что она не желает терпеть ни прекраснодушия, ни тем более свободы. Люди давили друг друга, лишь бы протиснуться поближе к кафедре, хотя бы одним глазком взглянуть на проповедника. Но они видели только разинутую пасть, ибо этот Буше был ничтожного роста и к тому же кривобок, он едва высовывался из-за края кафедры. Плевался, однако, очень далеко. Его речь то и дело переходила в лай, а если в ней и оставалось что-то человеческое, то оно было весьма далеким от всех привычных звуков; оно напоминало что-то чужеземное, затверженное. Несколько раз люди ожидали, что он вот-вот повалится в припадке падучей, и уже озирались, ища сторожей. Но тогда пасть Буше захлопывалась, и он, обаятельно улыбаясь, обводил взглядом церковь, чем и покорял сердца. Потом, набравшись сил, снова принимался лаять и щелкать зубами, точно намереваясь извлечь из толпы какого-нибудь инакомыслящего и тут же загрызть его.

Свобода совести? Нет уж, избави бог! Но и никаких податей, никакой арендной платы и вообще никаких налогов, никакого рабства. Ни народ, ни тем более духовные лица пусть отныне ничего не платят. На том-то и стоит их союз. Пусть за духовенством останутся причитающиеся с него государственные сборы, а народу разрешат грабить дома и дворцы всех гугенотов и всех «умеренных» — их следует убивать в первую очередь. Буше убеждал своих слушателей не отступать и перед вельможами, перед самыми высокопоставленными лицами и весьма недвусмысленно намекал даже на особу короля: он-де тайный протестант, «умеренный» и изменник. Следуя своему пылкому воображению, поп расписывал слушателям несметные сокровища Лувра и прелести вожделенной резни. А потом тех же слушателей, упоенных картинами будущих бесчинств, повергал без всякого перехода в смертельный ужас, уверяя, будто против них злоумышляют, их преследуют: нации и всему национальному грозит-де ужасная опасность очутиться во власти тайных сил, поклявшихся погубить ее. За этим последовала яростная молитва, которую могла породить, бесспорно, только близость несомненной и величайшей беды. Толпа громко подхватила. А над людьми облаком стояли незримые пары — истечения жадности, страха, вожделений и ненависти.

Генрих вдыхал эти испарения, и скорее его органы чувств, чем сознание, подсказали ему, насколько нечистоплотно все происходящее. В конце концов он сам чуть не заразился этой ненавистью. Свергнуть властителей Лувра, разграбить его, всех поубивать — мужчин, дам, стражу и челядь — ведь и он не раз помышлял о таких делах в те времена, когда больше всего жаждал бежать отсюда и вернуться с иноземными ландскнехтами. Тому прошло уже несколько лет, он чуть не позабыл все это. Но здесь, в церкви, воспоминание встало перед ним опять, точно он строил эти планы только вчера. И он снова понял, что оскорбленный и униженный мстит беспощадно. «А уж у меня оснований больше, чем у кого-либо. Они убили мою мать, потом господина адмирала, всех моих друзей — восемьдесят дворян, моего учителя,

последнего вестника моей матери-королевы! Оставшиеся в живых покрыты позором, я должен переносить плен, ежедневные опасности и ежедневные издевательства. Все это я знаю. И я решил мстить. Я лишь день за днем откладывал месть и обдумывал ее. Так проходит время, и так проходит ненависть. Нет, она не проходит, она становится сомнительной. Я с ними живу, мы играем в мяч, мы спим с теми же самыми женщинами. Мадам Екатерина предложила мне союз; да и правда ли, что она отравила мою мать? Д'Анжу был готов во время Варфоломеевской ночи прикончить меня, а теперь, став королем, он меня защищает. Гиз сделался моим близким приятелем; кажется почти невероятным, чтобы, когда господин адмирал уже был мертв, он мог наступить ему на лицо. Однако это так! Все это они совершили, истинная правда. Но дело в том, что я их знаю, а они меня нет. Не хочу отрицать: я даже люблю их за это, конечно, до известной степени люблю. Можно услаждать себя, и общаясь с врагами, не только, с возлюбленными. Я вынужден остерегаться их и потому дружить с ними». Так оправдывал себя Генрих, свои колебания, свое долготерпение, и как бы отстранялся от толпы, которую Буше призывал к необузданному удовлетворению своих инстинктов. Впрочем, Буше еще не закончил своей яростной молитвы, а Генрих уже давно справился со всем, что вдруг нахлынуло на него. Жизнь коротка, искусство вечно, но когда же можно считать правильное действие созревшим?

А тем временем Буше разъяснил слушателям, что вся государственная система преступна, но зато бог послал им вождя.

— Видите, вон он стоит! — Все усердно опустились на колени, особенно те, кого подозревали в сочувствии «умеренным». Но Гиз дерзко смотрел поверх голов, возведя очи прямо к богу; на нем были серебряные доспехи, как будто предстояло сейчас же схватиться с властью, и его воины бряцали железом. Конечно, у королевы-матери были здесь свои шпионы, они, наверно, уже побежали к ней и теперь расписывают, какой страшной угрозой для нее

становится лотарингец. А Генриху, который был близок с ним, становилось ясно, что он просто головорез и грубый великан, Голиаф, да к тому же рогат. Надо сделаться его другом, тогда поймешь, чего он на самом деле стоит, и даже почувствуешь к нему симпатию. Я ненавижу его? Конечно. Но что же такое ненависть?

Проповедник кончил, и алебардщики стали выгонять простой народ из церкви; остались только те, кто пользовался влиянием и уважением: отцы города, самые богатые горожане, наиболее популярные священники, а также господин архиепископ. Он головой ручался, что устами Буше глаголят сами разгневанные небеса. Распутство двора уже перешло всякие границы, — и архиепископ живо описал публичное и бесстыдное представление, которое король устроил в Лувре; в качестве исполнителей выступали его наложники, а женщин-христианок заставляли смотреть на этот срам. Рассказ его вызвал возмущенный ропот. Под шумок кто-то рядом с Генрихом, стоявшим далеко позади, сказал: — А архиепископ спит с собственной сестрицей!

Генрих невольно засмеялся, его рассмешил не только факт, сообщенный соседом, а вообще вся эта комедия.

Вскоре, однако, дело приняло серьезный оборот, ибо один из влиятельнейших граждан, представитель счетной палаты, открыл собравшимся состояние финансов в королевстве. Оно оказалось безнадежным; но так как никто, собственно, ничего другого и не ожидал, то каждый считал себя тем более вправе возмущаться. Именно скопом возмущаемся мы особенно горячо и лишь по поводу фактов, о которых знают все. Услышав свежие новости, люди раскачиваются крайне медленно, но тем быстрее действует оглашение того, что давно известно и о чем просто не решались говорить. В сто тысяч талеров обходятся казне ежегодно королевские охотничьи своры, обезьяны и попугаи. И это еще пустяк в сравнении с чудовищными суммами, которые поглощает орава его любовников. Одному из них даже вверили управление финансами. Оратор

заявил об этом во всеуслышание и добавил: — В наши времена все можно делать, нельзя только называть вещи своими именами. — Но так как он сейчас отважился на это, то собравшиеся возомнили о себе невесть что, как будто тем самым уже положено начало какому-то повороту и в центре событий стоят именно они.

Председатель счетной палаты перечислил еще немало промотанных миллионов, жаловался на высокие налоги, на их несправедливую раскладку, на продажность всех, кто их собирает, — особенно отличается в этом отношении любимец короля господин д'О, скажем просто О. Однако оратор забыл назвать многих других, хотя и те брали на откуп налоги и выжимали из народа все соки. Но среди них были, по слухам, и члены дома Гизов, а упоминание их имен оказалось бы совсем некстати, принимая в соображение то, что должно было сейчас произойти. Когда он кончил, служители приволокли вместительные мешки, из которых потекло золото испанской чеканки, и текло оно, не иссякая. А казначей, следуя приказаниям герцога Гиза, распределял деньги среди старшин, священников, влиятельных граждан, чиновников и военных. За это каждый проставлял свое имя на листе с именем лотарингца и при этом еще выкрикивал: «Свобода!»

Так была заложена основа Лиги. И тем самым, как только были опорожнены мешки с испанскими пистолями, создан и союз с целью отдать в руки одной партии всю власть в стране. Партия получила ее, притом в такой мере, что в течение многих лет сплошных ужасов и неудач королевство стояло на краю гибели, король был совсем загнан в угол, и все человеческое отброшено назад на много поколений. Именно здесь этому было положено начало, и в то время как счастливцы поспешно распихивали по карманам иноземные деньги, даже не взглянув на чеканку, с улицы неслись крики: — Да здравствует Гиз! Свобода!

Это провозглашал своему вождю многая лета обманутый народ. И вождь имел все основания ожидать, что его примут всерьез, так же как и его

сторонников из рядов черни. Да и точно ли обманутый? Народ ведь никогда не бывает обманут до такой степени, как потом уверяют… Испанское золото видели только сторонники Гиза, а народ видит лишь белокурую бороду, и он пленяется ею. Но в душе он отлично знает, что до спасения религии ему нет дела и что никакого сказочного пробуждения к новой жизни нет и не будет. Черни просто хочется грабить, прогнать других с работы, обогатиться; хочется пошуметь, покуражиться и хочется убивать. Так оно и бывает, когда кучка сброда, в которой есть и простолюдины и почтенные горожане, создает какую-нибудь Лигу для подавления свободы совести. Тем громче орут «Свобода!» и обманутые на улице и обманщики в домах; это показывает, что раз их обманывают, они тоже хотят обмануть.

Среди обманщиков, которые остались в церкви, только что набили себе карманы золотом и вдруг возжаждали свободы, были и «умеренные», считавшие своевременным присоединиться к Лиге. В том числе даже новообращенные гугеноты; и оправдывали они себя тем, что тут присутствует Генрих. Гиз прихватил его сюда, чтобы освободить многих других от угрызений совести. Генрих сам отлично это понял, а кроме того, ему поспешили объяснить. И как раньше, под громкий ропот негодования по поводу распущенности двора кое-кто осмеливался шепнуть, что сам-де архиепископ не лучше, так же было и теперь. Хотя вопли о свободе и заглушали голос честных людей, все же те говорили достаточно громко: — А знаешь, кум, монеты-то были испанские. Испанские!

Генрих еще не успел разобраться в своих чувствах: события развертывались слишком быстро. Прежде всего Гиз показал себя с новой стороны: никто бы не подумал, что он умеет обхаживать людей и совращать их; никто бы не поверил, что этот Голиаф способен действовать так быстро и ловко. Вот что значит собственная выгода! Да люди и сами облегчили ему задачу, ибо им было лестно состоять в одном сообществе с таким знатным вельможей. Гиз распределил обязанности: военным поручил принудительно

завербовывать солдат для войска его партии, духовным лицам — подстрекать простонародье к бунту, гражданам, — сопротивляться властям и отказываться от уплаты каких-либо налогов и пошлин. Он награждал их званиями и правом занимать соответствующую должность, в случае если уйдет тот, кто ее занимает теперь. Другими словами — если будет убит. Это понимал каждый.

И что бы кто впредь ни совершил, он уже не будет нести ответственность за свои деяния, ибо все здесь же поклялись слепо повиноваться новому вождю. Покончив с этим, Гиз распустил участников торжественного собрания. — Наварра, — сказал он перед уходом, — ты теперь сам убедился, как мы сильны.

— На мое счастье, — отозвался Генрих. — Да здравствует король Парижа! — закричал он вместе с толпою, которая все время ждала на улице. Перед тем как уйти, он подтолкнул друга-лотарингца в бок и, в совершенстве подражая одному из отцов города, изобразил, как смачно тот шептал: — Испанские монеты, кум! Испанские! — Потом скрылся.

Генрих шагал все быстрее, его стражи едва поспевали за ним. Он прошел Австрийскую улицу, прошел мост, потом ворота и вступил во двор Лувра, однако ничего вокруг себя не видел. Он не заметил, по каким местам лежал его путь и кто смотрел ему вслед, и узнал свою комнату лишь после того, как уже долго бегал по ней из угла в угол. Тут он понял, что ненавидит. «Вот, вот она, ненависть! Испанские монеты! Через горы, на мулах, неудержимо ползут мешки, набитые пистолями. Их опорожняют в городе Париже, и золото течет, течет без конца, карманы наполняются золотом, а сердца — ненавистью, кулаки — силой, пасти — бесстыдной ложью. Что ж, начинайте, лютуйте, как дикие звери, забудьте о кротости и благоразумии! Ведите войну в угоду одной религии и против всего остального! Я всю жизнь только это и видел. Не сведущ я был до сих пор лишь относительно причин и подоплек всех ваших злодейств! Испанские монеты, их везли сюда через Пиренеи, через мои родные горы, я могу мысленно начертить их путь! Тут вот водопадом спадает

ручей, там вон Коаррац, и стоит мой дом. Они хотят отнять его у меня. Филипп Испанский всегда хотел отнять у меня мой склон Пиренеев; я же требую еще и его склон. Требую, потому что это мои горы и моя страна, и пусть его солдаты не смеют вторгаться туда, и пусть не смеют провозить по ней его мешки».

На сегодня довольно. Двадцатитрехлетний юноша редко задумывается о большем, и его ненависть пока ограничена картинами его родины. Он ненавидит мирового владыку из любви к своему маленькому Беарну, а теперь еще и потому, что страдает Франция. Она страдает, как и он, и виновник все тот же. «Что там Гиз и Екатерина! Они наперебой стараются угодить покорителю мира. Вот кто истинный враг, вот кого я ненавижу! Это он держит меня в плену, это он оплачивает войну между партиями здесь, в моей стране, которой я все-таки со временем буду править!»

И когда Генрих потом действительно стал править Францией, его понимание свершающихся событий и его ненависть страшно и грозно возросли. Он желал уже не только освободить Францию и стать величайшим государем Европы — он хотел им навеки дать мир. А австрийский дом должен пасть. Под конец он решил раз и навсегда выгнать этот ненавистный ему дом из всех остальных стран света и держать его за скалистыми стенами Пиренеев. Таковы будут некогда его планы под старость, и они принесут ему облегчение.

Юношу в его узилище жжет ненависть к дону Филиппу, он вынимает из сундука портрет, на нем ничего не говорящее лицо, белокурые кудряшки. Лоб высок и узок; юноша всаживает в него нож, затем отшвыривает и ломает руки. Что же такое ненависть? Мы можем безгранично ненавидеть лишь то, чего не видим. Генрих никогда не увидит Филиппа Испанского.

Сцена с тремя Генрихами

Он сказал своей доброй приятельнице, мадам Екатерине, что у лотарингца какие-то странные мысли. Генрих уже успел остыть и придал своим новостям не больше веса, чем в его положении было благоразумно. Заговор лотарингца и почтенных граждан он изобразил в комическом духе. Связей белокурого героя с чернью он коснулся лишь слегка; пусть королева-мать увидит в этом либо нечто недостойное ее внимания, либо, если пожелает, предостережение. Но она предпочла его словами пренебречь. Тогда он все же подошел к ней вплотную и неожиданно проговорил: — Мадам, вы погибли.

Она рассмеялась с материнским добродушием: — Не беспокойся! Гиз в конечном счете действует мне на пользу: ведь Филипп мне друг.

В это она почему-то верила и оттого не понимала, что король Филипп ищет себе во Франции наместника — к тому времени, когда государство будет расшатано с помощью испанского золота, а он станет в нем единственным властителем. А рядом с ней стоял человек, который начинал это понимать. Но мадам Екатерина, хитро прищурившись, ответила ему:

— Иди-ка ты лучше к какой-нибудь красивой даме, королек. Вы с Гизом должны как можно больше развлекаться у меня на глазах, тогда я вас не боюсь.

Король Франции сидел, закутавшись в свой меховой плащ, и писал; он был охвачен тихим унынием, именно такого настроения и ждал Генрих, чтобы многое ему открыть. Самое плохое д’Анжу знал: один из его любимцев нынче пал на поединке — Можион, прелестный мальчик, и заколол его офицер Гиза. Это уже переходит всякие границы: Гиз не только мутит народ на улицах, он сеет страх даже в замке короля. — Кузен Наварра, мы недооцениваем его.

— Допускаю, — сказал Генрих. — Голиафы, и вообще такие герои, как он, умеют быть не только грубыми. Нельзя забывать, что они и коварны.

— Я, — заявил король, — хочу ответить на это коварство достойно, хотя и не без мудрого расчета: в списки Лиги я внесу и свою королевскую подпись.

Что он тут же и сделал с большой торжественностью и в присутствии многих свидетелей из всех сословии. Пусть народ и почтенные горожане убедятся воочию, что незачем напоминать с помощью каких-либо сообществ о его обещании защищать религию. Он ставит свою подпись в самом начале, над подписью лотарингца, в знак того, что будет всеми способами бороться против распространения гугенотской ереси. А между тем, сам этому не верит, да и никто не верит слабому королю. Своею подписью он только подтвердил, что по всей стране бродячие монахи подстрекают против него народ, что в каждой деревне листы со списками сторонников Лиги покрываются именами и крестиками, и у каждого парня при этом стоит перед глазами храбрец Гиз, и у каждой девушки — красавец Гиз, что герой их грез — только он, а вовсе не какой-то унылый Валуа, который то грустит, то распутничает и возится со своей свитой из мальчишек.

Генрих, третий король Франции, носящий это имя, забывал свой сан, когда наряжался восточным султаном или кающимся грешником. Но как французский государь, он любил повздыхать над своим истинным положением и брал себе тогда в наперсники своего зятя Наварру, ставшего впоследствии четвертым королем, носившим имя Генрих. Однажды утром король приказал позвать его; близилось рождество, лежал снег, и в замке Лувр стояла необычайная тишина, словно он остался наедине с самим собой. — Генрих, скажи, что ты обо мне думаешь! — просительно обратился к нему король.

— Что вы мой государь и король, сир.

— Ну, над этим думать особенно нечего. Нет, когда ты начинаешь размышлять?

— На вашем месте я бы не стал допытываться. Вы действовали

один-единственный раз, и вашим делом была Варфоломеевская ночь. Нынче Гиз намного сильнее, чем был тогда адмирал. Но вы король, и не случайно, конечно, вы дали ему стать еще сильнее.

— Речь не об этом, — угрюмо пробормотал король. — Я жду, что надо мной будет совершено насилие.

— Предупредите его.

— Ты ведь слышишь: я жду его с нетерпением, — прошептал король и весь затрепетал. Он даже рот прикрыл рукой. — Мне сообщили, что Гиз хочет меня похитить. Что же будет? Я его пленник. Он хозяин моего королевства и входит ко мне с арапником…

— Он на голову выше меня, — сказал Генрих Наваррский. — А что будет дальше? Такой верзила имеет передо мной лишь то преимущество, что может снимать колбасы с потолка — вот и все. — А про себя добавил: «Король хотел, чтобы я убил и его брата, Перевертыша. Не потому ли, что тот одного роста со мной? Разве во всем этом разберешься?!»

За дверью послышалось шарканье многих ног и звон оружия; дверь распахнулась, и один из адъютантов Гиза доложил о нем. Но не так, что Гиз-де просит короля принять его господина, — нет, распоряжался герцог. К тому же он заставил короля Франции ждать, и тот воспользовался этими минутами, чтобы спрятать своего кузена Наварру.

— Послушай, что он осмелится предложить королю. А если он нападет на меня…

— Может случиться, что он проколет шпагой и портьеру. Лучше уж я покажусь до этого и тоже скажу словечко.

И вот появился третий Генрих, из дома Гизов. Громкая команда, оказание почестей, торжественное появление. Король Генрих сидел у письменного стола, кутаясь в меховой плащ, Генрих Наваррский выглядывал из-за портьеры.

Герцог шляпы не снял и не обнаружил никакого желания преклонить

колено. Он сказал: — Погода для охоты подходящая. Я увожу вас, сир.

Король громко кашлянул, это служило сигналом для кузена и означало: «Вот видишь! Похищение!» Гизу же он ответил:

— Конечно, друг мой, но видно, что у вас нет парламента и вам не нужно выпускать для него указы, если он не желает вносить в свои протоколы угодные вам изъявления вашей благосклонности.

В голосе герцога зазвучали резкие ноты, когда он ответил: — И ваш парламент совершенно прав, так как ваши указы обогащают только придворных, а народ идет к гибели.

— То же самое говорили, когда еще был жив мой брат Карл. А народ, в сущности, только и делает, что идет к гибели. — Король сказал это неспроста, а герцог повел себя именно так, как от него и ожидали. Он разразился обличительной речью, точно настоящий трибун. И вперемежку с ошеломляющими цифрами наговорил пропасть громких слов. Когда сказать уже было нечего, король с потемневшим лицом пробормотал из своих мехов, едва шевеля толстыми губами:

— Видишь, Гиз, потому-то я принял тебя наедине, без свидетелей: я опасался, что ты иначе не сможешь так свободно все это выложить.

— А кого мне бояться? — спросил герцог, выпятив грудь и расставив ноги. Предложенное ему кресло он отпихнул. — Кто из нас обоих действительно вождь Лиги? — спросил он.

— Ты, — убежденно заявил король. Герцог ощутил в этом ответе что-то, что вызвало в нем презрение. И он небрежно бросил: — Хоть вы и король, но не дворянин, а потому королем не останетесь. Я… — Он запнулся, потом крикнул еще раз: — Я… — но вовремя спохватился и не договорил тех слов, что уже вертелись на языке: «сам стану королем».

Король же вместо того, чтобы дать ему отпор, только подзадоривал наглеца. Кузен, скрытый портьерой, уже едва в силах был терпеть такое дерзкое обращение с лицом королевской крови. Отпрыском той же крови,

хоть и в двадцать седьмой степени родства, был он сам. Он шевелил складками портьеры, чтобы привлечь внимание Гиза. Но Гиз был слишком занят тем, как бы посильнее унизить короля. — Вы король только для ваших любовников, — грубо заявил он. — Да и их поубавится, когда убавятся деньги. А в конце концов вы забьетесь в какой-нибудь паршивый угол вашего королевства и будете там сидеть без всяких любовников, без денег и даже… без крови.

Тут короля потряс ужас. Он натянул на голову свой меховой плащ, и кузен за портьерой понял, что сейчас Генрих третий сползет под стол.

Но он умоляюще пролепетал: — Продолжай!

Это было уже слишком даже для такого бесчувственного истукана, как Гиз. Он вдруг умолк, повернулся и подошел к креслу, которое перед тем отпихнул. — Продолжай! — пробурчал он себе под нос и пожал плечами. Свидетелю за портьерой все было слышно, так как и кресло и герцог находились совсем рядом. У Генриха даже слезы выступили на глазах: какой-то бессовестный нахал с избытком крови в жилах и шайкой черни за спиной, без всяких заслуг и без всяких прав смеет держаться перед королем этаким героем и грозить ему, что, мол, последняя кровь выступит у него из пор, как у его брата! Что только творится в этом мире! Генрих Наваррский отбросил складки портьеры и вышел, держа в руке обнаженную шпагу: — Я мог бы ее всадить тебе в спину, и стоило бы!

— Ого! — воскликнул Гиз. — Да тут ловушка! Иначе к чему это требование продолжать, если Валуа все равно ничего приятного для себя не ожидал услышать. А я-то явился, — говорил этот здоровенный мужчина, незаметно отступая к двери, — я явился сюда как верный слуга короля, чтобы начистоту выложить всю правду и спасти его и королевство. Свой меч я не взял с собой и кинжал не выну — это ниже моего достоинства.

Вероятно, он забыл его взять, ибо держал руки так, словно вот-вот хлопнет в ладоши. И в тот же миг в комнату ворвались бы толпой его

вооруженные люди. Генрих Наваррский помешал этому.

— Генрих Гиз! — заявил он. — Мы играем! Убийство Цезаря, помнишь, как все это было? Мы с тобой изображали заговорщиков.

— Брось шутки, — сказал Гиз. На самом деле он был рад такому выходу из положения. Он без всякой игры достаточно говорил и делал такого, за что его можно было обвинить в заговоре. Лицо короля молниеносно изменилось — оно стало страшным; он вскочил, выпрямился и стал подобен карающему властителю. — Это же Цезарь! — воскликнул Генрих с увлечением. — Бей его! — Гиз уже хотел ринуться вперед, но упал, так как его сообщник дал ему подножку. Генрих Наваррский тут же сел Гизу на шею, придавил к полу и спросил, как того требовала роль: — Сир! Что мне сделать с оскорбителем вашего величества?

— Отруби ему голову! — потребовал Цезарь в ярости. Может быть, он был действительно взбешен или мысленно перенесся в Collegium Navarra, на сумрачный монастырский двор, где три мальчика, три Генриха, когда-то играли в ту же игру.

— Готово! — заявил кузен Генрих, дал своей жертве подняться и сунул шпагу в ножны, не забыв стереть с нее воображаемую кровь.

Наступила пауза; во время этого молчания чувство неловкости все нарастало, и три Генриха постепенно возвращались от монастырского двора и детских игр к действительности, когда они стали взрослыми и вражда между ними сделалась непреложным фактом: теперь мы уже выступаем не в трагедии, а в жизни. Однако какая-то неуверенность осталась. Может быть, в конце концов мы и сейчас участвуем в условной трагедии? Что же такое жизнь, если в ней повторяются положения, которые мы уже бог знает как давно создали в своей фантазии? Возникает ощущение чего-то нереального, однако стараешься его как можно скорее преодолеть. Генрих Валуа перевел дух и сел. Генрих Гиз исправил свою оплошность и преклонил колено. И только на лице Генриха Наваррского остался какой-то след сожаления или

недоверия; остальные это заметили, они обменялись многозначительным взглядом и незаметно ухмыльнулись. И это тоже было, как некогда в монастырской школе.

Новым оказалось то, что когда они, под вечер, играли в мяч, Генрих Наваррский нарочно поддался своему дружку Генриху Гизу и позволил ему обыграть себя; а в тот же час молодой дворянин по имени Рони (позднее он носил имя Сюлли), принадлежавший к свите короля Наваррского — отец отдал его Генриху в качестве пажа, — в тот же час этот шестнадцатилетний мальчик, уцелевший в Варфоломеевскую ночь только потому, что ректор школы его спрятал, вызвал на поединок одного из дворян герцога Гиза и убил его. Тем временем герцог выиграл партию в мяч.

Когда король снова встретился со своим кузеном, он сказал:

— Тебя я должен бояться больше, чем могущественного Гиза. Ты будешь наследовать мне. Ты принц крови, а кроме того, уж очень ловок. Но если бы только ловкость! Мое недоверие подсказывает мне, что здесь кое-что пострашнее.

Приключение одного горожанина

Королю, не доверявшему своим друзьям, пришлось выслушать от матери ее мнение насчет того, что сейчас является самым главным: необходимо прекратить всякие слухи о растленных нравах, поощряемых его величеством. Однажды, ранним утром, в лавочке некоего парижского бельевщика по имени Эртебиз зазвонил звонок. Супруги услышали его из своей спальни, хотя она выходила окнами во двор. Сначала они не решались встать с постели и крепко вцепились друг в друга, чтобы один все-таки не вздумал подвергнуть себя опасности. Но так как звонили все более нетерпеливо, оставалось только пойти и посмотреть. Муж наспех оделся, жена схватила молитвенник.

— Держи так, чтобы они сразу его увидели, Эртебиз, и отрицай все насчет Лиги, никогда я, дескать, ничего подобного не говорил. Скажи, ты был выпивши и, мол, только вчера исповедовался.

Она прокралась следом и, спрятавшись за прилавком, следила оттуда, как он неторопливо снимает засовы и цепочки. Колокольчик дребезжал и заливался, но голоса все же проникали сквозь стену из толстых дубовых досок. Бельевщик стал громко молиться. Вдруг дверь распахнулась, и появился его собственный шурин Аршамбо, служивший в охране королевского замка Лувр. Он стукнул в пол своей аркебузой и строго возгласил:

— Господин Эртебиз, следуйте за мной! — Но тут увидел, что из-за прилавка высовывается сестра, и сейчас же добавил вполголоса: — Не знаю, зачем ты там понадобился, зять, но нас тут четверо. Пойдем.

Появились и трое остальных. Однако Эртебиз, вместо того чтобы читать молитвы, накинулся на солдат. Он грозил им Лигой, где он, мол, состоит на службе и на жалованье. А там служить — совсем другое дело, чем в охране короля, который только с мальчишками и возится. Уже с церковной кафедры проповедуют против такого безобразия.

— Ладно, ладно, приятель Эртебиз, — отвечали солдаты, — но ты уж, сделай милость, пойдем; может, нам и не придется тебя вешать.

Тут вмешалась жена: — А сколько людей верили вам да пошли, а потом так и не вернулись? Ты останешься здесь, брат, вместо него, и несдобровать тебе, если с моим стариком приключится беда!

Так аркебузир Аршамбо остался в лавке в качестве заложника, а бельевщика Эртебиза трое вооруженных людей отвели в замок Лувр. Ворота, мост и арка были хорошо известны бельевщику — сколько раз ходил он этой дорогой в колодец Лувра в финансовое ведомство, которое неусыпно наблюдало за его доходами! Но дальше все было ему незнакомо, и ничего не стоило его напугать или ошеломить: каждый, кто был здесь за своего, задирал

перед ним нос, а почему, неизвестно — уже самое начало его пути оказалось более приметным, чем всегда. Обычно ему самое большее, что пригрозят префектом, если он не послушается обычного «Проходи, проходи!»… И тогда он ссылается на то, что принадлежит к почтенным горожанам, а шурин ручался за него. Но сегодня он всюду слышит свое имя: — Эртебиз! — сначала у ворот, от стражи, затем около присутственных мест, потом возле кухонь. Двери всюду открывались, и, глядя ему вслед, люди шептали друг другу: — Эртебиз, — и при этом многозначительно кривили рожи. Он долго не мог вспомнить, что ему напоминают эти гримасы, пока внутренний голос испуганно не подсказал: «Эртебиз, у тебя самого бывает такое лицо, когда ты снимаешь шапку перед гробом с покойником».

У подножия парадной лестницы стража передала его швейцарцам, один пошел впереди, другой позади. Своды, под которыми двигалось это шествие, были окутаны сумраком, так как еще не совсем рассвело, и эта сторона замка выходила на запад. Сначала они спустились по ступенькам, потом поднялись и завернули за угол; бельевщику казалось, что они идут без конца, у него дрожали колени. — Куда вы меня ведете, кум? — спросил он переднего швейцарца, но с таким же успехом он мог бы обратиться к стене. Чужеземный наемник даже не повернул толстой шеи и продолжал шагать, топая огромными башмачищами и сжимая в вытянутой волосатой лапе алебарду. Эртебиз тяжело вздохнул и уже приготовился попасть в такое место, откуда не увидишь ни луны, ни звезд. Вдруг его одуревший взор заметил какое-то поблескивание: то блестели золото, рубины, мрамор, камка, парча, слоновая кость, алебастр. Все эти названия драгоценностей ожили в его памяти, пробужденные светом с востока, лившимся в залу, двери которой были открыты. Все окна горели пламенем солнечного восхода, и тут буржуа почувствовал, что поистине перенесен в королевский замок. Он потом готов был поклясться, что в зале, через которую он прошел, находилось целое общество вельмож и дам и они были заняты изысканным

времяпрепровождением. Он не мог сообразить, что это фигуры на обоях и гобеленах представляются ему живыми в трепетном свете пылающей зари. Напротив, когда он уже миновал золотую залу, то начал даже различать голоса этих господ, даже звуки арф расслышал и, про себя, не одобрил. С утра здесь предаются бесполезным занятиям!

После такой подготовки его охрана в третий раз сменилась, теперь это были уже не солдаты, а изящные молодые дворяне, камергеры и пажи; во всяком случае, волосы у них были гладко причесаны и спускались вдоль щек, накрашенных, как у женщин, и, вероятно, ради той же цели: чтобы ими любоваться и их ласкать. Голова у бельевщика пошла кругом, а оба знатных юноши улыбались ему и — слегка склоняли стройные шеи, именно перед ним, Эртебизом. Его лавкой они, видимо, пренебрегали: воротнички у них были со складочками, тонкие, как облачко, но вышитые золотом — таких мы не делаем. И все же они шагали по обе стороны от него, точно он им ровня, вошли вместе с ним в комнату и, говоря слегка в нос, сообщили ее название. В отделке и убранстве этого покоя было так много золота, что от блеска Эртебиз не только ослеп, но и оглох. Ошарашенный, смотрел он на красивых мальчиков, и они, благодарные за это восхищение, ласково его подбадривали. — Господин Эртебиз, — сказал в нос один из них, — сейчас мы откроем еще две двери и проводим вас до третьей. Там мы покинем вас, вы войдете один, ибо никому не разрешено сопутствовать вам.

Ну, как тут опять не перепугаться! Каждую минуту что-нибудь новое. Вот он уже успел попривыкнуть к обществу этих молодых людей: после встречи с ними он готов даже отбросить некоторую предубежденность против дворянского сословия и его нравов и отнестись более миролюбиво к замку Лувр, на который, может быть, и не совсем справедливо попы так усердно призывают громы небесные. Да, при дворе есть и кое-что хорошее, короля можно понять. Я, Эртебиз, не вижу ничего, что бы задевало мое чувство благопристойности. В оба следующих покоя он входил уже гораздо

увереннее. Увидев обнаженную статую, Эртебиз даже подтолкнул локтем одного из своих новых друзей. Но вот они перед третьей дверью. — Сударь, — говорят ему, — вас просят войти и открыть пошире глаза!

— Соблаговолите смотреть и все примечать, — еще раз настойчиво напоминают они, причем каждый из них распахивает одну половинку двери. Эртебиз делает шаг, и двери за ним захлопываются. Он в сумеречной комнате, дневной свет скупо проникает в окна, прикрытые тяжелыми шторами; теплится ночник. Бельевщик постепенно начинает различать очертания предметов, особенно явственно видит он кровать. Полог откинут, кто же там спит? Он отваживается сделать еще один шаг, ведь ему разрешили и даже советовали смотреть во все глаза. Но тут волосы у него встают дыбом, дрожь пробегает по всему телу, и он падает на колени.

Король! Собственной особой! По одним губам — и то узнаешь; но его величество косится на него угрюмым глазом, не повертывая при этом лица. В точности так же смотрит он из глубины кареты одним глазом, когда ему кланяются. Но здесь нет кареты, Эртебиз, берегись. Здесь перед тобой королевское ложе. И твой король глазом подает тебе знак — смотри, дескать, кто рядом со мной лежит. Оказывается, королева. Можешь сколько угодно щипать себя за ногу, все равно перед тобой королева, ее белобрысые волосы, ее острый нос. Ты удостоен лицезреть королевскую чету, ты избран. Ее величество повертывает голову на подушке, чтобы ты видел и другую половину ее лица. И она лежит рядом с его величеством королем, совершенно так же, как кума Эртебиз, которую каждый знает, лежит рядом со своим верным муженьком в супружеской спальне позади лавки. Все очень просто, хотя и диву даешься, словно бог весть какое чудо увидел: этого не покажут и одному на тысячу, только тебе.

Благоговейно складывает он руки на груди и опускает взоры, дабы не злоупотребить оказанной ему честью. Кто-то касается его плеча. В своем умилении он не заметил, как открылась дверь. Продолжая стоять на коленях,

Эртебиз, пятясь, удаляется из комнаты. Давешние молодые люди протягивают ему руку, чтобы помочь подняться. Им понятно, насколько он потрясен, и они сообщают, что теперь-то и настало время хорошенько подкрепиться. Стол накрыт в проходе между галереей и лестницей, место, так сказать, весьма публичное. Его усаживают перед единственным прибором. Мажордом поднимает жезл, и тут входят повара: все несут серебряные миски не меньше как по восьми фунтов весом, а в них всякая рыба, мясо, пироги. Вино льется к нему в стакан из посудин рубинового стекла с золотым носиком; кроме того, за стол подсаживается хорошенькая девица. Он знает, что хорошенькая, хотя не поднимает глаз от полной тарелки. — Эртебиз! — восклицают зрители, которые попадают сюда и со стороны лестницы и со стороны галереи. Они останавливаются на почтительном расстоянии от его стола, вытягивают шеи, повторяют «Эртебиз!» и удаляются на цыпочках.

— Вы знаменитость, господин Эртебиз, — раздается льстивый голос девушки. — Дозвольте попросить вас об одной милости: когда выйдете из замка и будете рассказывать обо всем, что здесь с вами приключилось, не забудьте и меня. Я мадемуазель де Лузиньян.

Услышав это знаменитое, прямо легендарное имя, бельевщик горестно вздохнул. Это было уже слишком. Уже давно все было слишком, и под конец он даже загрустил, вместо того чтобы возгордиться. Эртебиз бросил на зрителей столь мрачный взгляд, что они неслышно удалились, иные отвешивая поклоны. А ему и в голову не могло прийти, что они просто исполняют заученные роли. И он ни за что бы не признал, будто рыба, которую приказал подать ему король Франции, была вчерашняя, а пироги и того старше. Вино взяли из соседнего трактира, дома он пил получше; впрочем, последнее не совсем от него укрылось. Он никак не хотел верить, выпил несколько стаканов и нашел его еще хуже. Оставалась мадемуазель де Лузиньян, но она тоже была поддельная. Просто мадам Екатерина отправила одну из бедных дворянских девушек своего «летучего отряда», чтобы она

обработала скромного горожанина. И первое, чем следовало ошеломить его, — это громкое имя. Все же несколько стаканов кислого вина сделали свое дело, он набрался храбрости, подмигнул полуобнаженной женщине и уже потянулся к ней.

Эртебиз так и не понял, почему вдруг свалился со стула.

Бельевщик был кругленьким коротышкой с багровым лицом и седеющей головой. Таким он увидел себя в зеркалах, когда выползал из-под стола. Фрейлина исчезла, чему он, однако, не удивился. И тут в его душе родилась непоколебимая уверенность, что его надули, надули решительно во всем. И он положил обо всем этом непременно рассказать своей улице. А его приключение пусть пойдет на пользу Лиге и ее вождю! Правда, он еще не знал, как выберется отсюда. Все его теперь покинули — зрители, девица, повара, величественный мажордом, даже изящные дворянчики, а ведь прикидывались его друзьями. Ему самому пришлось отыскивать дорогу: по безлюдным переходам он добрался до какого-то подвала, забитого солдатами, и они схватили его за шиворот. Уж тут не было никаких «господин Эртебиз», они попросту вытолкали его в Луврский колодец, а затем на мост. И молодцы из охраны его теперь знать не хотели: солдаты грубо допросили его, вывернули ему карманы, дали пинок в зад, и он вылетел из замка.

Эртебиз предусмотрительно не рассказал солдатам о том, что видел в замке. Впрочем, он и сам начинал сомневаться, так ли все это было. И чем дальше он шел по городским улицам, тем невероятнее и подозрительнее казалось ему все пережитое. Подобные истории не для него; а здравый смысл подсказывал, что тут не обошлось без козней диавола. Бельевщик решил, не откладывая, сходить к исповеди. Тем, временем он добрался до улицы, где жил, и все соседи вышли ему навстречу из своих домов, он же поспешил укрыться в собственном и лег в постель. Госпожа Эртебиз принесла ему глинтвейна.

Лишь спустя два часа — ибо это был кремень-человек — супруге

удалось выведать все, что с ним приключилось. Вечером стало известно всей улице, а на другой день — всему Парижу. Начали приходить люди из других частей города, они хотели услышать от него самого, что король спит с королевой. Это явно шло на пользу королевской власти и подрывало Лигу, почему поп Буше начал в своих проповедях громить Эртебиза, уверяя, что он подкуплен и что он орудие сатаны. Однако коротышка-бельевщик настаивал на своем, ибо с течением времени он стал гордиться этим приключением и был теперь более убежден в том, что все это действительно произошло, чем в день события.

— Эртебиз, что же ты, на самом-то деле, видел?

— Его величество король лежал на своей золотой кровати, в золотой короне, а рядом с ним лежала ее величество королева, прекрасная, как утренняя заря. Все это истинная правда, готов поклясться в мой смертный час.

Он повторял потом то же самое в течение тринадцати лет. Тем временем дело дошло до того, что короля умертвили, а его преемник, Генрих Четвертый, носивший то же имя, вынужден был побивать в сражениях своих же французов, иначе они попали бы в лапы Габсбургов. Лига для украшения своих процессий выпускала на улицы нагих женщин, и они плясали. Их развращенность была ужасна, а в своей кровожадности они доходили до смешного. Коротышка-бельевщик, известный всему городу благодаря своему рассказу, был не первым, но и на него бешеные бабы набросились, как на врага святой церкви: — Вон Эртебиз, это он видел, как Валуа валялся со своей потаскухой!

И сотни босых ног затоптали Эртебиза насмерть.

Наслаждение

У королевы Наваррской был собственный двор: в нескольких маленьких покоях по вечерам собирались ее подруги, ее поэты, музыканты, гуманисты и поклонники. Здесь служили одному божеству — Марго, и незачем было подглядывать в щель между портьерами, как на празднествах, устраиваемых ее братом, королем Франции. Ее дорогой супруг, король Наваррский, однажды вечером застал Марго играющей на арфе, а какой-то поэт читал сочиненные в ее честь благозвучные стихи; в мире поэзии она именовалась Лаисой, была куртизанкой и властвовала над людьми благодаря своей красоте и учености. Марго-Лаиса сидела в кресле, на возвышении, и во всем ее облике было то совершенство, к которому она неизменно стремилась. По бокам стояли еще два кресла, и в них сидели госпожа Майенн и герцогиня Гиз. У ног богини и подле двух других муз расположились менее важные особы, служившие, однако, необходимым дополнением ко всей этой картине. Ее обрамляли две увитые розами колонны, между которыми лежал большой светлый ковер с вышитыми на нем образами мечтательной весны. Глубоким миром и ясностью духа веяло от этого зрелища, и поэту, стоявшему перед тремя женщинами, оставалось только воспевать их, причем он слегка откидывался в сторону и вытягивал руку, словно шел по шаткому мостику, переброшенному через пропасть.

«В замке Лувр не везде так спокойно, как здесь, — подумал Генрих, увидев двор королевы Наваррской. — А церковь, где проповедует этот Буше? Не изобразить ли его и показать им образчик подобного красноречия? Стоит ли? Нет!» Генрих, правда, занял место поэта, но начал декламировать то, что ему вдруг пришло на ум: — Adjudat me a d’aqueste hore, — помоги мне в этот час, молитва, которую читала мать, рожая его. Звучные слова! А так как они были обращены не только к деве Марии, но вместе с тем и к королеве Наваррской, то этим ее дорогой повелитель превзошел все восхваления, какие мадам Маргарита слышала при своем дворе. И она была ему чрезвычайно благодарна; она принялась аккомпанировать, вплетая в его речь блестящие

пассажи на арфе, и в заключение протянула для поцелуя свою, ослепительную руку. Поцеловав ее, он заверил Марго при всех ее почитателях, что сегодня готов служить ей и угождать, как никогда. Она поняла и снова протянула ему руку, на этот раз, чтобы он помог ей сойти со ступенек возвышения и увел из комнаты.

Когда их никто уже не мог услышать, Генрих рассмеялся и сказал: — Ступайте к королеве, вашей матери. Мне очень хочется поглядеть, какое у вас будет лицо, когда вы выйдете от нее.

— Что это значит? — отозвалась Маргарита, она была явно обижена. — Теперь со мной уже никто не обращается столь неуважительно, как во времена короля Карла.

— Надеюсь! Хотя ваш брат-король разгневан на вас не меньше, чем ваша мать.

— Ради бога! Что случилось?

— Я молчу! Достаточно, если я скажу вам, что сам не верю ни одному их обвинению. Люди все это выдумывают, только чтобы нас поссорить.

Генрих проводил свою супругу до комнат мадам Екатерины. Но едва он остался один, как к нему приблизилась другая дама, герцогиня де Гиз: она тоже попала в трудное положение. Ее беспокойство можно было заметить и раньше: когда она еще сидела в кресле на возвышении и остальные казались столь безмятежно спокойными, герцогиня тревожно озиралась. Так выглядит человек, которого до смерти перепугали, и он не в силах об этом забыть.

— Сир, — проговорила герцогиня и беспомощно протянула Генриху руки ладонями вверх, — я очень несчастна. Я ни в чем не повинна и заслуживаю того, чтобы вы меня утешили. — Он хотел возразить ей: почему бы и нет, после всех остальных, — однако не успел. — Вы лучший друг герцога, — торопливо продолжала она, — так убедите его, ради бога, что я перед ним чиста, а то он обойдется со мной еще суровее! — Она выпалила все это сразу и невольно остановилась, чтобы перевести дух. Генрих мог бы

сказать: «Я вправе защищать вашу невинность, мадам, ибо мне вы, к сожалению, еще не доказали противное».

— Подумайте только, что делает этот сумасшедший! Нынче утром я почувствовала легкое недомогание, а он невесть отчего был не в духе; вижу, что-то его бесит, а что, сказать не желает. Я ведь и так догадываюсь, в чем дело: у мужей только ревность на уме. Вдруг ему взбрело в голову, что я непременно должна выпить чашку бульона, и каким тоном он этого потребовал! Я, конечно, начинаю подозревать самое плохое. «Не нужно мне никакого бульона!» — говорю. А он, сколько я ни отказываюсь, стоит на своем: «Нет уж, извините, мадам, бульон вы все-таки выпьете». И тут же посылает на кухню.

— Он хотел вас отравить? — вполголоса спросил Генрих с ужасом, ибо ему вспомнилось, что ведь он сам назвал герцога рогатым; может быть, он первый и пустил этот слух? С тех пор Гиз ото всех получал подтверждения, и вот как страшны оказались последствия для бедной женщины.

— Надеюсь, вы ему выплеснули бульон в лицо?

— Это было бы невежливо. Я вымолила у него отсрочку на полчаса, прежде чем выпить роковую чашу, и за это время приготовилась к смерти.

Генрих видел теперь несчастную жертву сквозь дымку слез, застлавших ему глаза.

— Потом принесли бульон. Герцог тем временем вышел из комнаты. А я выпила.

Даже в отсутствии мужа супруга повиновалась ему: ее поддерживала надежда, что молитва умирающей искупит все ее плотские прегрешения.

— И вы подумайте! — воскликнула она, возмущенная до предела. — Оказалось, что это самый обыкновенный бульон!

Ее гнев передался и ему. Хорош Голиаф с его великолепными телесами! Вот как он запугивает женщин! Вот как он мстит, когда они наставляют ему то, что он вполне заслужил! — Мадам, — сказал Генрих с глубоким

убеждением, — вы безвинно пострадали, я это вижу. Вы заслуживаете, чтобы я вас утешил и загладил вину всех мужчин, которые были к вам несправедливы, в том числе и мою.

Он взял ее за кончики пальцев, их руки, словно воспарили, их ноги сблизились изящно, словно в танце, и, обратив друг к другу лица, выражавшие учтивое счастье, они не без жеманства вступили на тот путь, который вел к обоюдному наслаждению.

Когда он снова увидел Марго, она только что при свидетелях выдержала бурное объяснение с матерью и братом-королем — уже не первое, вызванное ее предосудительным поведением. Душевное равновесие еще не вернулось к ней. — Что, я был прав? — спросил он сочувственно. Ее большие глаза наполнились слезами, но, боясь, как бы тушь не расплылась, она сдержалась и не сразу выложила все, что угнетало ее. Не дожидаясь никаких объяснений, ее возлюбленный повелитель обнял ее и стал уверять: что бы ни случилось, он всегда защитит ее, ибо она ему доверена. Сегодня же вечером, когда ее брат-король удалится в свою опочивальню, двое его друзей изложат ему, насколько он был к ней несправедлив.

— Брат, может, и поверит им, но мою мать вам не провести, — проговорила Марго, пожалуй, слишком поспешно и опять слегка испугалась. Она неуверенно взглянула на своего повелителя, желая угадать, что ему известно. Ибо в конце концов Марго ведь все-таки допустила грубое нарушение приличий, навестив на одре болезни своего очередного любовника! Но так как Генрих и виду не подавал, что об этом осведомлен, она вернулась к роли оскорбленной невинности. — Если бы хоть не при всех мне бросили в лицо такую клевету! Этого я никогда не прощу! Не хватало еще, чтобы мой возлюбленный повелитель был обо мне дурного мнения и разгневался на меня!

— И не подумаю, ибо знаю все лучше, чем все остальные, — отозвался он и улыбнулся при этом многозначительной, но доброй улыбкой, даже не без

оттенка влюбленности. Все это тронуло сердце бедной женщины. Лучшего друга она и желать не могла. — Вы человек благородный, — сказала она, — все кончилось благополучно. Но да послужит это нам предостережением. Вы увидите: король придумает еще немало всяких историй, лишь бы разорвать нашу дружбу.

— Это ему не удастся, — решительно заявил Генрих, — и мы сейчас же примем к тому меры. — Они еще долго пробыли вместе. Уже утром, когда он оставил ее, Марго тут же посетили дамы и сообщили ей о том, что ее возлюбленный супруг как раз вчера нанес ей обиду, оставшись вдвоем с герцогиней Гиз. Сначала Марго удивилась, затем ответила: — Мой дорогой супруг всегда пожалеет женщину, если она несчастна.

Потом она долго размышляла об этом случае. Ибо, хотя Марго жила бездумно, ее дух был полон глубокомыслия. Для памяти она набросала две сравнительные характеристики: вот герцог Гиз, именовавшийся в ее записках Клеонтом, его месть с помощью чашки бульона ужасна, он держит герцогиню часами под угрозой смерти. И вот король Наваррский — его она называла Ахиллом — этот, напротив, так мягок и вместе с тем так ненадежен. «И все-таки он верен своим чувствам, — писала она. — Ахилл никогда не забудет той высокой и прекрасной страсти, которая связала его с Лаисой. Этой страсти не изменят ни Лаиса, ни Ахилл, они преобразят ее своей доброй волей, и из пылкого чувства, подчас близкого к ненависти, возникнет дружба, почти равная любви».

Марго отложила перо: она была очень довольна, что все так обернулось. О многом она и здесь говорила только намеками. Но, к счастью, главное уже пережилось: она имела в виду толпу мертвецов, которые когда-то встали стеной между нею и ее дорогим повелителем и через которую невозможно было пробиться. Потом она выдала его своей свирепой матери, и он попал в плен, потом решилась наставить ему рога. Ненависть, обман, раскаяние, жалость сменялись в ее сердце, пока, наконец, Ахилл и Лаиса не сделались

близкими друзьями, чтобы навсегда остаться ими, — так по крайней мере думала Марго. Но ведь жизнь длинна…

Супруги на многое смотрели сквозь пальцы. Они даже предостерегали друг друга, когда одному из них грозила опасность: правда, за таким предостережением всегда что-нибудь крылось. Однажды Марго сказала: — Сир, вы показываетесь слишком часто в обществе моего брата д'Алансона. Зачем с ним связываться, ведь вы уже видели не раз, чем это кончается! Наследником престола он остается. Правда, вам обещано, что вы будете наместником всего королевства, но над его обещанием смеется весь двор.

— Мадам, иногда небезвыгодно быть даже осмеянным.

— Еще будь у вас тайные планы! Может быть, вы хотите стать королем Франции? Но вы не найдете никого, кто согласился бы вам служить, ведь все вас уже видели в роли короля. Лучше служите моему брату д'Алансону, которого я очень люблю и который, наверное, взойдет на престол. Я даю вам этот совет ради вашего же блага.

— Мадам, — торжественно отозвался он, — узнайте же, что и я вам друг. Я частенько провожу время с вашим братом д'Алансоном, так как мне известно, что его жизни угрожает опасность. — Взгляд Генриха был настолько красноречив, что она почти угадала: ему самому это и поручено, король хочет воспользоваться им, чтобы избавиться от брата, И тут Марго решает: «Я буду сама охранять моего брата Франциска. Его другу, храброму Бюсси, я подарю свою благосклонность». Приняв это твердое решение, она перевела разговор на свою подружку де Сов.

— Сов — для вас лишь приятное развлечение, — заявила Марго. — Но ничем большим она стать не должна, ради вашей же безопасности, мой дорогой государь и супруг. И никогда не выдавайте ей того, что у вас на душе! Лежа с ней на одной подушке, вы и то не должны ни на минуту забывать, что Сов о каждой мелочи доносит моей матери-королеве.

— Не верю я этому, — отозвался Генрих, хотя отлично знал, что

Маргарита права.

— Вы еще многому не поверили бы. Сов любит только Гиза, ему она предана душой и телом. — Марго начинала горячиться. — Неужели вам еще нужны доказательства? Ведь она безутешно плачет с тех пор, как лицо Гиза обезображено! Но и поделом этой сирене! — воскликнула она в гневе. — Признаюсь — я даже сама об этом постаралась. Пришлось ему нынешним летом идти в поход, вместо того чтобы изводить жену да спать с Сов. А в бою его полоснули по лицу мечом, и теперь он уже не красавец Гиз. Его теперь зовут «щербатый Гиз».

— «Щербатый Гиз», — повторил ее возлюбленный супруг, и это доставило обоим немало удовольствия, но Марго вдруг снова овладел гнев.

— И эта Сов пусть остережется, как бы и с ней чего не приключилось! Ведь она надеется стать нашей разлучницей, сир. Да что я говорю, — она мечтает вас на себе женить! Эта баба держит вас около себя целыми днями и приказывает вам являться к ней даже утром, когда ваша королева встает, лишь бы только вы не достались мне. Неужели вы доверяете своей Марго меньше, чем ей? А недоверие, сир, — это начало ненависти! — выкрикнула Марго, совсем позабыв о том, как нерушима дружба, связывающая Лаису и Ахилла.

Генрих сделал попытку ее обнять, и когда она оттолкнула его, про себя усмехнулся этому ревнивому раздражению, не подозревая, что и он начнет вскоре ревновать Марго к храброму Бюсси, которого она полюбит. Наслаждение не всегда остается только наслаждением. У него есть свои ловушки и свои пропасти. В них можно спрятаться, чтобы тебя не видели. И в них можно заблудиться и упустить самое главное. Так бывало не раз в отношениях между Шарлоттой де Сов и сыном отравленной Жанны, мстителем за убитого адмирала. Немало других придворных дам служили ему для тех же целей, но милее всех была в этой роли она.

На улыбку жизни Сов отвечала своеобразным обаянием. Это была натура уравновешенная, а не порывистая и опьяняющая, как королева Наваррская.

Слабой показала себя герцогиня Гиз, а не Сов, которая в каждом случае твердо знала, до каких границ она может позволить себе дойти. А Генрих находил общий язык и с ней, и с Марго, и с мадам де Гиз. По обычаям этого двора, у него было много любовниц, беспорядочные случайные связи, и очень сомнительно, долго ли выдержит такую жизнь столь молодое тело. Спокойнее всего ему было, однако, с Шарлоттой, отсюда и пристрастие к ней.

Причина крылась в том, что, когда они проводили вместе ночи без сна, они позволяли друг другу отвлекаться от действительности. И он знал, что о Гизе думает она тогда, о его честолюбивых замыслах. Ибо Гиз — ее единственный повелитель, пусть даже лицо его обезображено. «Меня же это не должно трогать, у нее такой прелестный рот, особенно когда она задумается и губы чуть приоткрываются. И я еще не видел таких глаз — длинные, узкие щелочки, и в них искрится насмешливый ум. Странно только то, что она никогда не удивляется, если я слишком долго молчу. Может быть, она уже угадала, о чем я думаю? Когда мы вдруг встречаемся взглядами, ее густые ресницы что-то утаивают от меня, а на губах появляется улыбка сострадания. И поделом, ибо что удалось мне осуществить за три с лишним года, несмотря на всю мою решимость мстить и ненавидеть? Да ничего! Король, Гиз, мадам Екатерина — все они до сих пор живы, а я их пленник и друг; занят ими больше, чем следует, и обманываю их. Эта женщина, которая лежит рядом со мной, права, считая Гиза лучше меня! И все-таки лицо у него теперь изуродовано — это ему за то, что он наступил на лицо мертвому адмиралу!»

— Я часто переношусь душою в горы, — сказал он однажды своей подруге в тихий ночной час. — В замке Лувр мне жить приятно, здесь у меня много друзей и прекрасных дам. Но в конце концов я начинаю скучать о своих горах. Кто не бродил по ним в детстве, не знает, как трудно человеку, когда он носит в своем сердце их имя: Пиренеи.

Сов следила за его грезами. Чтобы нащупать почву, она осторожно

промолвила:

— До них далеко.

— На коне я доехал бы туда в десять дней. Я поспорил со своим кузеном д'Алансоном, — ответил он пылко, этого было достаточно, когда слушают так, как слушала Сов: одной фразой он выдал с головой и себя и своего сообщника. Чтобы отвлечь ее от этого невольного признания, он принялся фантазировать насчет водопада, который свергается с небесной высоты. Увлеченный, он стал уверять, будто однажды бросился в него и водопад примчал его в долину, прямо к ногам его матери Жанны.

— Чья смерть до сих пор остается тайной, хотя прошло уже три года, — сейчас же вставила Сов. «И она все еще не отомщена…» — закончила фрейлина про себя, но он догадался. О! Он отлично чувствовал ее любопытство, оно было осязаемо, как прикосновение ее тела. Величайшее наслаждение этой женщине дает не любовь, а угадывание и выслеживание. Не успеешь опомниться, как ты уже проговорился. Ее хрупкое тело легко было утолить, и в любви Генрих просто пугал ее; она же пугала его своим пронизывающим взглядом.

Вместе с тем она не выдала его старой королеве, хотя это и входило в ее обязанности. У нее были тут свои оправдания; ну какие особые грехи совершил бедный малый? Несколько тайных совещаний, которые ничем не кончились? Мадам Екатерина только посмеялась бы, узнав, что он намерен устроить заговор с участием ее сына д'Алансона, который так часто надувал его. Все замыслы этого бедняги как-то захирели, ему, видно, достаточно осуществлять их в своем воображении, и он успокаивается. Этот герой уже не способен ни на какое деяние, думает Сов. Едет на охоту и возвращается домой минута в минуту, довольный своей добычей. Но прежде всего — он слишком много спит с женщинами. Она искренне хотела ему добра, поэтому предостерегала от излишеств. Сердце у нее было не злое.

Правда, ей хотелось разлучить его с Марго. Пока принц крови женат на

сестре короля, у него еще остаются какие-то виды на будущее. Но престол должен занять не он: на престол должен взойти мой единственный владыка и повелитель — Гиз! Поэтому Сов и пыталась убедить своего временного дружка, что она уже давно его любит — еще с той первой встречи в парке, когда обе подружки, Шарлотта и Марго, шли под руку ему навстречу, а впереди выступали павлины. Он станет моим, а я уже принадлежу ему вся, — так она будто бы решила тогда же. Я ловка, я умна, и если он женится на мне, королем он станет! Может не сомневаться. Но все было тщетно, лукавая усмешка Генриха показывала, что ей не провести его, так же как и он не проведет ее. Рассерженная, она отпустила своего возлюбленного в то утро раньше, чем обычно, хотя из ее объятий он, может быть, и перешел в объятия ее подруги Марго.

Таковы прихоти наслаждения. И вот однажды ночью король Наваррский вдруг потерял сознание; к счастью, он лежал на супружеском ложе. Обморок продолжался целый час, и Марго крайне встревожилась. Она старалась привести его в чувство и хлопотала над ним, как то предписывает долг заботливой жене: позвала своих фрейлин и слуг и не отходила от него ни на минуту, иначе он бы умер. Этот приступ слабости — явное предостережение: Марго посоветовала ему быть осторожнее. — С вами этого никогда еще не случалось. Вы слишком предаетесь наслаждению. — Словом, он остался очень доволен вниманием супруги, расхваливая ее потом, и она же была первой, с кем он снова вкусил наслаждение.

Поворот

Слишком много было сомнений, обдумывании и откладывании. И наконец 15 сентября 1575 года наступил крутой поворот: герцог Алансонский исчез. Когда пришло время идти к столу, мать велела искать его по всему

дому, она была чрезвычайно озабочена состоянием его здоровья — ведь она знала из собственного опыта, как легко отправить человека на тот свет. Однако трупа не нашли. Неужели д'Алансон бежал, даже не доверившись сестре? Та была, как обычно, занята своим двором и служением музам. Но королек! Мадам Екатерина уже готовилась к тому, что и его не увидит, — и вдруг он с самым невинным видом возвращается после игры в мяч, да еще перед тем принимает ванну.

— Что тебе известно, королек? Признавайся! Не то пожалеешь!

Генрих рассмеялся: — Мой д'Арманьяк мне только что сообщил, будто кузен удрал в карете, которая казалась пустой. Хотите, я открою вам, мадам, что воспоследует? Двуносый обратится к стране и к народу с призывом восстать. А тогда вы, мадам, помиритесь с ним и дадите ему то, что он потребует.

«Сердится, — подумала мадам Екатерина, — вероятно, потому, что его заподозрили в сообщничестве; и, конечно, не зря заподозрили». Все же условия его плена пока не стали суровее. Пророчество Генриха сбылось в точности, воззвание к стране и народу появилось. В нем августейший принц, ссылаясь на всеобщее недовольство, на то, что очень многие умеренные католики и протестанты жаждут мира, требовал справедливости и к нему самому. Ибо, проживая во дворце своего брата-короля, он-де получал только неприятности и никаких денег. Тут-то старая королева увидела верный способ вернуть свое дорогое детище; поэтому, несмотря на все, она отнеслась к воззванию менее серьезно, чем ее сын-король, которого эта история сильно расстроила. Да и город Париж был опять взволнован предчувствием бед и захватывающих событий. Как! Родной брат короля, именуемый монсеньером, последовал примеру принца Конде и бежал в Германию! И они уже идут сюда с огромными войсками, французы и немцы, — да, соседка, ровно сто тысяч человек, провалиться мне на этом месте, ежели я вру! И тогда сначала некоторые парижане, а затем все стали видеть на багряном вечернем небе

фигуры вооруженных людей.

Только мадам Екатерина сохранила здравый смысл, невзирая на все видения и слухи. Генрих Наваррский, по ее мнению, вел себя более загадочно, чем ее сын д'Алансон, которого она знала вдоль и поперек и не боялась. Неожиданно положила она перед королем Наваррским воззвание его сообщника — пусть Генрих прочтет вслух. После трехлетних упражнений Генрих научился владеть своим лицом при любых обстоятельствах. Не дрогнув бровью, он уронил: — А я знаю его. Я и сам так писал, когда был заодно с адмиралом и с гугенотами. Скоро монсеньер другое запоет. Сначала воображаешь невесть что, а потом все-таки начинаешь плясать под чужую дудку. Это не для меня.

Было ли презрение Генриха искренним или напускным — неизвестно, но его дорогая приятельница осталась при своем глубоком недоверии. С этого дня она учредила за ним еще более строгий надзор и приставила к нему новых шпионов, о которых он и не догадывался. Им было поручено пользоваться всяким случаем и вызывать его на неосторожные высказывания. Она оплела его черной паутиной сыска, а ему больше чем когда-либо удавалось обманывать двор своим неизменным благодушием и притворным легкомыслием. Но в нем происходила мучительная борьба, и на душе становилось все мрачнее — так уже было однажды.

«Перевертыш начал действовать, пока я медлил! И вот все было, оказывается, впустую: и долгое притворство, и бесконечное обдумывание, и постоянное изучение людей… Несчастье заставило меня пройти суровую школу, и все-таки я остаюсь там же, где был в утро после Варфоломеевской ночи».

Волнения продолжались две недели, затем Перевертыш пошел на попятный и начал торговаться с матерью, мадам Екатериной, относительно размеров вознаграждения, за которое он согласен изменить своим союзникам. Тем хуже для Генриха! «Такое ничтожество — и осмелился объявить себя

вождем, а я от излишних наслаждений упал в обморок. Почему же все так выходит? Довольно, я больше не спрашиваю! Школа несчастья кончилась, а вместе с нею и немощь мысли. Я подам весть моим протестантам на юге, пусть вскорости ждут меня к себе. И если даже они меня сейчас презирают за то, что я, вот уже больше трех лет, строю из себя шута при этом дворе, то я докажу им, что я поистине сын их королевы Жанны, и совсем другой чеканки, чем Перевертыш! И другой, чем Голиаф! Ибо я знаю: эта школа пройдена не напрасно. И знаю: королевство я объединю».

Его пылкая гордость взволнованно твердила ему эти слова, ничто не могло подорвать его уверенности — ни позорное положение, а его еще придется терпеть до известного срока, ни новый срам, причиной которого был Перевертыш: он выступил вместо Генриха и чуть было ему самому все не испортил. Генрих не сомневался в успехе. И сейчас, когда все казалось проигранным, он был больше чем когда-либо уверен, что впереди победа. Если народ действительно ждет вождя, то чем больше ложных вождей этот народ разоблачит и отринет, тем неотвратимее появится и выйдет на правильный путь его настоящий вождь.

И вот когда он ожидал, чтобы истекло положенное время, его постиг последний, особенно тяжелый удар; однако он выдержал и его. Последней покарала Генриха его любимая сестричка. Юная Екатерина долго и тщетно ждала, чтобы ее дорогой брат, наконец, вспомнил их мать Жанну, господина адмирала и всех убиенных друзей. Однажды во дворце Конде она тайком сказала старухе-княгине: — Я знаю его, ведь мы — одна кровь и плоть. И я была тогда здесь, в комнате, с ним и с господином адмиралом, который был еще жив. Разразилась ужасная гроза, двери распахнулись настежь, я так и ждала, что сейчас войдет наша покойная мать и позовет его: пусть отомстит за нее. Но оказалось, что это принцесса Валуа, и она увела его венчаться. Я постоянно вспоминаю о том вечере, мой милый брат тоже ничего не забыл. Я поклясться готова, что он с тех пор притворяется перед всем двором и даже

передо мной, своей сестричкой. Когда придет день, он выпрямится и покажет себя.

Волнуясь, она вскочила с места и не могла скрыть легкой хромоты. Екатерина была все так же бледна и казалась по-прежнему девочкой, из-за слабых легких. Она жила, замкнувшись в этом доме, ибо питала отвращение к королевскому двору, где, по словам ее матери, «женщины зазывают к себе мужчин». Принцесса Екатерина Бурбон осталась протестанткой. Она не могла понять отступничества своего брата, каким бы трудным ни было положение, в котором он очутился. Но все же она одобряла его поведение, ибо он был ее братом и главой их дома, и неизменно защищала Генриха, его увлечения и его ошибки перед дворянами-протестантами, которые тайком приезжали из провинции; а они потом возвращались к себе, увозя некоторую надежду. Екатерина была слаба, одинока и, казалось, могла вызвать только жалость. Однако многие из них знавали еще ее мать и были поражены благородной стойкостью дочери: им чудилось, что с ними говорит сама королева Жанна, и они еще раз преклонялись перед ее бессмертной душой.

Все же трудно дольше трех лет защищать бездеятельность человека, особенно если и сама начинаешь сомневаться в его правоте. «Он ничего не забыл, я знаю, но среди тех, кто его держит в плену, можно и утратить свою веру. Пусть он снова обретет ее с помощью господа. Я хочу нанести ему целительный удар.

И это в моих силах, ибо, что бы там ни произошло, я остаюсь, как всегда, его Екатериной. И я нужна ему оттого, что мы вместе росли; кто еще будет с ним в самую тяжелую минуту? Никто, кроме сестры. Притворюсь, будто я покидаю его, пусть испугается, что я отдам себя и наше дело в руки чужому мужчине».

Таков был простодушный расчет этой девочки с благородным сердцем. Она призналась в своих планах одному-единственному человеку — господину Теодору де Беза, женевскому пастору, сочинившему духовный

стих «Явись, господь, и дрогнет враг!» И осведомилась у него, можно ли выполнить то, что она задумала, не впадая в грех; а он разъяснил ей, что она, пожалуй, может отдать свое дело в руки другого, но не должна отдаваться ему физически. Как раз в то время она встретилась с двоюродным братом, Карлом Бурбоном, графом де Суассон, которого ей было суждено любить до своей преждевременной кончины.

Все это не так, как тебе кажется, Катрин. Ты до сих пор уверена, что своей строгой нравственностью резко отличаешься от брата, который ищет только наслаждений. Но и ты пройдешь те же ступени и познаешь наконец все муки, всю святость, все унижения тех, кто много любил, — а он будет и впредь желать всех женщин и, даже оставаясь верным одной, в ее лице жаждать всех остальных. Ты же все, что тебе предназначено судьбой, будешь получать только от Карла, твоего родственника и, кстати, католика, что, однако, не остановит тебя, строгую протестантку. И он станет тебя обманывать самым будничным образом. Но ты будешь забивать об этом после каждой измены, когда ты ее перестрадаешь; и после каждого разрыва привязанность твоего сердца окажется глубже. Это будет тянуться до тех пор, пока тебе не стукнет сорок один и ты начнешь раздражать общество, чего никак не сможешь отрицать, и когда ничего другого уже не останется, ты решишь строить из себя неприступную даму. И лишь славное имя твоего царственного брата послужит тебе защитой. Только тут он произнесет свое запоздавшее, но властное слово и повелит тебе выйти за другого. Ты, правда, подчинишься, ибо твои силы будут надломлены, но предотвратить этим уже ничего не сможешь. В ужасе перед надвигающейся старостью ты будешь цепляться за своего возлюбленного; нет, ты предпочтешь умереть, чем жить старухой, и ты умрешь. Вот как это будет, Катрин, а вовсе не так, как ты воображала, когда просила совета у женевского пастора.

И тогда юная принцесса Екатерина неожиданно появилась на одном из дворцовых празднеств. Об этом доложили ее брату, но напрасно Генрих искал

ее в толпе гостей. Уже решив, что над ним подшутили, он все же заглянул в королевскую прихожую, там было пусто. Один из офицеров гвардии стоял и смотрел в угол, который Генриху не был виден. Брат направился туда и обнаружил сестру в обществе мужчины, который вызвал в нем суеверный ужас. Генрих готов был повернуться и бежать отсюда: перед ним оказался его двойник. Те же густые курчавые волосы, тот же узкий овал лица; рот, глаза, нос были его, ничем не отличалась от Генриховой и фигура; особенно потрясло его то обстоятельство, что неведомый двойник был и одет в точности, как он.

А сестричка стояла, положив руку на плечо незнакомца, — так она с детства клала руку на плечо брата, — и говорила, почти касаясь, его щеки, как несчетное число раз говорила, касаясь дыханием щеки Генриха. Страшнее же всего было то, что его, Генриха, она не видела и не слышала, хотя их разделяло едва ли шесть шагов, хотя он нарочно шаркал ногами по полу, чтобы привлечь ее внимание. Он ущипнул себя: да точно ли он здесь присутствует телесно, точно ли это он сам? Или какое-то колдовство лишило его земной оболочки?

«Бедный брат, — думала тем временем Екатерина, — духи, конечно, существуют, бывает и колдовство. Но сейчас я тебя просто обманываю, и мне искренне жаль, что приходится это делать. Я разодела моего милого кузена, научила его, как вести себя, и вот притворяюсь, будто ты для меня — все равно, что воздух. А на самом деле — нет никаких причин для твоего смятения. Сравни-ка себя с нашим двоюродным братом! Если отбросить чисто фамильное сходство, то это лицо без прошлого, жизнь не оставила на нем никаких следов. Он только и знал, что охотиться в своих лесах. А ты? Ах, братец, хоть ты и очень молод, но страдания, борьба и раздумья уже оставили на тебе свой отпечаток. Перестань строить из себя шута, и твой взор сразу станет печальным и хитрым, милый братец. И нос у тебя с тех пор еще больше загнулся к губе, не очень, но все-таки. В эту минуту ты считаешь, что

на тебя никто не смотрит, и рот чуть кривится оттого, что ты слишком долго притворялся. Но как красивы эти впадины на висках — они у тебя от рождения. Хотя бы даже ничего в тебе не было, кроме них, сердце мое, я бы все равно любила тебя. Как раз такие впадины есть и у нашего кузена. Я не могу поверить в то, что полюблю его, но если это все же случится, то из-за твоих висков!»

Девушка встала, наконец она обратила к нему лицо, строгая и ясная, как будто сама Жанна смотрит на него. Только в ее широко раскрытых глазах стояли слезы; слезами задернулись и его глаза. Екатерина сказала: — Господин брат мой, вы давно не виделись с нашим дорогим кузеном. Он часто навещает меня, и мы говорим о вас, ибо не смеем надеяться, что вы ради встречи с нами оставите ваше привычное общество.

— На это обратили бы внимание, — возразил Генрих, — а вам, наверное, известно, дорогая сестра, что я не общаюсь с гугенотами, тогда как вы принимаете очень многих. И было бы слишком неосторожно, если бы сейчас три особы из нашего дома долго беседовали тайком в уединенной королевской прихожей.

При этом он взглянул на кузена. Тому стало не по себе, Генрих решительно взял его под руку и проводил до двери. — А теперь говори, Катрин, — сказал он, вернувшись. Она сначала взглянула украдкой на телохранителя. А тому почему-то взбрело на ум встать в самых дверях, широко раздвинув ноги, словно он вознамерился никого сюда не пускать; к ним он повернулся спиной. Тогда сестра сказала:

— Там, дома, тебя ждут.

— Знаю. Но я ведь пленник. Сторожевые посты усилены, все больше шпионов следят за мной. Тем, кто ждет, придется еще потерпеть.

— Их терпение уже иссякло. Они считают, что ты для них погиб. Д’Алансон занял твое место, не забудь! И это наши единоверцы на юге, ты пойми! Тамошний губернатор и умеренные католики действуют заодно с

протестантами: они вместе хотят поддержать Конде, если он с немецкими войсками вторгнется во Францию. Провинции, которые лежат у него на пути, уже на его стороне. Все зреет, все сдвинулись с места, только ты сиднем сидишь. Наша мать пожертвовала своей жизнью, а теперь другой — не ты! — пожинает плоды ее жертвы!

— Я очень несчастен, — вздохнул он и опустил глаза: было почти невыносимо обманывать даже сестру. Этот взволнованный, вибрирующий голос, его испуганное повышение на последних слогах… «Сестра! Сестра! Я ведь твердо решился и уйду отсюда раньше, чем ты думаешь. Среди тех, кто мне будет помогать, ни один не знает другого. За эти три года я многому научился. Моя драгоценная приятельница, старая убийца, сообщила мне по секрету, что д'Алансон уже не опасен. Нынче ночью она тайком уедет и привезет обратно своего блудного сына. Если бы я раньше срока обмолвился тебе хоть словом, Катрин, ты бы тоже оказалась замешанной. Я не могу подвергать тебя опасности, Катрин».

Он поднял глаза, в них были кротость и терпение, больше ничего.

— Так ты не хочешь? — спросила она.

— Я не могу, — вздохнул он.

Тогда она подняла руку — у нее были те же длинные, гибкие пальцы, что и у матери; и так же, как в детстве, когда мать, бывало, рассердится, она пребольно ударила его по щеке. И он тоже пустил в ход руки, точно они были еще детьми и жили у себя в деревне, где не только крестьяне, но и принцы гораздо непосредственнее выражают свои чувства. Он поднял сестру, понес на вытянутых руках к двери и, как она ни старалась вырваться, решительно посадил ее на шею телохранителю, все еще стоявшему на пороге. Чтобы не свалиться с этого громадного парня, маленькой Екатерине пришлось ухватиться за него. Когда она опять очутилась на полу, Генриха давно уж и след простыл. Но она — она теперь знала правду; и от радости громко рассмеялась. Телохранитель тоже смеялся.

Дух

Те, кто должны были ему помогать, до сих пор еще не знали друг друга. Это были прежде всего господа де Сен-Мартен д'Англюр и д'Эспаленг, два благовоспитанных дворянина, остроумцы и смельчаки, но, согласно требованиям хорошего тона, всегда умевшие вовремя остановиться. Общение с ними было весьма приятно, и так как Генрих не сомневался в их преданности, оно тем более привлекало его. Доверенным лицом Генриха был некий господин де Фервак, настоящий солдат, уже не юноша, прямодушный и скромный. Этот был не охотник до зубоскальства и словесной игры: иной раз краткое донесение, которое обнаружит д'Арманьяк в платье своего государя, неведомо как туда попавшее; время от времени беглая встреча и несколько имен: Грамон, Комон, д'Эспин, Фронтенак. Наконец здесь, в самом замке, в заговор оказались вовлеченными семеро дворян, причем каждый из них присоединился по собственному почину; они были уже проверены, ибо Фервак как-то пустил ложный слух, будто все открылось и им нужно бежать. Но они не сделали этого, ставя выше собственной безопасности честь выступить с королем Наваррским и дать стране мир и свободу. И Генрих узнавал достойнейших по тому, что они даже не задумывались, ради чего примыкают к этому заговору — ради собственной выгоды или просто в поисках волнующих приключений.

Для тайных встреч заговорщики пользовались новой террасой над рекой. Ныне здравствующий король расширил дворцовые сады, так как ему уже надоело, что его добрый народ лезет вверх по крутому берегу и, повиснув на ограде, громогласно восхищается блестящим придворным обществом. Высоко над рекой, недоступная с берега, тянулась длинная терраса, но никто не знал, что с нее все-таки можно спуститься. На дальнем конце террасы в

полу была откидная каменная плита, скрытая за колоннами; тот, кто знал ее секрет, попадал через проход в каменной кладке к самой воде. Здесь всегда стояла наготове лодка, чтобы увезти Валуа, если бы Лига решила захватить короля с помощью своих приверженцев, которых было немало во дворце Лувр. Здесь-то и стал являться дух адмирала Колиньи.

Первым, увидевшим адмирала в одну январскую ночь и признавшим его, был некий дворянин-католик. И хотя он, из соображений практического характера, был глубоко предан делу короля Наваррского, все же, разумеется, едва ли желал встретиться с духом убитого протестанта. Господину Ферваку он высказал свое недовольство, ибо покойник вмешивается в дела, происходящие после его смерти: они вряд ли могут быть ему до конца понятны. Впрочем, дух вел безответственные речи, и дворянин даже не хотел их повторять. От такого свидетельства нельзя было просто отмахнуться. Оно казалось гораздо убедительнее, чем рассказы гугенотов — фантазера д'Обинье и меланхолика дю Барта. Генрих, как и прежде, держал своих старейших друзей на некотором расстоянии. И все-таки между ними царило безмолвное понимание, для которого не требовалось особого сговора, и они были непоколебимо преданны. Пусть их государь к ним несправедлив — они не ждали от него милостей, они владели лучшим, большим. И они понимали, что государю необходимо привлекать на свою сторону врагов, подкупать их, очаровывать и даже убеждать! Носиться с такими друзьями, как мы, значило бы только расточать свои силы: мы ведь знаем друг друга; незачем баловать нас, государь должен уметь быть неблагодарным.

Когда в один ранний зимний вечер оказалось, что они оба спрятались в его неосвещенной комнате, Генрих сурово стал их корить. В свое оправдание они заявили, что господин адмирал дал им поручение: он-де вернулся. Затем подробно описали, где и как он предстал им, и Генрих не мог не выслушать их рассказ. Хотя он уже знал о явлении адмирала от католика, он начал уверять, что они первые вестники этого события и сильно ошибаются,

надеясь его обмануть. Но они сказали: — Сир! Дорогой наш повелитель! Бессмертные души усопших соприсутствуют здесь, они среди нас, живых, и нет ничего удивительного, если они иногда являются нам.

— Не это вызывает во мне сомнение, — возразил Генрих. — Так как духам известно, что их вид страшит живых, то обычно они являются нам не с добрыми намерениями. Чем я провинился перед господином адмиралом, что он посетил меня?

Друзья безмолвствовали. Или они не знали, что ответить, или своим молчанием предоставляли ему самому найти ответ на этот вопрос. — Слишком много чести для меня, если обо мне говорят на том свете, — добавил Генрих.

— Не больше, чем на этом, — ответили они. — Всем королевствам Запада известно, что есть государь, который вот уже несколько лет ведет жизнь пленника при дворе своих врагов. Его мать извели, его полководец и друг, заменявший ему отца, убит, почти все друзья насильно отняты у него. Он же и виду не подает, как ему трудно переносить все это, забавляется пустяками и так медлит, будто совсем позабыл о тех действиях, которых все от него ждут.

— Кто ждет? Чего ждут?

Они ответили, кто. — Назовем хотя бы одно лицо: королева английская находит вашу историю захватывающей, сир. Нам это сообщил Морней, который долго там прожил и до сих пор тесно связан с британским островом. Королева расспрашивает нашего Морнея о вас, как о самой романтической фигуре наших дней. Решитесь ли вы, наконец, прикончить мадам Екатерину, до того как она вас отправит на тот свет? В стране все разрастается движение, быть вождем которого самою судьбой предназначено вам; вы же все мечтаете. Разве это может не тронуть девственное сердце сорокалетней Елизаветы? Загадочный, непроницаемый принц! Совсем не то что ветреный д’Алансон, который все еще питает какие-то надежды касательно ее руки. Впрочем, ей

теперь известно, что у него два носа.

Генрих опустил голову; он понял, на что они намекают, рассказывая все эти истории. — И что же, он хочет, чтобы я явился к нему на свидание?

Они сразу догадались, кого он имеет в виду. — Сегодня в одиннадцать, — прошептали они и постарались незаметно исчезнуть.

Генрих с неохотой остался один: ему стало страшно. Увидишь духа, и то почувствуешь грозную жуть. А идти на свидание с ним? Это уж самонадеянность и дерзость. Священнослужители обеих религий пригрозили бы за это тяжкою карой. Нет, у него не хватает хладнокровия, чтобы подойти к этому вопросу непредвзято и по-мирскому. А вот д'Эльбеф смог бы! Почему-то Генриху пришел на память именно д'Эльбеф, хотя он из другого лагеря, из дома Гизов. Генрих не посвящал его в свои планы побега, однако д'Эльбеф уже предостерег его против новых шпионов, которые могли обмануть Генриха своей светской учтивостью. Д'Эльбеф умел хранить тайну и мог дать хороший совет. Лежа на кровати, Генрих сказал своему первому камердинеру: — Д'Арманьяк, я хочу повидать господина д'Эльбефа. — Слуга-дворянин отправил с этим рискованным поручением одну из камеристок королевы Наваррской, самую скромную и незаметную, чтобы нельзя было догадаться, по чьему делу она идет. Когда друг наконец явился и, стоя возле кровати Генриха, выслушал всю эту щекотливую историю, он заявил:

— Появление адмирала естественно, особенно если взять в рассуждение те обстоятельства, при которых он погиб. Скорее удивительно, что он так долго медлил. По моему скромному разумению, сир, вам нечего опасаться. Напротив, может быть, он хочет предостеречь вас.

— Мой добрый дух, который всегда меня предостерегает, — это вы сами, д'Эльбеф.

— Я принадлежу к числу живых, и мне известно далеко не все. — В тоне д'Эльбефа прозвучал кроткий упрек: мной, дескать, пользуются, но в тайны

не посвящают. Для столь наблюдательного человека это, впрочем, не составляло особой разницы: д'Эльбеф знал о перевороте, который совершился в душе Генриха Наваррского, и догадывался о его намерениях. Но так как он принадлежит к стану врагов, то ему были виднее и опасности, ускользавшие от самого Генриха.

— Одно для меня несомненно, сир: нельзя допускать, чтобы дух ждал вас понапрасну. Но с ним, вероятно, надо держаться, как и с прочими духами, а именно: ни при каких условиях не подходить слишком близко, ибо самые благожелательные духи могут все же впасть в искушение. — В какое, он умолчал. — Спокойно идите туда, сир. По обычаю духов — насколько мы их знаем — будет держаться в отдалении и этот, для того чтобы не поддаться искушению. Сам я буду неподалеку, хотя ни вы, ни дух не заметите меня, — разве только появится необходимость вмешаться живому человеку. — Д'Эльбеф сказал эти слова, как будто ни к кому не обращаясь, и при том улыбнулся, словно они вырвались у него случайно.

Генрих все еще лежал в нерешительности; наконец он вздохнул: — Должно быть, я трус! На поле боя я этого не замечал, разве что в начале сражения, тогда мне обычно живот схватывает; но что такое десять тысяч врагов в сравнении с одним духом!

За обедом в этот день все были как-то особенно молчаливы. Царила такая тишина, что король приказал вызвать музыкантов. Король, по своему обыкновению, был угрюм, а Генрих смотрел в тарелку, на которой кушанья оставались нетронутыми. Только мадам Екатерина что-то говорила своим тягучим тусклым голосом, и если кто по рассеянности не отвечал ей, она окидывала его испытующим взглядом, продолжая спокойно жевать. Своему корольку она сказала: — Что это вы ничего не едите, зятек? А вам следовало бы покушать, покуда еще есть возможность, — и дичи, и рыбки, и пирогов. Ведь это найдешь не всегда и не везде. — Он сделал вид, будто не слышит из-за музыки; все же она дала ему понять, что ей известно его намерение

опять сделать попытку к побегу. Правда, Екатерина сейчас же покачала головой: уж сколько раз пытался ее королек вспорхнуть и улететь, пусть попробует еще раз!.. И на своего сына-короля она посмотрела неодобрительно. — Ты затеял глупость, — сказала она ему, перегнувшись через стол. И, помолчав, добавила: — Вашу мать, сир, вы больше не удостаиваете своим доверием. — Генриху казалось, что этот вечер никогда не кончится. Ведь невозможно ухаживать за женщинами или острить с мужчинами, если у тебя назначено свидание с духом.

Около одиннадцати стража, как обычно, прокричала в залах и переходах о том, что ворота запираются, и придворные, жившие вне замка, поспешно удалились. Генрих хотел незаметно смешаться с их толпой, но его позвал сам король. Его величество являло собой печальное зрелище. Не будь Генрих так взволнован, он заметил бы, что у его величества совесть нечиста.

— Милый кузен, — сказал король, — сегодня холодная бурная ночь. По такой темноте мало ли что может случиться в пути. Сиди-ка лучше у огня!

— Меня ждут, — отозвался Генрих и, точно имел в виду даму, рассмеялся. Но ему стало не по себе.

Как только он вышел из-под защиты замковых стен, бурный ветер отшвырнул его обратно. С большим трудом достиг он террасы, где царил полнейший мрак. Генрих стал ждать, но время шло, а дух, все еще ничем не давал знать о своем присутствии. Только когда ветер на миг разорвал облака, блеснул лунный луч и тотчас погас, но в его беглом свете Генрих узнал адмирала. Черные латы, седая борода и особый наклон головы — бесспорный признак не только благородства среди людей, но и знакомства с волей божьей. Да, это действительно он, сказал себе Генрих и преклонил колено. Он находился на одном конце террасы, дух на другом, где стояли колонны; летом их обвивал виноград, образуя беседку. Молодой человек начал читать молитву.

Но вот снова прорвался лунный луч, теперь его свет покоится на

потустороннем видении. Лицо призрака бледно, как призрачное сияние, черные глазницы пусты. Это не глаза живого человека. И нога не ступает на каменные плиты этого мира. Дух бессильно волочит ее, пытаясь сделать шаг. Еще труднее говорить и быть понятым среди завываний бури, когда голос исходит не из телесной гортани. Тем страшнее это явление для земных глаз. У молящегося Генриха стучат зубы. Но вот до его слуха доносится подобие стона. Едва уловимо, словами, которые рвет ветер, господин адмирал дает понять, что он требует отомстить его убийцам. Луна опять скрывается. Это хорошо: только в темноте Генрих находит в себе мужество ответить, и отвечает он неправду. Если бы дух все еще был видим, юноша не отважился бы на такой ответ даже в душе. Но он делает над собой отчаянное усилие и бросает в ночь и бурю: — Я и не помышляю о мести, господин адмирал, ибо ваши убийцы стали моими лучшими друзьями, а я теперь просто весельчак и ловкий танцор и хочу навсегда остаться в Лувре! — Генрих выкрикивает это настолько громко, что если поблизости спрятался кто-нибудь из живых, то он наверняка услышал. Но про себя, в тайне своего сердца Генрих настойчиво шепчет: «Господин адмирал, я тот же, я прежний!»

Всякий дух, конечно, умеет отличить сокровенную правду от лжи, которая говорится вслух, на всякий случай, из привычки к осторожности, ибо притворство стало уже давно первым душевным движением Генриха.

Вас я не могу обмануть, господин адмирал!

Вдруг там, вдали, на плиты падает что-то тяжелое, словно чье-то тело, и следует то, что на человеческом языке называется: грохот, топот, брань; Так не ведет себя ни один дух и уж, конечно, не, дух адмирала. Генрих решает бежать. Но тут опять раздвигаются облака, и при свете луны он видит — на этот раз живого человека — человек спешит к нему, и его ни с кем не смешаешь: это д’Эльбеф.

— Чуть было не поймал! Я притаился среди виноградных лоз между колоннами, негодяй меня не видел, а я его сразу узнал. Это был шут. Да, шут

короля, унылая фигура, плохой комедиант. Как только я в этом убедился, я спрыгнул вниз и хотел упасть ему на спину. Но, к сожалению, промахнулся. А когда я поднялся, его и след простыл.

— Человек не может вдруг стать невидимым.

— Но дух не вопит, как дурак, и не топает по ступенькам, которые ведут неведомо куда. Он удрал каким-то потайным ходом.

Лунный свет теперь заливал террасу, они могли осмотреть каждую плиту, однако ни одна не выдавала тайны. Генрих хлопнул себя по лбу: — Вон что… — проговорил он. Он вспомнил лицо короля в тот вечер — оно говорило о нечистой совести и о злых кознях.

«И ему все удалось бы, ибо я был уверен, что беседую с господином адмиралом. А как бы все обернулось, если бы я не соврал и вместо этого ответил: еще десять дней и меня здесь не будет, или даже признался бы господину адмиралу: я частенько думаю о мести, господин адмирал, жизнь ваших убийц уже не раз была в руках господних! Но я промолчал, и в этом мое счастье. Иначе, меня, наверно, нашли бы завтра на этих плитах с кинжалом в груди».

Обо всем этом Генрих своему спутнику ничего не сказал, но наблюдательный д’Эльбеф понял главное и без слов. Они вернулись в замок и решили вытащить шута из постели. Как они и ожидали, он уже успел лечь: он воспользовался тем временем, пока они осматривали плиты. Шут притворился, будто спит крепчайшим сном, но скорее хрипел, чем храпел, и одеяло его еще не успело согреться. Они тут же подняли его и привязали к стулу. Самое страшное было то, что он не открыл глаз. Д’Арманьяка послали за д’Обинье и дю Барта. В их присутствии начался допрос.

Сознается ли он в том, что пришел сюда прямо с террасы, спросил д’Эльбеф привязанного шута. Сознается ли он, что изображал духа, спросил Генрих. Шут же, чтобы спастись, сделал вид, будто у него отнялся язык, и стал вращать глазами, точно и в самом деле собрался умирать; но при этом

осклабился. Его лицо исказилось непроизвольной судорогой страха, и с него исчезло выражение неизменной скорби, которую шут обычно напускал на себя вопреки своей профессии. Полотняная рубашка вместо строгой черной одежды, смертельно бледное, длинное лицо, растрепанные вихры и эта непроизвольная усмешка — сейчас впервые за всю свою карьеру, шут был действительно смешон. Пятеро зрителей неудержимо расхохотались. Д'Эльбеф первый напомнил остальным, что сегодня была совершена гнусная попытка обмануть живого, уже не говоря об оскорблении, нанесенном духу, который сам найдет способ отомстить за себя. Когда шут это услышал, он затрясся от ужаса.

Сознается ли он в том, что сегодня ночью изображал адмирала Колиньи, повторил Генрих свой вопрос, пригрозив шуту, что повесит его, и даже приказал д'Арманьяку осветить стену и поискать на ней гвоздь. Однако шут был искусный комедиант, и допрос протекал совсем не так, как хотелось поймавшим его господам.

Вопрос: боится ли он? Ответ: конечно, боится. Вопрос: раскаивается ли он? Ответ: конечно, раскаивается. Вопрос: готов ли он искупить свою вину? Ответ: да, готов. Вопрос: значит, он признает, что дух — это был он? Ответ: он и не скрывает этого. Он уже и так достаточно дрожал и трясся от страха перед самим собой, вернее — перед настоящим духом, ибо дух каждую минуту мог свернуть ему шею, разгневанный столь непристойным подражанием. И он уверен, что еще поплатится за свою дерзость, несмотря на искреннее раскаяние. Как известно, духи отличаются беспощадной мстительностью.

Вопрос: а кроме этого, он ничего не боится? Ответ: а чего же еще ему бояться? Их гвоздя или петли? Что они могут с ним сделать? Если они его убьют, король сразу же поймет, что, значит, на самом деле существует заговор, раскрыть который он поручил ему, шуту. Д'Эльбеф шепнул Генриху на ухо: — Оставим его в покое. — Но Генрих все же успел спросить,

действовал ли шут из ненависти, ибо жизнь в замке Лувр научила пленника относиться со вниманием ко всем проявлениям ненависти. Ответ шута:

— Ненавидеть тебя, Наварра? За то, что ты вместо меня разыгрываешь здесь шута? Я же тебе говорил, что ты можешь с успехом выступать в моей роли. Не такая уж большая провинность, моя больше: ведь я передразнивал духа.

Вопрос: не помнит ли шут, что ему была однажды нанесена обида? Это случилось во время некоего праздничного шествия, под музыку, при полном освещении. Ответ: помнит. Речь шла об укусе в щеку: Генрих укусил, а шут стерпел укус. Ни тот, ни другой не назвали своим именем этот столь рискованный поступок. Вопрос: может быть, шут из-за нанесенной ему тогда обиды все же с удовольствием выполнил сегодня ночью то, что ему было поручено? Ответ был дан глухим и каким-то скрежещущим голосом: он еще никогда не совершал чего-либо с удовольствием, но всегда лишь с надлежащей печалью и в предвидении своей смерти. Его собственный конец близок и будет ужасен.

Тогда они отвязали его и ушли.

Генрих сказал своим двум старым друзьям:

— Вот каков тот дух, от которого вы передали мне приглашение, и вот какая меня ждет награда, если я буду слушаться ваших советов. — Сконфуженные, они ушли к себе.

А на третью ночь после этого происшествия из каморки плута донеслись отчаянные крики, и когда дверь открыли, то увидели, что шут лежит со свернутой шеей на полу. Смысл этого поняли все, кто имел какое-либо касательство к мнимому духу — и сам король, знавший, быть может, слишком многое насчет этой смерти, и заговорщики, включая д’Эльбефа. Только Генрих узнал много позднее, что недобрые предчувствия шута оправдались. Вечером того дня Генрих лежал в постели; у него был очередной приступ сильной, но недолгой лихорадки, причин которой не мог

пока доискаться ни один врач, ибо причины эти были духовного порядка. При нем находился д'Арманьяк, а также Агриппа д'Обинье, которого вызвал первый камердинер. Склонившись к подушке своего государя, д'Арманьяк уловил странные слова. Тогда оба они нагнулись к нему и услышали пение. Генрих пел тихо, но совершенно отчетливо: «Господи боже спасения моего! Днем вопию и ночью пред тобою».

Он продолжал бредить и петь; они не все разобрали, но это был 88-й псалом. Вот больной дошел до слов:

«Ты удалил знакомых моих от меня, сделал меня отвратительным для них, заключенным, так что не могу выйти».

Тогда они схватили его руку и держали ее, пока он не допел до конца псалом сынов Кореевых о немощи бедствующих. Пусть их возлюбленный государь не думает, что господь отталкивает его душу и отвращает от него лицо свое. В час своей немощи пусть знает, что друзья и ближние, что его родные вовсе не отдаляются от него по причине стольких бедствий.

Так Генрих и его старые друзья снова поняли друг друга и помирились. С этой минуты, собственно, и начался его побег.

Побег

В один прекрасный день Генрих исчез — сначала только для виду, чтобы посмотреть, какое это произведет впечатление. В замке все переполошились. Королева-мать спросила д'Обинье, где же его государь. А Генрих попросту сидел в своей комнате, чего д'Обинье Екатерине, однако, не сказал. Некий дворянин, на которого была возложена обязанность его стеречь, отправился на поиски. Они, конечно, оказались тщетными, но для Генриха это послужило предостережением. И всю следующую неделю он старался задерживаться на охоте и возвращаться лишь тогда, когда уже начинался переполох. За два дня

до своего настоящего исчезновения он пропадал всю ночь. Уже утром он явился в часовню в сапогах и при шпорах и заявил смеясь, что привел беглеца: ему-де только захотелось пристыдить их за излишнее недоверие. И к тому же — к нему, кого их величествам приходилось прямо гнать от себя, иначе он так бы и не выходил отсюда, так бы и умер у их ног! Этой его уловкой впоследствии особенно восхищались, но как долго он был вынужден прислуживаться, чтобы наконец себе это позволить!

А друзья считали, что напрасно он так медлит. Теперь они могли обо всем говорить свободно. Их государь разрешил, чтобы сделать им приятное, а самому поупражняться в терпении. Они пользовались этим правом и нанизывали множество убедительнейших слов, ибо как Агриппа, так и дю Барта верили в силу и действенность этих слов, которые для решительных сердец — все равно, что поступки, и, будучи, записаны, принесут посмертную славу. Они говорили своему повелителю прямо в лицо, что он грешит против собственного величия и сам повинен в наносимых ему оскорблениях. И если даже он забудет, то виновные все равно не забудут и ни за что не поверят, будто он может забыть Варфоломеевскую ночь! — Мы оба, сир, хотели уже начать без вас, но тут вы запели псалом. А если бы нас не было, сир, то услужливые руки других не решились бы отстранить от вас яд и нож, но как раз воспользовались бы ими, можете быть уверены.

— Значит, вы были готовы покинуть меня к предать? — спросил он для виду, чтобы дать им желанный повод продолжать свои добродетельные назидания. — Вы поступили бы, как Морней. Впрочем, старые друзья все одинаковы: Морней вовремя убрался в Англию, как раз перед Варфоломеевской ночью.

— Дело было не так, сир. Он еще не успел уехать, но вы так этого и не узнали, ибо слишком долго избегали ваших старых друзей и не желали нас слушать, когда мы осмеливались роптать против вас.

— Вы правы, я должен просить у вас прощения, — ответил Генрих,

тронутый, и разрешил им поведать все приключения их товарища дю Плесси-Морнея, хотя знал их лучше, чем они. «Ну и пусть, если моим друзьям хочется иметь передо мной какое-то преимущество и знать что-то, что неизвестно мне: во-первых, обо мне самом, а затем об остальных моих друзьях». Поэтому Генрих громко дивился, слыша, как смелому и сообразительному Филиппу пришлось в Варфоломеевскую ночь пробиваться сквозь шайку убийц, когда те обшаривали книжную лавку, ища вольнодумных сочинений, и уже успели прикончить книгопродавца. Затем Филипп, из гордости, уехал без паспорта, все же добрался до Англии, страны эмигрантов, и дожидался, уж не спрашивайте как, заключения мира и амнистии. Затем начались поездки к немецким князьям, чтобы уговорить их вторгнуться во Францию. Словом, жизнь гонимого дипломата, если не бездомного заговорщика. Генрих, не узнавший ничего нового, становился, однако, все задумчивее. «Сколько тревог, Морней! Какое служение! Какая доблесть! Я же попал в плен, под конец я чуть не сам сдался в плен!»

И тут они, наконец, сами того не замечая, выложили главное: господа де Сен-Мартен, д’Англюр и д’Эспаленг тоже торопят с побегом. Друзья, ссылаясь на этих любезных придворных, еще не знали, кто они в действительности: хитрейшие из шпионов! Генрих умолчал об этом и теперь, иначе они, вероятно, вызвали бы предателей на поединок, и все могло бы на время расстроиться. Зато он посоветовался со своим доверенным, господином де Ферваком: настоящий солдат, уже не юноша, прям и скромен. Фервак без всяких оговорок посоветовал ему больше не тянуть и поскорей — в седло! Ну что — шпионы! Он сам сумеет запутать их, так что они потеряют след беглеца. Уверенность этого честного человека казалась ему добрым предзнаменованием. Третьего февраля состоялся побег.

Этому предшествовало прощание и последняя комедия — и то и другое с участием представителей Лотарингского дома. Генрих ждал, чтобы д’Эльбеф прошел мимо него один. Когда Генрих приблизился к нему, молча взглянул на

него, д’Эльбеф все понял. И всегда он угадывал и передавал самое важное, без слов, без знаков. Если грозила опасность — он оказывался рядом, он прояснял туманные вопросы, прозревал людей насквозь, умел обратить к лучшему любое сомнительное приключение. Один он не требовал ни доверия к себе, ни посвящения в тайны, ни участия в сложных церемониях большого сообщества. Все это он почитал излишним. Д’Эльбеф был всегда тут, казалось, он ничего не дает и ничего не требует. Он преданно охранял властителя своих дум, но при этом никого не предал, тем более — членов своего дома. Ни один из Гизов не может скакать верхом по стране рядом с Наваррой и не может за него биться, пока тот не сделается королем. Это было совершенно ясно обоим — и д’Эльбефу и Генриху. Но когда Генрих сейчас неожиданно подошел к нему, у обоих брызнули из глаз слезы и задрожали губы, так что им в этот последний миг едва удалось пролепетать несколько отрывистых слов. И они тут же расстались.

Комедия была разыграна с участием щербатого Гиза. Этому Голиафу и герою парижан целое утро морочили голову, но с какой целью? Генрих, чуть свет, бросился на кровать, где спал герцог, и стал хвастать тем, что наконец-то сделается верховным наместником всего королевства: мадам Екатерина ему твердо обещала! И как смеялись все присутствовавшие в комнате герцога, когда Гиз начал подниматься! Шутник никак не хотел отстать от великого человека, пока тот не предложил: — Пойдем на ярмарку, там ломаются скоморохи, посмотрим, кто может поспорить с тобой! — И оба пошли, причем один из двух был в сапогах для верховой езды и при шпорах и уговаривал другого поехать вместе с ним на охоту, льстил ему, поглаживал его, не выпускал из своих объятий целых восемь минут — и это при всем честном народе. Но у герцога были сегодня дела по части Лиги, на охоту он ехать не мог, и Генрих успокоился. Наконец, он уехал один.

Охота на оленя — редкостное удовольствие, об ней нельзя не возвестить во всеуслышание. Но Санлисский лес далеко, придется там переночевать,

прежде чем мы начнем гнать зверя, и вернемся мы только завтра, поздно вечером. Пусть никто не тревожится о короле Наваррском! Господин де Фервак говорит: — Я же знаю его, он рад, как мальчишка, что придется ночевать в хижине угольщика. А я останусь здесь и займусь его птицами. — На самом деле, Фервак был оставлен нарочно: пусть наблюдает, что произойдет, когда побег станет очевидным! И пусть отправит гонцов и сообщит, по какой дороге помчались преследователи. Фервак точно выполнил обещанное и первого всадника послал тут же, как только в замке Лувр начали тревожиться. Король Франции высказал несколько мрачных предположений, мать успокаивала его. Она и ее королек не подведут друг друга! А маленькое опоздание она ему охотно простит. Каким влюбленным в эту де Сов он казался еще вчера вечером — да и не в одну Сов! Нет, слишком многое удерживает его у нас!

Однако к концу второго дня — была как раз суббота — даже мадам Екатерина не выдержала. Она приказала позвать дочь, и, в присутствии ее царственного брата, Марго пришлось дать ответ — где ее супруг. Она принялась уверять, что не знает, но ей стало не по себе. Все это начинало сильно напоминать семейный суд, который над ней вершили не раз во времена ее брата Карла. Как же она может не знать, ответили ей весьма резко; ведь ночь перед своим исчезновением супруг провел у нее! Верно, но она ничего особенного не заметила. Неужели? И не было никаких секретных разговоров; и никаких секретных поручений ей не дано? Даже тишайшим шепотом ей ни в чем не признались на супружеском ложе? И так как в тусклых глазах матери уже начиналось таинственное и зловещее поблескивание, бедняжка простерла свои прекрасные руки и воскликнула с отчаянием: Нет! — что не было ложью только в буквальном смысле этого слова. Ибо Марго не нуждалась в откровенностях своего дорогого повелителя; она и без того почувствовала: его время пришло.

Некогда она необдуманно выдала его матери — чтобы предотвратить зло,

как ей тогда казалось. Сейчас уже никому не задержать того, что созрело; почему же должна отвечать одна Марго? Сейчас мадам Екатерина не поднимет на нее руки, но наверняка это сделает, если найдется, за что карать. Здесь перед ними был свершившийся факт, возможность которого втайне уже допущена, и оставалось только его признать. Поэтому, когда вечером король готовился отойти ко сну и Фервак ему все открыл, он, хоть и был поражен, но не вышел из себя. Это была тайная исповедь. Больше полутора часов Фервак не отрывал своих губ от уха короля. А король забыл, что ему надо действовать, не отдавал никаких приказаний, а только сидел и слушал, не замечая даже, что кто-то почесывал ему пятки.

Фервак считал, что был честен в отношении Генриха. Королю Франции он ничем не обязан, ибо тот его недолюбливает и не повышает в чине. Но верность королю и дисциплина — это его долг, в этих традициях он вырос. Благодаря чистой случайности он однажды застал Генриха с д'Эльбефом и вдруг оказался перед необходимостью либо арестовать все это сообщество заговорщиков, либо самому к ним примкнуть, что, видимо, и сделал даже один из членов Лотарингского дома. Многое говорило в их пользу, прежде всего их благовоспитанная умеренность, которая ни для кого — а значит, и для Фервака — не могла стать опасной. Их дело стоило того, чтобы его укрепил своим участием человек столь прочного закала, каким себя считал Фервак; вот почему он стал с этого дня доверенным, посредником и посвященным, как никто, во все подробности плана; при этом он считал себя благодаря своей доблестной мужественности значительнее, зрелее остальных и нередко говорил себе: «Ничего у них не выйдет, а вот я с моими людьми живо бы с ними расправился, прикончил бы в лесу, утопил бы в трясине». Этот солдат, уже далеко не юнец, прямой и суровый, иначе не представлял себе конец «политиков» или «умеренных». И вдруг они и в самом деле устроили побег.

Тогда Фервак решил, что без него они не будут знать меры и только

причинят вред стране. Первым доказательством тому явилась явная неблагодарность Генриха, ведь они его, Фервака, просто-напросто бросили. Он честно боролся с собой, пока твердые традиции верности и дисциплины не взяли верх, и он решил во всем сознаться. Как только он принял это решение, то, когда король ложился, протиснулся к его постели, что было нетрудно при таком гигантском росте, как у Фервака, — попросил разрешения сообщить его величеству на ухо важные вести и тотчас начал:

— Сир, служа вашему величеству, я ввязался в одну затею, которая противоречит всему моему прошлому, исполненному верности престолу; зато я получил счастливую возможность выдать вам преступников с головой. Для себя я награды не ищу. Правда, у моего сына есть имение, обремененное долгами, и его можно было бы увеличить, прикупив земли. — Таков был Фервак. Позднее, став маршалом и губернатором, он еще служил Гизам, но, конечно, лишь до тех пор, пока они ему платили, и в конце концов он продал свою провинцию королю Генриху Четвертому. Перед смертью он написал торжественное завещание, чтобы его читали все, и покинул этот мир, уверенный, что в каждый миг своего сурового и честного жизненного странствия делал именно то, что было нужно для блага всего государства.

Но кое-кто верно угадал, о чем именно Фервак шептал на ухо королю. Это был Агриппа д’Обинье — он тоже пока оставался здесь, пусть в замке думают: «Никогда Наварра не убежит без своих гугенотов». Когда запирали ворота, он перехватил предателя, сорвал с него маску — пусть смотрит в глаза своему позору. Так по крайней мере представляется дело человеку, подобному Агриппе, когда человек, подобный Ферваку, не знает, что ответить, и тупо молчит. Наконец честный и скромный солдат все-таки что-то пробурчал, но что именно, спешивший прочь Агриппа уже не расслышал. А Фервак буркнул:

— Щелкопер!

Нет, в самом деле, даром потерянные минуты! Каждая из них дорога,

ведь как бы ни был ошарашен король, охрана, конечно, уже седлает лошадей, чтобы броситься в погоню. Агриппа спешит к Роклору, дворянину-католику, которому верит, и не без оснований. Они тут же вскакивают на коней и мчатся вдвоем при свете звезд. Под Сенлисом они находят своего государя; с восхода солнца он гонялся за оленем, а теперь ночь. — Что случилось, господа?

— Сир! Королю все известно! Фервак! Дорога в Париж ведет только к смерти и позору; а все другие — к жизни и славе!

— Незачем мне это объяснять, — ответил Генрих красноречивому поэту.

Наоборот, пусть слушает и мотает на ус, это ему очень полезно, нужно быть благодарным измене, она сделала для него возврат невозможным. А так — кто знает! За двадцать часов быстрой езды можно многое забыть. Дорога в Париж так хорошо знакома, да и цепи там привычные. А новые окажутся, быть может, еще тяжелее. Былые соратники ожидают найти в Генрихе то же слепое ожесточение, которое они поддерживали в себе все эти годы. Но он многому научился, живя в замке Лувр. Не лучше ли предоставить все судьбе, которая, может быть, отрежет ему путь назад? И вот судьба это сделала! Едем.

Маленький отряд — десять дворян, в том числе Роклор, д’Обинье и д’Арманьяк, — покинули трактир. Они выходили поодиночке при свете фонаря, и Генрих говорил каждому по секрету: — Среди вас есть два предателя. Следи, кому я положу руку на плечо. — Первым оказался господин д’Эспаленг, и Генрих сказал ему:

— Я забыл проститься с королевой Наваррской. Поезжайте обратно и передайте ей, что тот, кто со мною честен, никогда о том не пожалеет. — Так же поступил он и с другим шпионом, его он отправил к королю Франции: — На свободе я лучше буду служить ему, — было поручено передать второму. Видя, что их измена раскрыта, они вскочили на коней. Остальные дворяне возмущенно заявили: — Одумайтесь, сир! Ведь эти люди опасны, они

натравят на нас крестьян. Мы не можем быть спокойны, пока они разгуливают на свободе. Они должны умереть.

Генрих держал лошадь под уздцы, он ответил им так весело, словно они все еще были на охоте или играли в мяч. — Убийств больше не будет! — заявил он, добавив свое любимое ругательство — комически переиначенные святые слова; затем воскликнул: — Насмотрелся я в замке Лувр на мерзавцев! — вскочил в седло и поехал впереди своего отряда; а вдали силуэты шпионов уже таяли в лунной мгле, но еще продолжал доноситься неистовый топот копыт: их лошади мчались во весь опор.

Сообразуясь с тем положением, в котором они очутились, беглецы тут же решили, где им искать безопасности: не на востоке — этой границы государства им едва ли удалось бы достичь, — а на западе, в укрепленных верных городах гугенотов. Все дороги туда были свободны, отряд свободно выбрал одну из них и поскакал вдоль лесной опушки в голубом свете звезд, бросая в ночь то взрывы радостного смеха, то улюлюканье, словно их псы все еще гнали оленя. Если им попадалась вспаханная луговина, они расспрашивали перепуганных крестьян, которые от шума вскакивали с постелей, не выбегал ли из лесу олень, и никто бы не поверил, что эти веселые охотники — на самом деле беглецы и вопрос идет для них о жизни и смерти. Да и сами они готовы были забыть и об угрожавшей им опасности и о шпионах. Скорее то один, то другой дивились, что их предприятие обошлось пока без единой капли крови; а ведь она лилась обильно даже там, где на карту было поставлено гораздо меньшее. Один из них — конечно, Агриппа — усмотрел в этом даже что-то великое. — Сир! — заявил он. — Убийствам конец! Начинается новая эра! — Конечно, он и не думал льстить. Просто Агриппа всегда охотно преувеличивал свои чувства, как возвышающие, так и те, которые повергают человека во прах, словно Иова.

Они ехали всю эту ледяную ночь, держа направление на Понтуаз; а на заре, пятого января в воскресенье, пустили лошадей вброд через реку.

Впереди и отдельно от остальных ехал их государь и его шталмейстер, д'Обинье. Остальные медлили, пусть он выедет на берег первым, это лишь подчеркнет торжественность происходящего. Того же хотел и Агриппа. Перекинув через плечо поводья, оба ходили по берегу Сены, желая согреться. И тут Агриппа попросил своего повелителя прочесть вместе с ним, в знак благодарности всевышнему, псалом 21-й: «Господи! Силою твоею веселится царь». И они дружно прочли его в утреннем тумане.

Затем к ним присоединяются не только их немногочисленные спутники: оказывается, сюда нежданно скачет двадцать дворян. Правда, все они были тайком оповещены еще в Париже; когда они примкнули к беглецам, Генрих видит позади себя целый конный отряд; теперь этот отряд уже не будет ускользать от преследователей — он будет властно стучаться в ворота городов от имени своего государя. Среди этих двадцати есть один шестнадцатилетний — он соскакивает с коня и преклоняет колено перед Генрихом. А Генрих поднимает его и целует — в награду за разумную ясность и искренность этого мальчишеского лица, лица северянина, с границ Нормандии. Генрих знает: теперь юноша на верном пути. — Поцелуй меня, Рони! — говорит он, и Рони, впоследствии герцог Сюлли, вытянув губы, впервые осторожно коснулся щеки своего государя.

Так встретились эти люди, с их уже созревающей судьбой, на берегу Сены, среди лесистой местности, в неверном свете утра, льющемся из-за облаков, очертания которых все время изменяются, так же как изменяются и человеческие судьбы. Присутствующие еще во всем равны; даже у их короля есть пока только то, что есть и у них, — молодость и вновь обретенная свобода. Тени от облаков ненадолго ложатся так, что покрывают собою то передний план, то задний. А посредине — яркие снопы света, и в потоке лучей стоит Генрих, и подзывает к себе одного за другим своих соратников. С каждым он на мгновение как бы остается наедине, обнимает его, или трясет за плечи, или пожимает руку. Это его первенцы. Будь он ясновидцем, он

узнал бы по лицу каждого его будущее место в жизни, увидел бы заранее его последний взгляд и испытал бы в равной мере и умиление и ужас. Иные вскоре покинут его, многие останутся с ним до его смертного часа. Этого придется удерживать деньгами, а тот все еще будет служить ему из любви, когда уже почти всем это надоест. Но дружба и вражда, измена и верность — все участвует по-своему в общем созидательном труде тех, кому суждено быть его современниками.

Добро пожаловать, господин де Роклор, в будущем маршал Франции! А ты, дю Барта, неужели ты умрешь так рано после одного из моих блестящих сражений? Рони, если бы мы с тобою были только солдатами, в каком ничтожестве осталась бы эта страна. У Сюлли особый дар к разумению чисел, у меня особое, чуткое великодушие к людям. Благодаря этим двум качествам наше королевство станет первым среди всех остальных государств. Мой Агриппа, прощай. Я уйду из этого мира раньше тебя, ты уже стариком отправишься в изгнание за истинную веру, которую опять начнут преследовать, едва закроются мои глаза… Свет лился на них потоками, однако все оставалось незримым.

Зримы были только молодые свежие лица, и на них — одна и та же радость: быть вместе и ехать одною дорогой. Что отряд вскоре и сделал. В ближайшем местечке они наелись досыта и напились допьяна, но стали от этого только веселей и предприимчивее. Затеяли шалости, утащили с собой какого-то дворянина. Поместный дворянин, увидев приближающийся отряд перепугался за свою деревню, выбежал им навстречу и стал упрашивать, чтобы они объехали ее стороной. Он принял Роклора за их командира, ибо на том было больше всего сверкающего металла. — Успокойтесь, сударь, вашей деревне ничего не грозит. Но покажите нам дорогу на Шатонеф! — Если этот человек поедет с ними, он не сможет распространять никаких слухов на их счет. Дорогой он только и говорил, что о дворе, желая выставить себя светским человеком; знал он также всех любовников придворных дам,

особенно же королевы Наваррской, и пересчитал их супругу по пальцам. Когда же они поздно вечером приблизились к городу Шатонеф, Фронтенак крикнул офицеру, который командовал стражей на городской стене: — Откройте своему государю!

Город этот принадлежал к владениям короля Наваррского. Сельский дворянин, услышав приказ, оцепенел от страха; д'Обинье едва удалось уговорить его спастись бегством по тропинке, которая не вела никуда. — И пожалуйста, три дня не возвращайтесь домой!

Здесь они только переночевали и потом ехали, уже не останавливаясь, до самого Алансона, который лежит ближе к океану, чем к Парижу. Выдержали они этот путь благодаря крепости своих мышц. Лошади сказали, пока чувствовали силу человеческих колен, сжимавших их бока; так же вот проезжали через свое королевство и Ахилл и Карл Великий со всеми своими знаменитыми соратниками.

Принц крови

А в Алансоне целых три дня не прекращался приток дворян в отряд Генриха, и под конец их набралось до двухсот пятидесяти. Так беглецы постепенно превращаются в завоевателей, города распахивают перед ними ворота, всадники еще не появились, а уже их ожидают. Как на крыльях, разносятся слухи, и тут ничему не поможешь, даже если заткнешь рот одному поместному дворянину; все уже известно, до самого Парижа. И не все примыкающие к отряду Генриха относятся к тому дешевому сорту людей, которые сразу готовы поддержать любой успех: среди приверженцев есть и ревнители веры и энтузиасты, уже не говоря о том, что многих сюда приводит гнев. Слухи летят, и люди скапливаются в нескольких провинциях, ибо Алансон лежит между Нормандией и Меном. Слухи распространяются все

дальше; и вот уже среди новых сторонников Генриха — несколько придворных французского короля. Кто бы и почему бы к Генриху ни шел — он всех принимает.

Но тут возмутились первенцы, которые хотели оставаться первенцами, особенно же его старые друзья. — Сир! Так не может продолжаться! Среди ваших новых солдат есть участники Варфоломеевской ночи. Или вы не видите, сир, что у них прямо на лице написана измена? Не хватает только самого Иуды! — Да вот и он. Смотри-ка, Фервак!

Имение, которое достанется сыну, теперь свободно от долгов, и земли к нему прикуплено изрядно; поэтому Фервак сказал себе: «Пора выполнить клятву верности, данную Наварре. С королем Франции мы квиты, а вот Наварра мне должен много денег, и его считают восходящим светилом». Сказано — сделано, и Фервак, этот вояка-великан, грохнулся перед Генрихом на свои негнущиеся колени, так что пол затрещал.

Генрих не отказался от удовольствия подмигнуть своим. — Этот человек — золото, за него можно дать хорошую цену, — сказал король Наваррский. Но такие речи честный солдат пропустил мимо ушей и предоставил улаживать дело своему более молодому собеседнику. Тогда Генрих решился, и на седой бородке клином даже запечатлел поцелуй.

После Алансона отряд двигался медленнее. Он непрерывно разрастался и в пути и на стоянках, где отдыхали по нескольку дней. Стоянок было четыре; в пятом городе король Наваррский и его двор расположились надолго, ибо знали, что и сейчас и впредь они будут в безопасности. Сомюр находился в провинции Анжу. Еще один дневной переход — и они достигли бы Сентонжа, с крепостью Ла-Рошелью, которая все это время стояла неприступной твердыней между сушей и океаном. Генрих еще не решался идти туда, ибо опасался, что тамошние храбрые и неуступчивые протестанты резко его осудят… Сам он, после всех своих необъяснимых колебаний, наконец прибыл, но добрая половина его спутников были католики! Больше

того, он сам был католиком и, оставался им все три месяца, что провел в Сомюре, хотя пасторы и ждали, что он придет слушать их проповеди. Но он не ходил ни к ним, ни к обедне. А его примеру, следовали и дворяне, так что на пасху приняли святое причастие всего лишь двое из них. Двор в Сомюре оказался «двором без религии» — явление необычайное и даже пугающее.

«Что за беда? — думает Генрих. — Ведь они идут. Они прибывают ко мне все б?льшими толпами, город ими переполнен, они уже становятся лагерем за воротами. И им все равно — гугенот я или католик. Важно то, что я принц крови и должен восстановить в их королевстве единство и мир. А во что они верят — мне до этого дела нет; главное — они должны признавать меня. Все это не так просто, согласен. Я прихожу последним, после того как монсеньер и мой кузен Конде, каждый за свой страх и риск, будоражили народ и сеяли смуту. Тем хуже, я не могу быть слишком разборчивым, и я не отвергну ни одного человека, даже если он только что сорвался с виселицы». Так говорил себе Генрих, собирая вокруг себя приверженцев, чтобы только не оказаться в одиночестве и не стоять в стороне, когда французский двор начнет переговоры с мятежниками. «Я-то не мятежник, нет! Другие могут быть чем им угодно, я не мятежник!» — твердил он каждому, с известной точки зрения, оно так и было. Он скорее считал себя оплотом королевства, у которого другого оплота, пожалуй, и нет.

Монсеньер, брат короля, выбирал себе некоторые провинции в личное владение. А Конде намеревался даже подарить свои какому-то немецкому князю-единоверцу. Генрих заявил кузену через посланца: он-де принц крови и поэтому озабочен единственно лишь величием французской короны, ничего для себя он не желает, поэтому не может одобрить и требований монсеньера. Нет, он предпочел бы, — чем отдавать три епископства Иоганну Казимиру Баварскому и дробить королевство, — он предпочел бы… Что ж все-таки? Господину Сегюру было приказано прямо заявить, что именно; иначе у него бы, пожалуй, язык прилип к гортани. Тут Конде овладел его обычный

приступ ярости — такой же, как в Варфоломеевскую ночь, когда он поклялся, что скорее умрет, чем переменит веру, а сделался католиком на семнадцать дней раньше, чем Генрих. — Мой государь, — заявил посланец, — скорее готов отказаться от преследования и наказания виновников Варфоломеевской ночи, чем допустить раздел королевства. — Конде взревел — так неожиданны были эти слова.

Наверное, и в Ла-Рошели протестанты вскипят и обозлятся, и для Генриха лучше быть от них подальше, хотя бы на расстоянии одного дня пути. Первый ответ на столь смелое заявление был, конечно, следующий: «Забывчивый»! «Неблагодарный»! Ради кого же они тогда пали, эти жертвы Варфоломеевской ночи? Вы, сир, отправились на свою свадьбу, а наших повели на убой! И теперь наши убиенные останутся неотомщенными, чтобы вашему величеству легче было торговаться из-за земель с убийцами?! Обратитесь к истинной вере, а то как бы и мы не позабыли, кем была ваша мать! Вот что говорит голос храбрых и непреклонных протестантов — говорит достаточно громко и доходит до Генриха с его наскоро сколоченным «двором без религии». Он должен был сделаться вождем протестантов; но им стал теперь вместо него другой, кузен Конде, который раньше оказался на месте. Конде усерден и суетлив, он ничего не видит, кроме борьбы партий. И вы доверились этому тупице, добрые люди, ревнители истинной веры! Ведь Конде все еще живет во времена господина адмирала. Не понимает, что разделить королевство из-за религий — все равно, что растерзать его ради собственной выгоды, как хотелось бы Перевертышу. Кузен Конде и Двуносый сходны в одном: ничего у них не выйдет, и суются они не в свое дело. Лучше бы оставались там, где были. Но больше всего спешит тот, кому ничего судьбой не предназначено.

Так Генрих, наедине с собой, называл вещи своими именами, но при этом неутомимо продолжал привлекать и собирать все новых сторонников, пугая их численностью французский двор, до тех пор, пока оттуда не начались

переговоры. И если с кузеном, с его прежним другом, столковаться было невозможно, то с крепостью Ла-Рошелью Генрих все же поддерживал связь. Пусть там узнают, кто он: их друг, как и прежде, но, кроме того, принц крови. Они настаивали на том, что он должен ходить слушать проповеди, иначе нечего и рассчитывать на ревнителей истинной веры. Конде и так пожаловался им на Генриха, назвав его заблудшей овцой. Выброшенный из протестантской среды, Генрих уже не представлял бы для кузена никакой опасности; а тот еще ехидствует, и все потому, что глуп.

Но и с Парижем дело обстояло не лучше; французский двор помирился с монсеньером, в результате чего монсеньера прямо раздуло от сыпавшихся на него провинций, поборов, пенсий. Королю же Наваррскому ничего не пожаловали, его только назначили губернатором Гиенни, чтобы он правил ею от имени его величества, то есть лишь подтвердили его прежний титул. Пусть будет этим доволен, иначе бы совсем без ничего остался: ни партии, ни земли, а главное — ни гроша денег. Так он шел на раздел королевства, — но только временно, — уверял себя Генрих. И все равно — без пользы, если приходится улетать, словно корольку, на юг и оставаться в стороне от важных государственных дел. Притом — невесть на сколько времени. Кому бы сейчас пришло в голову, что на целых десять лет! Для юноши двадцати трех, это ведь целая вечность.

«Итак, вооружимся терпением, ему мы успели научиться в замке Лувр. Отсрочки, уступки, отречение — все это во вне, а в душе живет упорная мысль: эту школу мы уже прошли, тут нас никто не может превзойти. Господа из Ла-Рошели, вашей партии непременно нужен вождь, и вы утверждаете, что он должен посещать проповеди? Иду, иду! Кто решился на раздел своего королевства, сможет с таким же успехом и религии отделить одну от другой: я делаю все это только по необходимости, — под вашим упорным давлением. Посмотрите на моих дворян-католиков, они гораздо умереннее. Правда, они уже не могут уехать отсюда, у них слишком испорчены отношения с

французским двором. Их я оставлю у себя, даже если перестану ходить к обедне. Но слушать проповеди я пойду, чтобы завербовать вас, ибо вы более настойчивы. Впоследствии это вам боком выйдет, твердолобых я не терплю, хотя именно среди них и найдешь самых добродетельных, а кого же мне любить, как не их. Все же бывает и так, что иной с лица — сама добродетель, а на деле — просто зол и глуп, поэтому-то между мною и моим кузеном Конде теперь начнется великая вражда. Пусть расставляет на шахматной доске свои фигуры, а я одним ходом сделаю ему мат, я иду слушать проповеди!

Если б вы знали, добрые люди, — говорил себе Генрих, долго и тщательно обдумывая свой возврат к протестантству, — что в сущности вопрос сводится к некоему обстоятельству, а потом к доброй воле и удаче!»

Об этом обстоятельстве, — что он принц крови, — Генрих никогда не упоминал, ибо даже гордость может прятаться за хитростью.

Он вызвал в Ниор свою сестру Екатерину. Этот город стоит на границе двух провинций — Пуату и Сентонжа — и уже совсем близко от святой Мекки гугенотов; но в нее он войдет лишь после того, как будет принят обратно в лоно протестантской церкви, чтобы не стыдиться своего возвращения. 13 июня в Ниоре Генрих торжественно отрекся от католичества. Как живое свидетельство его обращения, рядом с ним стояла принцесса Бурбон, его сестра, верная протестантка, не изменившая своей вере в самые трудные времена. А 28 того же месяца он вступил в Ла-Рошель. Теперь ему уже не надо было опускать голову, и колокола звонили, встречая его, как они звонили когда-то при въезде его дорогой матушки, королевы Жанны, чьей твердыней и прибежищем всегда была эта крепость. Он сам осаждал город с католическим войском, иные это еще помнили, но они молчали, и когда он проезжал миме них, молча подталкивали друг друга, сжимая кулаки.

Генрих все замечал. Но он приказал себе: терпение.

И никто пока не думает о десяти годах. Ведь это целая вечность.

В его свите были и дворяне-католики. Он нарочно показывал их в протестантской крепости: у меня-де, в моей стране, есть не только вы. Эти люди не привержены ни к какой религии. Они преданы лишь мне и королевству, что когда-нибудь будет одно.

Он никому об этом не говорил, вернее, имел по данному поводу только одну-единственную беседу с неким дворянином из Перигора, тем самым, который однажды сопровождал его на побережье океана и даже был его собутыльником, когда они пили вино там, в разрушенном ядрами доме. Так как господин Мишель де Монтень вошел с толпой других придворных, Генрих в присутствии посторонних сделал вид, что никакой особой близости между ними нет: не заговаривал с ним и, глядя мимо, лишь улыбался какой-то странной улыбкой; но и господин Мишель улыбнулся многозначительно. Генрих как можно скорее отпустил всех; по его знаку задержался только один.

Оставшись в прохладной зале вдвоем с Монтенем, Генрих взял его за руку, подвел к столу и сам поставил на стол кувшин и два стакана. Бедный дворянин храбро с ним чокнулся, хотя ничего хорошего от вина не ждал. За то время, что они не виделись, у него появились камни в почках. Когда-то предчувствие старости удручало его, словно она уже наступила. Теперь он узнал, каково быть старым в действительности. Он начал ездить на воды и будет ездить до самой смерти. Поэтому самым интересным предметом разговора для него были всевозможные целебные источники разных стран, а также способы лечения у разных народов: например, итальянцы охотнее пьют целебную воду, а немцы окунаются в нее. Он сделал два очень важных открытия, — в древности они были известны, потом позабыты… Во-первых, что человек, который не купается, обрастает коркой грязи, он живет с закупоренными порами. Во-вторых, что определенная категория людей пользуется пренебрежением человека к своей природе ради собственной выгоды. Этот философ с камнями в почках мог бы часами рассуждать о врачах, и не просто так, а со ссылками на императора Адриана, философа

Диогена и многих других. Но он отказался от такого рода беседы, ему даже удалось в течение всего разговора совсем выкинуть из головы свои самые неотложные заботы.

Генрих осведомился, с какой целью Монтень прибыл сюда, и дворянину даже в голову не пришло заговорить о поездке на воды. Ему, сказал он в ответ, хотелось поглядеть такую новинку, как «двор без религии». Генрих заметил, что скорее речь может идти о дворе с двумя религиями, на что господин Мишель де Монтень ему возразил со спокойной улыбкой: а это — одно и то же. Из двух религий истинной может быть только одна, и только ее мы должны исповедовать. Если рядом с ней допускают ложную, значит, он не делает между ними различия и мог бы, собственно, обойтись без обеих.

— Что я знаю? — вставил Генрих. Эти слова запомнились ему еще со времени их первого разговора и сейчас вновь показались уместными. Его собеседник не возражал; он покачал головой и лишь заметил, что такие слова нужно говорить перед богом. В знании господнем мы не участвуем. Но тем более предназначены к тому, чтобы разбираться в знании земном, и мы постигаем его по большей части с помощью воздержания и сомнения. — Я люблю умеренные, средние натуры. Отсутствие меры даже в добре было бы мне почти отвратительно, язык оно мне, во всяком случае, сковывает, и у меня нет для него названия. — Он намеревался еще сослаться на Платона, но Генрих горячо заверил его, что и так с ним согласен. Он предложил осушить кубки за их добрососедские отношения дома, на юге. И дворянин охотно выпил, не думая о своих камнях. Благодаря вину он стал словоохотливее, разрумянился и предался самой непосредственной откровенности. Он назвал сидевшему против него Генриху все, что руководило молодым человеком, перечислил его врагов, неудачи, описал его отчаянную борьбу между двумя вероисповеданиями, страх ничего не свершить, остаться в одиночестве и даже оторваться от своей родины. Лишь избраннику посылаются подобные испытания, и только ради всего этого и приехал сюда, как выяснилось,

Монтень. Ему хотелось посмотреть, окажется ли в силах ум, склонный к сомнению, противостоять крайностям неразумия, которые ему угрожают отовсюду. Ведь человеческая природа, как это подтверждают история и древние авторы, непрестанно растрачивает себя на такие крайности. Люди — слепцы, которые только безумствуют и ничего не познают; таков, как правило, весь род людской. Тот смертный, которому в виде исключения господь бог даровал душевное здоровье, вынужден хитростью скрывать его от этих буйных помешанных, иначе он далеко не уйдет. Большая часть истории человечества представляет собой лишь ряд подобных вспышек душевных заболеваний. Так будет и впредь. И это еще хорошо; душевные болезни, которые по крайней мере изживаются во вне, наименее опасны: omnia vitia in aperto leviora sunt[1].

Тут Монтень провозгласил тост. Философ побывал в Париже и видел знаменитую Лигу. За эту мощную вспышку тяжелой душевной болезни он и предложил Генриху выпить кубок. Затем заговорил так сурово и стойко, точно сам был одним из борцов против Лиги и врагом испанского золота, сам терпеливо вербовал сторонников, сам должен был наследовать это королевство; он сказал:

— Лигу еще ждет ее расцвет и упадок, только после этого наступит ваш час, сир. Не будем спрашивать, долго ли вы продержитесь и не начнется ли после вас обычное безумие. Пусть это нас не заботит. Я, без сомнения, еще увижу моего государя венчанным на царство. — Но тут ему напомнили о себе привычные телесные недуги. Кроме того, он заметил по своему слушателю, что сказал достаточно, и встал.

Однако Генрих был глубоко потрясен тем, какие отзвуки родило в нем это пророчество: слова дворянина ударялись об его сознание, точно язык колокола о звенящую медь. И он воскликнул: — Вы сами сказали это, друг! Я принц крови! — Большими шагами забегал он по зале, восклицая: — Да, я — принц крови, поэтому я всех опережу! Отсюда и мое право и мое призвание!

Монтень наблюдал за ним. Ведь он осмелился высказать скорее общие соображения о здоровой и больной душе отдельного человека и целой эпохи. Все же он кивнул и заявил: — Я это и имел в виду. — Ибо ему вдруг показалось, а теперь становилось все яснее, что говорили они об одном и том же: различные ноты рождают гармонию.

Он поклонился, желая уйти, и добавил в заключение:

— Имя обязывает, и оно объясняет то, чего иначе никак объяснить нельзя. Один флорентийский художник, чьи великие творения я прославлял, вздумал мне объяснять, как и почему он создал их, и сказал: он ничего-де не смог бы сделать, не будь он потомком графов Каносских. Его имя — Микеланджело.

Генрих подбежал к уходившему философу, еще раз обнял его и шепнул на ухо:

— У меня нет творений. Но я могу создать их.

Поучение

Наибольшая опасность для мыслителя — это слишком много знать, а для узника — слишком долго медлить. Пред вами царственный пленник — у него есть и досуг и женщины, его удерживают и удовольствия и горькие развлечения ума. Но все же он видит, как алчные фанатики высасывают жизненные соки королевства, которое ему некогда придется воссоздать. Хорошо еще, что у него есть друзья, чтобы его корить, есть сестра, чтобы вовремя отхлестать по щекам, и даже является призрак, чтобы напомнить о долге. В сущности, всего этого, пожалуй, слишком много: когда настанет его день и час, он сам взлетит на высоту, ибо его нравственное здоровье дает ему преимущество перед всеми, не знающими меры современниками. *Неумеренность, даже в добре, если и не оскорбляет его, то, так же как у*

некоего дворянина, его друга, родит недоумение, и он не знает, как это назвать. Сам же, напротив, он владеет нужным словом, чтобы определить свои права и полномочия. Подчеркивая свои права как *принц крови,* он на самом деле лишь утверждает превосходство своей личности.

VII. Тяготы жизни

«Моя маленькая победа»

Город Нерак лежит в сельской местности, над ним летают птицы, к его воротам, топоча копытцами, тянутся стада овец, а вокруг лежат ровные и необычайно плодородные поля; все это так уже тысячу лет. Люди обделывают дерево и кожу, режут камень и скотину, стоят на берегу зеленого Баиза и удят рыбу. Но как только на дороге появляются, вздымая пыль, вооруженные всадники, жители спешат попрятать свое добро и выходят к ним с пустыми руками, в надежде, что их пощадят. Ведь положиться нельзя ни на стены, ни на рвы, ни на господ — будь они католиками или гугенотами, смотря по тому, кто сейчас взял верх. А следующий отряд, который уже приближается, либо перебьет их, либо выгонит. Спасение горожан в одном: надо подчиняться каждому, кто этого потребует; они так и делают. Поэтому в Нераке одни ходят к обедне, другие слушают проповедь и, в зависимости от того, какой религии придерживается последний завоеватель, утверждают, что верят в то или в другое.

Молодой король Наваррский, благополучно вырвавшись на свободу, предпочел объехать стороной свою столицу По: там его матери, королеве Жанне, своим высоким рвением удалось разжечь в протестантах

нетерпимость. Поэтому он избрал своей резиденцией и местопребыванием двора провинциальный Нерак. Город этот находился в графстве Альбре, принадлежавшем искони его предкам со стороны матери, и лежал примерно посередине страны, которой ему предстояло теперь управлять. В нее входили его собственное королевство и провинция Гиеннь с главным городом Бордо. А королевство по-прежнему составляли области Альбре, Арманьяк, Бигорра и Наварра. Пока он сидел в Лувре, его дворяне и гугеноты успели отбиться как от старика Монлюка, вторгшегося к ним по приказу короля Франции, так и от испанских отрядов, спускавшихся с гор. Страна, которой правил новый губернатор, — он именовался также королем, — тянулась вдоль Пиренеев и океанского побережья, до устья Жиронды. Словом, весь юго-запад.

Воздух свободы пьянит, как вино, которое пьешь на ветру и на солнце. И хлеб свободы сладок, даже если он черствый. Какая радость — свободно разъезжать по стране после долгого заточения! Лишь изредка возвращаться домой и всюду быть дома! Ни сторожей, ни соглядатаев, везде только друзья! Как легко здесь дышится, насколько любая скотница кажется прекраснее принцессы! Но вы, уважаемые земляки, выглядите неважно. Вам, верно, круто пришлось, пока нас не было? В этом повинны и Монлюк, и испанцы, и ваши две веры. Кто в силах все это вынести — ревностное служение религии и постоянную опасность, угрожающую жизни! Мы тоже, почти все, можем на этот счет кое-что порассказать. Вы побросали ваши истоптанные пашни и сожженные дома, их в этой провинции наберется до четырех тысяч. Сами вы в конце концов превратились в разбойников, и я вас понимаю. Но всему этому я положу конец, и здесь настанет мир.

Он верил в то, что все могут обновиться, так как сам начинает здесь все сызнова. Быть добрым и терпимым — разве это уж так трудно? Но маленькие городки пережили немало горя. Они уперлись и заперлись. Они поднимают мост, когда мы приближаемся.

— Ну-ка, Тюрен, у тебя голос звонкий! Крикни им туда, наверх, что

губернатор, мол, прощает им все их провинности. И за все, что мы будем брать, мы заплатим. Не желают? Скажи, пусть не валяют дурака. Ведь если мы ворвемся к ним силой, грабежа не миновать. Мой Рони уже облизывается, без грабежа не обойдешься, уж так всегда бывает.

И вот, согласно добрым старым обычаям, его солдаты действительно слегка грабили, порою насиловали, а кой-кого и вздергивали. Пусть эти упрямые городишки знают, кто здесь хозяин. После взятия города оставался комендант с небольшим отрядом солдат, и власть короля распространялась еще на несколько миль. Принц крови поддерживал ее, неустанно объезжая свои владения. Порою он мимоходом бросал друзьям — давнему другу д'Обинье и даже юному Рони: — Тебя я беру в свой тайный совет. — Когда в один прекрасный день появился и Морней, Генрих пожелал, чтобы тайный совет короля действительно собрался в Неракском замке: дю Плесси-Морней был прирожденным государственным деятелем и дипломатом. Но в первое время совет собирался редко.

Возвращается государь после одной из своих поездок и получает весть о том, что на большой дороге ограбили каких-то купцов. Он скачет туда… во весь опор. Когда людям возвращают их добро, они охотно платят налоги — не то, что крестьянин, этот ни за что не выроет закопанную в землю кубышку с деньгами, хотя бы разбойники спалили его двор. Но купец по гроб жизни чувствует себя в долгу у губернатора, который сберег ему жизнь, а его дочерям — честь. И дочки, коли это по доброй воле, охотно принимают иного из этих молодых господ — чаще всего самого губернатора. А отец может знать, а может и не знать. Так начал Генрих свою деятельность на маленьком куске земли — со временем он должен стать больше — и старался, чтобы прежде всего здесь был водворен порядок, началась деятельность и местность была опять в скором времени густо населена.

Очень ясным казалось небо, серебристым — его свет и кроткими — вечера, когда губернатор и его советники, вернее, воины, покончив с

дневными трудами, ехали навстречу розоватому сиянию и всяким неожиданностям. Но в этом и состоит счастье: не знать, где ты будешь ужинать и с какой женщиной сегодня будешь спать. В Лувре за тобой неотступно следят подстерегающие взгляды и челядь в прихожих шушукается о тебе. Тем охотнее посещал теперь Генрих бедняков, они частенько даже не знали, кто он: в потертой куртке из рубчатого бархата король имел не слишком знатный вид, к тому же он отпустил бороду и носил фетровую шляпу. Денег у него с собой не бывало, да никто и не спрашивал платы за суп из капусты с гусятиной — он назывался гарбюр — и за красное вино из бочонка; но потом деньги все же приходили из его счетной палаты в По. Бедняки были ему по природе ближе богатых, он не спрашивал себя, почему, да и не смог бы ответить. Не потому ли, что от них шел здоровый запах, не такой, как от короля Франции и его любимцев? Когда он сидел среди бедняков, его одежда была, так же как и у них, пропитана потом. Или потому, что они умели крепко браниться и награждать каждого метким прозвищем? Ведь и у него вечно вертелись на языке всякие прозвища вместо настоящих имен — даже для его самых почтенных слуг! Кроме того, бедняку немного нужно, чтобы прийти в хорошее расположение духа — и Генриху тоже.

Он понимал, что иным ему и быть нельзя. В стране, где осталось четыре тысячи пожарищ и население одичало, нельзя разгуливать с видом неприступного повелителя. Один такой уж завелся здесь, и не то чтобы он был особенно суров, жесток или жаден. Нет, но слишком надменно, недопустимо надменно, говорят, держался этот повелитель с простым людом, потому простолюдин и убил его. И Генрих понял это как предостережение: не случайно все видели его в обтрепанных штанах. Главное-то ведь, чтобы под ними чувствовались крепкие мышцы! Вдобавок он сам пустил о себе слух, что к двум вещам совершенно, дескать, не способен: это быть серьезным и читать. В глазах простого человека серьезность — уже почти высокомерие; а

кто читает, тому у нас не место, пусть идет своей дорогой; так важные господа обычно и делали. А этот нет. Он жил в деревне, и у него был не только замок, но и мельница, и он молол на ней муку, как всякий мельник. Так его и называли: «Мельник из Барбасты»; а часто ли он бывает на этой своей мельнице и что там делает, люди особенно не допытывались. Простой народ не вдается в такие тонкости; ученым он не доверяет, для него частенько достаточно одного словечка, и он уже и не ищет никаких подоплек.

Король, настоящий король — существо таинственное, а если он не король, так тут не помогут самые роскошные одежды; настоящий король — все равно король, даже когда он не признан и в ничтожестве. Вдруг узнаешь его, и сердце у тебя замрет. Однажды на охоте Генрих растерял свою свиту; видит: под деревом сидит крестьянин. — Что ты тут делаешь? — Что делаю? Короля хочу поглядеть. — Тогда садись позади меня! Мы поедем к нему, и ты посмотришь как следует. — Крестьянин сел позади Генриха на лошадь и, когда они поехали, — стал спрашивать, как же ему узнать короля.

— А ты просто смотри, кто останется в шляпе, когда все остальные снимут. — Затем они догоняют охотников, и все господа обнажают головы. — Ну, — спрашивает он крестьянина, — который же король? — А тот отвечает со всем своим крестьянским лукавством: — Сударь! Либо вы, либо я, ведь только мы двое не сняли шляпы.

В словах крестьянина чувствовались страх и восхищение. И если король надул крестьянина, то и крестьянин, с должной осторожностью, пошутил с королем. Отсюда королю надлежит извлечь урок: оставшись наедине со своим государем, простой человек ненароком не снимет шляпы, сядет позади него на коне, но не позволит себе при этом забыть ни о благоговении, ни о подобающем страхе. Каждый такой эпизод начинается с шутки, а кончается нравоучением. Однажды Генрих, будучи в веселом расположении духа, поехал в город Байону: городские власти пригласили его на обед. Когда он прибыл, оказалось, что столы накрыты на улице, и ему пришлось есть среди

всего народа, беседовать с ним, отвечать на вопросы; но как близко ни придвигались к нему люди — настолько, что они слышали запах его супа и даже его кожаного колета, — он обязан был, смеясь и беседуя с ними на местном наречии, все же оставаться королем и тайной. Это удавалось ему без труда, ибо сердцем он был прост, только разум у него был не простецкий. И когда он с успехом выдерживал такой искус, то всегда чувствовал себя особенно легко, точно после выигранного сражения. А пока длится испытание, он забывает об опасности: он ищет развлечений и отдается им всей душой.

Когда Генрих сам посещал бедняков, он мог жаловаться им на свои беды и делал это то с гневом, то с юмором, совершенно так же, как они. Они проклинали его чиновников, запрещавших им охотиться на казенных землях; тогда он брал их с собой на охоту. Им он открывал, почему имеет зуб на своего наместника, господина де Вийяра; французский двор навязал ему этого Вийяра вместо старика Монлюка: Вийяр шпионил за ним, как будто они все еще находились в замке Лувр. Город Бордо отказался впустить к себе губернатора-гугенота, и так как тут Генрих был бессилен, то сделал вид, будто ему все равно. Только за столом у бедняков, когда лица уже, бывало, раскраснеются, его бешенство прорывалось наружу, и он становился таким же бунтовщиком, какими здесь были все ревнители истинной веры. Протестантство служило им оружием, оно стало и его оружием. Он разделял верования бедняков.

По стране бродили банды гугенотов и грабили не хуже других. Прежде всего — церкви. Потом на время удалялись, а через три дня, если выкуп задерживался, очередь доходила и до господского дома близ деревни. Перепуганный дворянин мчался в Нерак, но губернатора не всегда можно было найти в замке. «Он-де гуляет в своих садах на берегу Баиза», — говорилось просителю. А те сады — длиной в четыре тысячи шагов, и шаги у короля крупные. Взгляните-ка, сударь, не там ли он! Речонки и высокие

деревья одинакового матово-зеленого цвета, вершины смыкаются над прямой, как стрела, тенистой аллеей, которая называется Гаренной. Из парка, открытого для всех, вы переходите по мосту к цветам и оранжереям. Не спешите так, сударь, или уж очень приспичило? Вы можете разминуться. Поищите-ка его лучше, сударь, у каменных фонтанов и во всех беседках. Может быть, король Наваррский сидит где-нибудь на скамейке и читает Плутарха. А по ту сторону моста — павильон короля, он охраняется. Вы его узнаете по красной гонтовой крыше. Он весь красный и ослепительно белый и отражается в воде. Но только в него не пытайтесь проникнуть, сударь, ни в коем случае! Если губернатор окажется там, никому не разрешено спрашивать, чем он занимается и с кем.

Перепуганный дворянин так и уезжал из замка в Нераке, ничего не добившись. А в душе у него росло озлобление против губернатора-гугенота. Но когда, верные своему обещанию, разбойники на третий день возвращались, — кто нападал на них, до последней минуты не открывая своего присутствия? Предводителя банды Генрих приказывал повесить, точно он и не был сторонником истинной веры. Его людей сейчас же брал в свое войско. И ужинал потом в господском доме; дворянин же с домочадцами пребывал в великой радости и немедля извещал родных и друзей о своем благополучном избавлении от беды благодаря помощи губернатора-гугенота. Вот уж поистине первый принц крови! Может быть, все-таки придется иметь его в виду, когда уже не останется ни одного наследника престола? Правда, до этого еще далеко. А пока пусть потрудится защищать наши деревни от собственных единоверцев. Он прежде всего солдат, мастер по части дисциплины в войсках, враг всяких разбойничьих банд и вооруженных бродяг. Кто не записался ни в один отряд, несет наказание, а кто, дав присягу, все-таки сбежит — обычно забрав жалованье, — тот подлежит смертной казни. Наконец в его землях появились опять рыночные надзиратели.

«Дело идет на лад», — думает Генрих и старается, чтобы такие письма и

разговоры становились известны как можно шире. Заслужить доверие незнакомых людей особенно важно: оно способно влиять даже на факты. Многое было бы достигнуто, если бы, например, удалось внушить людям, что в землях Генриха господствует некая единая религия. В его армии были перемешаны сторонники обеих вер, и он позаботился о тем, чтобы это новшество было замечено и должным образом оценено. При его дворе, в Нераке, католиков было не меньше, чем протестантов; большая часть дворян служила у него бесплатно, ради него самого и их общего дела, и всех он приучал к доблестному миролюбию, хотя соблюдалось оно не всегда. А сердцу короля его Роклор и Лаварден были так же дороги, как и его Монгомери и Лузиньян; он, казалось, совсем забыл о том, что последние два одной с ним веры, а первые два — нет.

На самом деле он это отлично помнил и все же находил в себе смелость заявлять вопреки общему мнению и самой действительности: «Кто исполняет свой долг, тот моей веры, я же исповедую религию тех, кто отважен и добр». Он это говорил вслух и писал в письмах, хотя такие слова могли обойтись ему слишком дорого. У него позади были Лувр, долгий плен, ложь, страх смерти; он вспоминал былую резню — ведь и то делалось во имя веры. Как раз он мог бы возненавидеть все человеческое. Но он тянулся лишь к тому, что могло объединить людей, а для этого надо быть храбрым и добрым. Конечно, Генрих знал, что не так все это просто. Храбры-то мы храбры. Даже в Лувре большинство из нас были храбрыми. Ну, а как насчет доброты? Пока еще почти все остерегаются обнаружить хотя бы намек на доброту: для этого люди должны быть не только храбрыми, но и мужественными. Однако он привлекал их к себе, сам не понимая чем: дело в том, что он приправлял свою доброту известной долей хитрости. Кротость и терпимость в глазах людей уже не презренны, если люди чувствуют, что их перехитрили.

Установить прочный мир в королевстве опять не удалось. Неудавшийся мир был связан с именем монсеньера, брата французского короля. Теперь он

уже назывался герцотом не Алансонским, но Анжуйским и получал ренту в сто тысяч экю. Даже немецким войскам монсеньера король уплатил жалованье, хотя они сражались против него. Монсеньер мог бы вполне успокоиться насчет собственной особы, но не успел, ибо прожил он слишком недолго. Он отправился во Фландрию, чтобы стать королем Нидерландов и, шагая с престола на престол, протянуть руку к руке Елизаветы Английской, которой к тому времени уже стукнуло сорок пять; над длинноногой королевой и ее «маленьким итальянцем» — так она называла Двуносого, — над этой презабавной парочкой очень смеялись по вечерам в Нераке, когда губернатор за стаканом вина обсуждал со своим «тайным советом» свежие новости. В остальном же мир, затеянный монсеньером, не удался. Когда король зажег фейерверк, парижане даже не пошли смотреть. Лига наглеца Гиза не переставала сеять смуту, и в редком доме люди, сев за трапезу, не выспрашивали друг друга, кто какой веры. Поэтому король Франции созвал в своем замке в Блуа Генеральные штаты. Представители протестантов туда уже не поехали: они знали слишком хорошо, как там умеют обманывать. Но король Наваррский заставил своего дипломата, господина дю Плесси-Морнея, написать послание в защиту мира и, кроме того, написал сам.

А у остальных — у протестантов и у католиков — была одна забота: как бы побольше напакостить друг другу. Католики, на стороне которых был перевес, требовали применения силы, протестанты — осуществления обещанной им безопасности. Но слабейшему следует не настаивать на своих правах, а призывать к терпимости и кротости: под защитой этих двух добродетелей он легко сможет укрепить и свою власть. А добродетель, соединенная с властью, способна завербовать себе больше сторонников, чем та и другая порознь. Генрих и его посол стремились к одной цели и шли к ней одним путем. И вот Морней подсовывает свое послание в Генеральные штаты некоему благонамеренному католику, будто тот его сам сочинил, хотя было

оно созданием праведного хитроумного Морнея. Генрих же писал: что касается лично его, то он молит господа открыть ему, какая религия истинная. Тогда он будет ей служить, а ложную изгонит из своего королевства и, может быть, из всех стран света. К счастью, господь бог ничего не сообщил ему на этот счет, и ему не грозила опасность расстаться со своими укрепленными городами.

Впрочем, он постарался сделать все возможное, чтобы снова не вспыхнула междоусобная война; так, он поспешил навстречу посланцам, которых к нему отправил король Франции. Им было поручено снова обратить его в католическую веру, и это — в стенах его верного города Ажена. Одним из посланцев оказался тот самый Вийяр, который не впустил его в Бордо, другим — архиепископ из его собственного дома, третий имел наибольший вес, ибо это был государственный казначей Франции. Генрих принял их всех вместе и каждого. Никогда нельзя знать заранее, что может высказать тот или другой без свидетелей, особенно когда вопрос идет о деньгах. На совместном заседании архиепископ стал сетовать по поводу страданий народа, и Генрих даже заплакал, но при этом подумал, что страдания народа — его страдания, но не страдания архиепископа. Потому-то французское королевство именно ему и предназначено. А об этом он, конечно, мог узнать только от господа бога. Вот он и приказал своим отрядам именно в этот день штурмовать один из непокорившихся городов. Вийяр увел оттуда солдат, которые понадобились ему, чтобы предстать перед губернатором в сопровождении подобающей охраны. «Это моя маленькая победа!» — втайне ликовал Генрих, не переставая плакать. Но кто отличит слезы радости от слез печали? «Это моя маленькая победа!»

Однако маркиз де Вийяр тут же отомстил, долго ждать не пришлось. Генрих играет в «длинный мяч» во дворе своего замка, который огорожен четырехугольником высоких зданий. Окна украшены резьбою, стройные колонны тянутся вдоль фасадов, широкая и величественная лестница ведет к

реке и в сады; все это создано его предками еще два века назад, и великолепие замка охраняют толстые башни, стоящие на всех четырех углах. Но ведь и стража на башнях может забыться с девушками, а тем временем враг крадется — от куста к кусту, из тени одного здания в тень другого. Посреди двора Генрих бросает кожаный мяч. Если бы он сидел сейчас за обедом, то в стене столовой, в тесной потайной нише, примостился бы наблюдатель и следил бы, нет ли в окрестностях замка чего-нибудь подозрительного: никогда не следует забывать об осторожности. А вот сейчас — увы! — поздно; слышны жалобные крики, враг проник через вход четвертого фасада, он уже схватил кого-то за горло. Игроки в мяч безоружны. В то время как друзья Генриха спасаются через парадное крыльцо, Генрих исчезает в доме, и сколько враг потом ни ищет, его и след простыл.

Шато де Ла-Гранж

Подземелье уходило все дальше, тянулось под городом, потом под пашнями. Этот подземный ход, в который Генрих спустился ощупью, сохранился с давних времен, и из всех живых был известен только ему. Он отыскал огниво и фонарь; при его слабом свете все же удавалось обходить ямы и завалы. На этот раз путь показался ему короче обычного, ибо он думал о том, как разочарован будет враг. Все же дышать здесь, внизу, было трудно; зато в конце этого подземелья он встретит нежные женские руки. А подумать только, в чьи руки он чуть было не попал сейчас! Он задул бледный огонек, приподнял творило, закрывавшее вход. — Осторожнее! — крикнул женский голос. — Осторожнее, тут мои голуби! — Ибо остановившая его особа женского пола только что свернула голову нескольким голубям и положила их как раз в том месте, где вылез из-под земли этот человек, вспотевший и с головы до ног перепачканный. Дневной свет ослепил его, и он не узнал, кто

перед ним: а это была Флеретта, которую он любил, когда ему было восемнадцать, а ей семнадцать лет.

Она не испугалась, увидев, что он вылезает из-под земли, но и не узнала его: во-первых, вид у него был далеко не королевский, кроме того, все пережитое изменило его черты, да и бороду он отпустил. Горячие ласкающие глаза, наверное, выдали бы Генриха, но он опустил веки и прищурился, вот Флеретта и не узнала его. Да ведь и она изменилась: располнела лицом и станом. Возмущенная тем, что раскидали ее голубей, она уперлась руками в бока и начала браниться. Он рассмеялся, весело ему ответил и направился к колодцу, чтобы смыть с себя землю. Другой колодец некогда принял два их отражения, слившихся в одно, в него опустили они свой прощальный взгляд и уронили свою последнюю слезу. «Когда мы станем совсем стариками, тогда колодец вое еще будет помнить нас, и даже после нашей смерти». И это правда: через много лет люди все еще будут показывать друг другу водоем и говорить: — Вот тут она и утопилась, эта самая Флеретта. Она так его любила! — Уже сейчас многие уверены, что она умерла, ведь столь прекрасная любовь должна жить дальше сама по себе, помимо людей, которые так меняются.

Превращение. Он умылся и, не оборачиваясь, стряхнул землю с плеч. А она наблюдает, как незнакомец сбрасывает неказистую оболочку и из-под нее выступает дворянин. Сейчас он поднимется по лестнице маленького замка и войдет к даме, в приют любви, на стенах которого нарисованы странные создания — женщины с рыбьими хвостами, а из уголков выглядывают головы ангелов — вот этот прелестен, а вон тот — строг. С потолка комнатки светит солнце, ибо Христос есть солнце справедливости, как там и написано, Флеретта сама читала. Она подбирает своих голубей. Как раз в это мгновение Генрих повертывается к ней, но она на него не смотрит. А воздух вокруг них звенит забытыми словами. Небо такое ясное, свет серебрист и летний вечер так тих. Вот они снова одни, здесь, во дворе, среди хлевов и амбаров. Он мог

бы привлечь к себе эту незнакомую девушку, которая стоит, нагнувшись, и увести за овин. И эта мысль ему приходит, но из окон, может быть, смотрят. И он спешит наверх. А девушка несет голубей на кухню. И вот уже никого нет, а воздух все еще звенит забытыми словами. Ты счастлив со мной? Счастлив! Как еще никогда! Тогда вспоминай меня, куда бы ты ни уехал, и о комнате, в которой благоухало садом, когда мы любили друг друга. Тебе восемнадцать, любимый… Когда мы станем совсем стариками…

Голоса батраков приближаются. И воздух, уже не звенит.

В саду

Как ни странно, но нападение на замок губернатора кончилось плохо для наместника. В Нераке стало известно, что король Франции ему этого не простил. А может быть, именно то, что нападение не удалось, стоило бедняжке Вийяру его места? Дворянство заявило, что возмущено его дерзостью, и не только местное, но и в соседней провинции Лангедок, губернатор которой, Дамвиль, заключил с Генрихом союз. Дамвиль был «умеренным», принадлежал к «политикам» и охотно действовал в пользу мира между обеими религиями. Но ведь и миролюбие не вовремя могло стоить места. Как бы то ни было, но Вийяру пришлось лишиться своего как раз потому, что он дошел до крайности в обратном. Его особенно яростно преследовал и прямо дохнуть не давал один из влиятельнейших провинциальных дворян, маршал Бирон. Бирон вел против Вийяра такую интригу, о размерах которой не подозревал даже Генрих, хотя Генрих о многом был осведомлен.

В то время у Генриха было немало других забот. Он хотел добиться от двора не только удаления своего наместника, — он горячо желал, чтобы его дорогая сестричка приехала к нему; не мог он дольше обходиться и без своего

милого друга королевы Наваррской. Бывали минуты, когда он искренне тосковал по Марго; человеческое тело никогда не забывает совсем те ласки, которые ему были дарованы. Частенько он думал и о том, что его католическим подданным не мешало бы увидеть рядом с ним сестру короля Франции; тогда сами собой распахнулись бы даже городские ворота Бордо! Что же касается его маленькой Катрин — ах, Катрин, поскорее бы ты очутилась здесь! Будешь восхищаться моими оранжереями, будешь учить попугаев говорить, будешь слушать пение удивительных птиц, которых ты еще никогда не видела, Катрин, — канареек! Кроме того, девчурка такая пылкая гугенотка, что сейчас же поднимет меня во мнении сторонников истинной веры; а мнение это, увы, не слишком высокое.

Причина, конечно, та, что он путался со многими женщинами. Но, во-первых, есть очень много таких, которые стоят нашей любви — каждая на свой лад: одна пленяет своим пьянящим ароматом, другая — невинной чистотой цветка. У такой-то фрейлины недоверчивая мамаша, и Генрих скачет верхом целую ночь, чтобы поспеть к утру на раннее свидание. Отбить потаскуху у парня гораздо легче. Была у Генриха связь с женой угольщика. Тот жил в лесу, и у него обычно съезжались охотившиеся придворные. Она крепко любила своего короля, и он ее достаточно горячо, чтобы однажды заставить все общество — господ и слуг — прождать под дождем, пока он лежал с ней в постели. Кто не знает этих внезапных вспышек страсти, которые проходят бесследно! Правда, через двадцать лет Генрих пожаловал угольщику дворянство. И не раз потом король вспоминал хижину в лесу и испытанные им там незабываемые радости. Ибо женщина — это его живая связь с народом. В ней познает он народ, сливается с ним и благодарит его.

За сестрою в Париж он послал своего верного Фервака. Хотя честный вояка и предал его, но успел также изменить и королю Франции, а что может быть надежнее человека, которому уже никто не доверяет! Фервак, несмотря на все препятствия, действительно доставил принцессу целой и невредимой,

но она пробыла в Нераке недолго: брат самолично проводил ее. Но там и верования и нравы были строги, даже его собственные, когда он туда приезжал. В По, где обоих растила дорогая матушка, его видели только с сестрой под зелеными деревьями их детства. Там стояла причудливая беседка, и над ней склонялись высокие кроны. Сюда не раз уходила и Жанна, когда ей хотелось посидеть со своими детьми в свежей, бодрящей тени, и ей чудилось, что в шелесте листьев она слышит дыхание божие. Природа была тайной предвечного, одной из его тайн.

Садовники тоже служили богу, только под другими знаками, чем священники. Шантель — так звали садовника, с которым Генрих беседовал точно с мудрецом; он построил садовнику новый домик. А главная аллея парка носила имя мадам, имя Жанны. Там гуляют теперь ее дети; брат наклоняется к сестре. А сестра думает:

«Смотри-ка! Да мы замешкались, и уже близится вечер. Сегодня сад кажется нам таинственнее, сумерки неслышно уносят его из обычного пространства и строя жизни. Даже каменная женщина, непрерывно льющая воду из своего бочонка, даже она сравнялась цветом с вечерними кустами и уже лишена права на белизну и блеск. И все мы, как христиане, между собой равны: это особенно чувствуешь в такой час. Я, его сестра, без сомнения, должна видеть в нем своего государя, но здесь он все-таки больше брат. Заговорить? Это так трудно, я боюсь. Но меня тянет расспросить его об этой пресловутом бале в Ажене», — Братец!

— Что такое, сестричка?

— Ходят такие нехорошие слухи.

— Ты имеешь в виду бал в Ажене?

Она так испугалась, что вдруг остановилась. Ее хромота обычно почти не была заметна, Екатерина даже могла танцевать. Но в этот миг она бы захромала. А брат торопливо сказал: — Я знаю про эти разговоры, конечно, знаю; все это выдумали только затем, чтобы выжить меня с моими

дворянами-протестантами из города Ажена. Сначала после моего побега из Лувра я решил жить там. И сейчас же духовенство с церковных кафедр начало травить нас. Господин де Вийяр немедленно принялся клеветать. А самое худшее просто выдумали католические дамы, которым захотелось позабавиться. Знай, сестричка, что немало представительниц твоего пола любят сочинять то, чего на самом деле не было.

— Оставь это, братец, скажи только: правда, будто на бале в Ажене, когда в зале было полным-полно городских дам, ты и твои дворяне вдруг погасили свечи?

— Нет. Я бы этого не сказал. Правда, я заметил, что в большой зале стало несколько темнее. Может быть, много свечей догорело одновременно. А иногда их задувают из озорства; даже сами дамы.

Но тут Екатерина рассердилась.

— Ты отрицаешь слишком многое. Лучше бы у тебя было поменьше отговорок, тогда я в остальном охотнее тебе поверила бы. — Это уже не были слова неопытной девушки: это был не ее детский голосок, испуганно повышавшийся на концах слов. И Генрих, в свою очередь, испугался: теперь с ним говорила не сестра, а его строгая мать. Разницы он не мог увидеть, ибо уже стемнело. И он, точно мальчик, признался:

— Говорят, мои дворяне старались перецеловать дам в темноте. Но ни один не похвалялся тем, что хоть одну из них обесчестил. А возможность у них была, и даже подходящее расположение духа. Потом, конечно, все отпирались, так как разразился скандал.

— Хорошо же вы вели себя! — сказали Жанна и Екатерина. — Разве это те строгие нравы, которые ты должен был беречь у нас на родине? Нет, ты предпочитаешь показывать, чему научился в замке Лувр от врагов истинной веры.

У него даже дыхание перехватило. То, что он затем услышал, задевало уже его лично: — Дело не только в том, что несколько обесчещенных дам

умерли от страха и стыда. Ты повинен еще во многих несчастиях, они происходят повсюду, где ты, во время своих разъездов, совращаешь женщин. Я не хочу их перечислять и приводить имена, ты и сам отлично знаешь. Лучше я напомню тебе, что мы должны любить бога, а не женщин.

Он молчал. Проповедь, которую начала сестра, необходимо было выслушать до конца.

— Нам прежде всего надлежит упражнять свое сердце в повиновении богу. С этого надо начинать; но вполне мы достигнем цели, только если в этом будут участвовать и наши глаза, руки, ноги — все наше существо. Жестокие руки говорят о сердце, полном злобы, а бесстыжие глаза — о сердце порочном.

Она продолжала горячо и красноречиво убеждать его. Принцесса Екатерина получала письма из Женевы и старалась запомнить их содержание, но и ей предстояло уже недолго следовать этим советам. А ее брат Генрих в темноте расплакался. Слезы у него лились легко, даже по поводу того, чего изменить было нельзя, да и менять не хотелось; сейчас он разумел под этим не только собственную натуру, но и столь родственную ему натуру сестры. С присущим ей благочестивым рвением боролась бедняжка против своей любви к кузену Генриху Бурбону, который в данное время охотился на кабанов. Но достаточно будет ему явиться собственной особой, и все произойдет так быстро, что Екатерина опомниться не успеет! Детской невинности должен прийти конец — это брат и оплакивал. С другой стороны, он находил совершенно естественным, что конец ее невинности когда-нибудь наступит. Он ласково обнял сестру со смешанным чувством жалости и одобрения и прервал поцелуем ее самую удачную сентенцию. Затем отвел Екатерину домой.

И поскольку всякая нежность, даже по отношению к собственной плоти и крови, и всякое волнение чувств может быть переведено на язык денег, принцесса Екатерина на другое утро получила от своего дорогого брата в

подарок один городок, который и ему самому пока не принадлежал. Мятежный городок, до сих пор не желавший его впустить; Генриху предстояло еще завоевать его для своей дорогой сестрички. И еще много восхитительных подарков получала она впоследствии от своего брата-короля, когда дарить стало для него возможным. Однажды он преподнес ей семьсот прекрасных жемчужин и сердечко, осыпанное алмазами; о цене была осведомлена только его счетная палата. Впрочем, и часы, проводимые им в По, всегда были считанные. И вот уже на прекрасную мебель в большом городском дворце опять надевают чехлы; для Генриха она останется навсегда самой красивой. А драгоценных камней Наваррской короны он не коснется, даже когда у него не будет сорочки на смену. Итак, на коней! Посетим беспокойные провинции! Марго нам тоже доставляет одни заботы! Брата Франциска, решившего бежать во Фландрию, она спустила на веревке из своего окна, потом сожгла веревку в камине и чуть не спалила весь Лувр. А сама тоже умчалась во Фландрию, и начались отчаянные проделки! Да, друзья, отчаянные! Так говорит Генрих в своем тайном совете.

Тайный совет

Члены совета попарно направляются в замок. Парадная лестница в саду раздваивается, и те господа придворные, которые не в ладах друг с другом, могут подниматься с разных сторон. Между обоими крыльями лестницы из стены бьет ключ и стекает в полукруглый водоем. Мраморные перила тянутся от столбика к столбику таким мягким изгибом, что каждый их невольно коснется рукой. Взгляд легко охватывает скромный орнамент, которым резец так любовно оживил камень. Но на полпути оба крыла сливаются. Лестница становится широкой, парадной, она ведет в королевский замок. Слышны юношеские шаги, звонкие голоса, большинство членов совета спешит через

двор наверх и повертывает направо. Они поднимаются на несколько ступенек, затем идут колоннадой, которая тянется вдоль фасада; на капители каждой колонны изображено какое-нибудь легендарное событие. Двери комнат распахнуты настежь, стоит сияющий день. Быстро входят члены совета в самую большую комнату, рассаживаются на скамьях и деревянных табуретах, встречают друг друга взволнованными разговорами, обнимаются, смеясь, или сердито расходятся; все это — пока еще не вошел их государь.

В стене, непроницаемой для пуль и лишенной окон, помещается скрытый пост наблюдателя. В единственную бойницу, между прутьями решетки, солдат видит внизу весь внешний двор, крепостной ров и всю местность за ним. От городских ворот тянется проезжая дорога, а на ней могут появиться враги. Мир и безопасность царят на обоих берегах зеленого Баиза — по эту и по ту сторону мостов. Их называют Старый мост и Новый. Один перекинут к тихому парку «Ла Гаренн», другой соединяет между собой две части города. Те, кто живут подле самого замка, находятся под надежной защитой. По другую сторону моста строятся господа придворные — с тех пор как здесь обосновался двор. Ремесленники, лавочники, челядь теснятся поближе к прочным домам сильных мира сего. Так вырастают, как зародыш нового города, целые улички, извилистые, тесные, посередине текут ручьи и играют дети. Малыши с криками берут приступом высокий старый мост, старики осторожно пробираются по нему на тот берег. И по отражению его широких арок в глубокой воде скользят одна за другой тени всех, кто живет здесь.

На верхней площадке дворцовой лестницы, где стоит круглая каменная скамья, два господина поджидают Генриха. Господин в дорожном плаще — это Филипп Морней, он считает, что Генрих ведет себя необдуманно: ездит один, когда уже темнеет, а в стране война, опять война. Мир, названный по имени монсеньера, продержался недолго.

Король Наваррский отправил своего дипломата искать союзников, но

большинство всеми способами старается уклониться. Есть, правда, кузен убитого Колиньи — в свое время Монморанси сам был узником в Бастилии и находился ближе к смерти, чем к жизни. И все-таки этот толстяк слишком ленив для мести или для справедливости, как выражается Морней, и для религии, добавляет он. «Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих», — поясняет гугенот и доказывает — тоже отнюдь не горячими словами, — почему должны пасть все те, кто старается извлечь из религии лишь выгоду и недостаточно благороден, чтобы бескорыстно служить ей. Герцога Анжуйского, который вслепую охотится за королевствами для самого себя, Морней покинул и после многих опасностей и приключений приехал к такому государю, с которым он попытается связать свою судьбу, хотя государь этот до сих пор ведет весьма легкомысленную жизнь.

Но ведь не все решает натура, гораздо важней предназначение. И бог сильнее, чем страсти его избранника. В глубине души праведный Морней ничуть не встревожен тем, что Генрих опаздывает. Ведь он под высокой защитой.

— Вы были захвачены в плен, когда ехали сюда? — спросил господин, сидевший рядом с ним на скамье.

— Но меня не узнали, — ответил Морней и пожал плечами; он был уверен, что в нужную минуту его врагов поразила слепота. — Послушайте, как было дело, господин де Лузиньян. Мы смотрели на развалины вашего родового замка, все кругом заливал волшебный свет, так что было нетрудно поверить в сказку. Там в старину ваш предок встречал фею Мелузину, и она подарила ему такое же счастье и горе, какими земные женщины могут одарить нас в любое время. По вине феи Мелузины наше внимание было отвлечено, поэтому два десятка вооруженных людей настигли нас раньше, чем мы успели перескочить через ров. В подобных обстоятельствах все дело в том, чтобы удачно выдать себя за другого и никак не походить на гугенота.

Второй господин невольно рассмеялся. Если кто и походил на гугенота, то уж, конечно, Филипп Морней. И не только потому, что на его темной одежде белел скромный отложной воротник: его выдавала манера держаться, да и выражение лица было достаточно красноречивым. Взор не был вызывающим, но не был и обращен внутрь. Этот взор словно вопрошал людскую совесть — разумный и спокойный, и лоб всегда был гладок. До самой старости останется этот лоб без морщин, ибо Морней чист перед своим богом. И этот лоб будет выситься нетронутым плоскогорьем над увядшим лицом, на котором со временем появятся пятна и проложенные скорбью борозды. Так будет некогда. Но сейчас он сидит на полукруглой каменной скамье, молодой и отважный, и ждет государя, возвышению которого ему надлежит сопутствовать. Морней и не подозревает о том, какие слова ему суждено произнести в далеком будущем над телом своего государя: «Мы вынуждены сообщить печальную, ужасную весть. Наш король, величайший король христианского мира за последние пятьсот лет…»

Небо было очень ясным, серебряным был его свет, и мягко надвигался вечер. Генрих вышел из своего сада и прошел по новому мосту, неся в руках охапку цветов. Увидев, что на верху лестницы стоят оба господина, он бросился к ним бегом, потребовав еще издали, чтобы его посол сделал ему доклад; выслушал его, и хотя посол не сообщил ничего утешительного, протянул ему цветок. — Кто-то ощипал его, — добавил Генрих. И невольно повел плечом в сторону беседки на берегу реки: тут они сразу поняли, кто. В тот же миг в замке над ними поднялся ужасающий шум. — Мои гугеноты убивают моих католиков! — воскликнул Генрих и кинулся на замковый двор.

И в самом деле, господин де Лаварден поссорился с господином де Рони: Рони, молодой забияка, вывел своего начальника из себя, ибо нарушил дисциплину. Остальные дворяне тоже подняли крик, в комнате стоял отчаянный гам, и выяснить причину было невозможно. К счастью, Генрих и так отлично знал ее. Город, куда капитан Лаварден послал прапорщика Рони,

приказав занять потерянную позицию, назывался Марманд. Генриху самому пришлось вызволять оттуда мальчишку и его горстку аркебузиров; однако он не смог предотвратить их довольно плачевного отступления с единственной пушкой и двумя кулевринами, для которых не осталось ядер. Лаварден не желал, чтобы хоть один человек напоминал ему об этой неудавшейся атаке на Марманд, которую он затеял против желания своего короля. А теперь его прапорщик все-таки заговорил об этой дурацкой истории. — Молокосос! — рявкнул рассерженный начальник. — Утритесь, у вас молоко на губах не обсохло! — Рони сейчас же полез драться, причем часть дворян усердно подзадоривала противников, другие старались развести их. Трудно было даже поверить, что в комнате, где находилось всего пять — шесть человек, мог подняться такой шум; впрочем, все это происходило лишь от избытка кипучих сил и жизнерадостности. И вот вошел Генрих с охапкой цветов; он бросил их своим дворянам, а своего Рони наказал по заслугам: Генрих заявил, что его службе в самой лучшей роте и под командой лучшего из начальников теперь конец и что из внимания к крайней юности Рони он сам, король, берется его воспитывать. Юноша не противился, ибо в сущности на это и рассчитывал. Его лицо тут же приняло свое обычное спокойное и рассудительное выражение. Успокоился и Лаварден, да тут еще король обнял его.

Кто-то стал возмущаться несколькими городками, которые якобы позволяли себе совершать всякие зверства. Войско короля Наваррского кочевало по стране, не уставая мстить, насаждать мир и водворять порядок. Здесь же действовал тайный совет, каждый член имел право высказать королю свое мнение, и многие упрекали его в том, что ведет он войну недостаточно сурово. Его двоюродный брат Конде осуществляет свои военные операции гораздо энергичнее, и он-де жалуется на нерешительность Генриха. — Ведь это моя страна, а не его, — сказал Генрих, больше для себя, чем для других, и только Морней насторожился. Члены тайного совета

обычно говорили все сразу, шумно перебивая друг друга. Генрих привлек к себе всеобщее внимание, начав рассказывать о королеве Наваррской. Он уселся на стол, свесил одну ногу, другую поджал под себя и, покусывая стебелек розы, фыркал, как бы сдерживая смех; на самом деле он вовсе не испытывал особой радости.

Королева Наваррская сначала помогла бежать своему брату монсеньеру, затем, опережая его, поспешила во Фландрию, чтобы там подготовить для него почву. Опасно, опасно затевать такое дело в стране, которую попирают сапоги испанцев, и самый большой сапог — дон Хуан Австрийский. — Но королева, моя супруга, всех провела под предлогом болезни, которую она будто бы должна лечить водами Спа. А испанцы, да будет вам известно, народ недалекий, ходят словно на ходулях, и шея у них не гнется, как и их высоченные крахмальные воротники; поэтому они ничего не видят, что делается на земле. Так вот, не успели испанцы сообразить, о чем говорит королева, как ее величество взбунтовала всю страну. Правда, дон Хуан Австрийский спохватился и тут же поспешил выпроводить ее из своих владений. А им еще накануне вечером был устроен бал в ее честь. Но тут уж ничего не поделаешь, родной брат, король Франции, выдал ее испанцам из страха перед доном Филиппом.

Присутствующие ответили негодующим смехом, раздалось несколько проклятий. Генрих же, стиснув зубы, задумчиво добавил: — Ничего! По крайней мере во время этой поездки моя Марго чувствовала себя ужасно важной дамой, пока ее не выгнали. Золоченые кареты и бархатные носилки, в них сидит всемилостивейшая королева, и повсюду ее с восхищением встречают белокурые люди. И сама она в восхищении. Вообще-то ей не очень сладко живется, моей бедной Марго, при такой семейке. Ей следовало бы ко мне приехать. Здесь она мне нужна. К сожалению, ее брат-король запрещает ей жить с гугенотом. — Последние слова он сказал очень громко: Генрих заметил, что среди всеобщего шума только один человек внимательно на него

смотрит, — и это его дипломат.

— Как ни печально, господин де Морней, но король Франции ненавидит свою сестру и не разрешает ей видеться с нами.

В ответ Морней заметил, что ее величество королева Наваррская после своей неудачной поездки во Фландрию, наверно, ничего так страстно не желает, как встречи со своим супругом. Это все Лига восстанавливает царственного брата против его сестры. Герцог Гиз…

— Давайте выйдем, — предложил Генрих и первым покинул комнату. Они быстро, как любил Генрих, прошлись по коридору — туда, обратно. Посол, прибывший из-под Парижа, рассказал о последних убийствах в замке Лувр. Гиз держит короля в непрестанном страхе и трепете. И король все чаще уезжает в монастырь; его гонит туда не только ужас перед потусторонним миром. Помимо собственной смерти, он боится, что его дом вымрет, ибо королева до сих пор не подарила ему сына.

— И никогда не подарит, — быстро вставил Генрих. — У Валуа больше не будет сыновей. — Он умолчал о том, от кого узнал это наверняка: от своей матери, Жанны. Морней посмотрел на него и сказал себе, что господь бог правильно сделал, приведя его к этому государю. И в то же мгновение он прозрел окончательно и понял, кто такой Генрих: вовсе не мельник из Барбасты, и не бабник, и не командир двухсот вооруженных солдат, но будущий король, вполне сознающий себя избранником. Он надел на себя личину оттого, что мудр да и подождать может: молодость длится долго. Но Генрих никогда не забывал о своем предназначении. И когда он открыл теперь Морнею свое сердце, Морней низко склонился перед молодым государем. Слова уже были не нужны, они поняли друг друга. Генрих только указал ему легким движением руки на парк «Ла Гаренн», где им скоро предстояло встретиться без свидетелей.

Им помешали. Два старых друга Генриха — д’Обинье и дю Барта — воспользовались своим правом в любую минуту прерывать беседу своего

короля. Они бросились бегом через двор, стремительно поднялись по лестнице и сейчас же заговорили, перебивая друг друга. Правда, новость, которую они сообщили, стоила того. Маркиз де Вийяр смещен. После неудавшегося нападения на замок губернатора наместник попал в немилость, и король Франции назначил на его место маршала Бирона, который действительно все сделал, чтобы это заслужить. Особенно Агриппа уверял, что так оно и есть. Полный радостных надежд, расхваливал он нового наместника, который будто бы из одного душевного благородства употребил все свое влияние при дворе, чтобы сместить своего угрюмого предшественника. Дю Барта, у которого был совсем другой темперамент, ждал, что, напротив, новый наместник окажется еще вреднее. Когда члены тайного совета узнали об этой замене, они тоже разделились на два лагеря.

Наиболее благоразумные, такие, как Рони и Лафорс, который был католиком, видели в Бироне прежде всего злобного и желчного человека. Однажды в порыве ярости он разрубил саблей морду своей лошади, а это не говорило в его пользу. Лаварден и Тюрен, тоже принадлежавшие к различным вероисповеданиям, были, однако, согласны в том, что маршал Бирон все же заслуживает некоторого доверия: он ведь принадлежит к одному из самых старинных родов Гиенни. Поэтому, естественно, он будет стремиться поддерживать здесь мир. Это казалось убедительным. Но Генрих, пока шумел и спорил его совет, прочел королевский приказ, который ему передали старые друзья, И там было написано, что маршалу Бирону даются неограниченная власть и полномочия распоряжаться по всей провинции Гиеннь в отсутствие короля Наваррского. Как будто я отсутствую, ну, например, сижу пленником в Лувре! Так это понял Генрих. Ему стало холодно, потом бросило в жар. Он свернул приказ в трубку и никому не показал.

Морней, или Добродетель

Рано утром Морней отправился в парк «Ла Гаренн». Там не было еще даже часовых. Когда придет король, никто не будет наблюдать за ними, и их разговор останется тайной. Посол Генриха надеялся, что король сообразит, насколько это удобный случай для беседы, и явится один. Морней был весьма высокого мнения о своих дипломатических действиях, где бы они ни имели место — в Англии, во Фландрии, во время войны или при заключении мира. Ожидая Генриха в парке «Ла Гаренн» и слушая щебетание и трели ранних птиц, он предавался размышлениям о величии творца, допускающего, чтобы невиннейшая природа так тесно соприкасалась с нашим мерзким миром; а через своего сына воссоединил он то и другое, ибо Иисус умер в поту и крови, как умираем и мы, и так же, как мы, только еще более трогательно, нес в себе песнь земли. Морней записал эту мысль на своих табличках для жены своей Шарлотты Арбалест. Уже три года, как они поженились, но бывали часто и долго в разлуке — из-за поездок мужа, ибо государи посылали его добывать деньги все снова и снова, И Морнею приходилось больше вести счет долгам и процентам, чем речам о жизни и смерти. Но их он все-таки записывал по требованию своей невесты, после того как они обрели друг, друга в Седане, в герцогстве Бульонском, этом убежище беглецов.

Их встреча произошла в суровое время, когда действительно шел вопрос о жизни и смерти, — через два года после Варфоломеевской ночи, и оба они, хоть и не стали ее жертвами, но продолжали жить только ради славы божией, гонимые и в бедности. Поместья Шарлотты были конфискованы, так как и отец ее и первый муж принадлежали к последователям истинной веры. Друзья тогда убеждали молодого Морнея вступить в более выгодный брак; он же отвечал, что злато и серебро — последнее, о чем следует думать, выбирая себе жену; главное — благонравие, страх божий и добрая слава. Всем этим обладала Шарлотта; кроме того, у нее был ясный ум — и она занималась математикой, зоркий глаз — и она рисовала. Она была милосердна к

беднякам и умела внушить страх даже сильным мира сего своей непримиримостью ко всякому злу. Но больше всего старалась она всей силою своего рвения служить богу и церкви. Именно это, а не злато и серебро принесла она мужу в приданое. И Морней почувствовал себя богачом, когда она рассказала ему, что еще ее отец однажды в Страсбурге присутствовал при том, как мейстер Мартин Лютер спорил с другими докторами богословия. А Лютер никогда и не был в Страсбурге: Морней справлялся. Но если рассказ отца так светло преобразился — в ее воспоминаниях, то разрушать высокое воодушевление Шарлотты Морней не хотел, и он промолчал. Таков был его брак с этой гугеноткой.

— Вы меня поняли и встали рано, — вдруг сказал Генрих; он вошел в беседку незаметно и сел подле Морнея. Затем тут же спросил: — Что вы скажете о моем тайном совете?

— Он слишком мало тайный и слишком шумный, — отозвался Морней, не моргнув глазом, хотя Генрих и подмигнул ему.

— О маршале Бироне плели много вздору. Верно? Он мне искренний друг. Таково, должно быть, ваше мнение?

— Сир! Будь он вам другом, не назначил бы его король Франции на эту должность. Но, сделавшись вашим наместником, даже искренний друг скоро отошел бы от вас.

— Я вижу, что не зря мне хвалили ваш ум, — заметил Генрих. — Многому нам пришлось научиться, а, Морней? Вам нелегко было в изгнании.

— А вам — в Лувре.

У обоих взгляд стал далеким. Но через миг они очнулись. Генрих продолжал: — Мне нужно быть крайне осторожным: двор снова хочет меня захватить в плен. Читайте! — Он развернул вчерашнее послание: вся власть и все полномочия маршалу Бирону…

— «В отсутствие короля Наваррского», — громко прочел Морней.

— В мое отсутствие, — повторил Генрих и невольно Содрогнулся. —

Нет — уж, довольно! — пылко заявил он. — Десятку лошадей не вытянуть меня в Париж!

— Вы вступите в него опять уже королем Франции, — твердо заявил Морней и почтительно описал рукой полукруг — ни один царедворец не выполнил бы этот жест с таким совершенством. Генрих пожал плечами.

— Гиз со своей Лигой слишком силен. Я вам откроюсь: он стал слишком силен даже для испанского короля, и дон Филипп, чтобы обезопасить себя от Гиза, делает мне тайные предложения. Он намерен жениться на моей сестре Катрин, ни больше, ни меньше. А мне сулят какую-то инфанту. С королевой Наваррской. Он меня попросту разведет в Риме, где для него не существует препятствий.

Морней пристально посмотрел на Генриха, словно испытуя его совесть.

— А что же мне делать? — подавленно заметил тот. — Я вынужден согласиться. Или вам известен другой выход?

— Мне известно только одно, — заявил Морней, строго выпрямившись, — вы никогда не должны забывать о том, кто вы: французский государь и защитник истинной веры.

— И что же, я должен просто-напросто отказаться от соблазнительного предложения самого могущественного из властителей?

— Не только отказаться, но и довести о нем до сведения короля Франции.

— Вот это я как раз и сделал! — воскликнул Генрих, рассмеялся и вскочил. Лицо у гугенота посветлело. Они бросились друг другу в объятия.

— Морней! Ты все такой же, как тогда, в нашем отряде! Ты любил крайности и мятеж, и ты произносил речи о том, что пурпур царей — это прах и тлен. Сам ты не был тогда безрассудным и не отказался ускользнуть от Варфоломеевской ночи, когда судьба дала тебе эту возможность.

Он похлопал Морнея по животу в знак одобрения и радости. — А ведь с умения избегать смерти и начинается дипломатия, так же как и военное

искусство. — С этими словами Генрих взял Морнея под руку и повел прочь, делая при этом, как всегда, большие шаги, которых в этой парковой аллее укладывалось ровно четыре тысячи.

Еще не раз встречались потом рано поутру, никем не замечаемые, Генрих и его посол. Впрочем, истинная причина, почему королю то и дело хотелось слышать советы своего посла, осталась бы неизвестной, даже если бы кто-нибудь тайком и следил за ними. Морней видел в Генрихе будущего короля Франции — вот в чем заключалась разгадка; и не только внутреннее чувство — единственное, на что опирался Генрих, — подсказывало это его дипломату: положение во всем мире совершенно очевидно свидетельствовало о том, что Франция — из всех королевств Запада именно Франция — должна быть объединена твердой рукой принца крови. Не одна только Франция — весь христианский мир «жаждал истинного государя». Им уже не мог быть дряхлеющий Филипп со своей наскоро слепленной мировой державой, которая, как и он сам, приходила в упадок. Подобные государства не могут существовать, не посягая то и дело на свободу немногих наций, еще сохранивших свою независимость. Но этим они только ускоряют собственный конец. И Морней предрекал все еще грозному Филиппу, что перед его смертью, которая будет позорной, рука господня сурово покарает его. Морней этого не высказывал, а лишь думал про себя. Вслух же он хладнокровно утверждал, что стремление любой ценой расширить свое господство и безудержная жажда власти просто неразумны. Нельзя держать такое королевство, как Франция, в состоянии постоянного внутреннего брожения и распада. Правда, Морней не говорил, что это безбожно и преступно, но думал именно так. Говорил же, напротив, о логике событий и об истине, ибо достаточно истине появиться, как она побеждает.

Словом, Морней старался, чтобы Генрих не только через чувство, но и разумом ясно понял все величие предстоящей ему судьбы. Пусть осознает, что истина — его союзник, и как истина моральная и как правда жизни: ибо

одна без другой преуспеть не может. Бог создал нас человеками, и мы сами — мера всех вещей, поэтому истинно и действительно только то, что мы признаем за таковое согласно врожденному нам закону. Столь высокая мудрость, мистическая, возвышенная и глубокая, должна была увлечь и соблазнить государя, который сам являлся ее средоточием. Предсказания будущего всегда заманчивы, даже в шесть утра, в парке, где еще стоит трепетная свежесть; иначе Генрих проспал бы еще добрых четыре часа, ибо его легкомысленные приключения оканчивались обычно поздно ночью. Но он приходил, чтобы слушать разумные суждения о себе и своих врагах.

Свой путь к престолу, говорили ему, он должен, как ни странно, пройти в качестве союзника, даже спасителя последнего Валуа, который до сих пор его ненавидит. Но тут Морней придерживался веления «любите врагов ваших», хотя это, конечно, не всегда полезно, ибо противоречит нашим человеческим склонностям. Нужно только ясно различать те случаи, когда это правило действительно полезно. Сам Генрих, по своей природе, был готов любить своих врагов, добиваться их дружбы и даже предпочитать их друзьям. Может быть, он сам носил в себе предчувствие этого союза с последним Валуа, и лишь потом, когда все свершилось, убедил себя, что Морней уже давно назвал вещи своими именами. Также и гибель испанской армады у берегов Англии Генрих предвидел за десять лет вперед. Когда она действительно погибла, он решил, что Морней предрек это еще в парке «Ла Гаренн». Вероятно, посол действительно употребил слово «гибель», то ли говоря о флоте, то ли о мировой державе. Но отблеск его слов остался жить в душе Генриха. Ибо познание есть свет, и его излучает добродетель. Негодяи ничего не знают.

Генрих слушал голос добродетели, говорившей с ним устами Морнея. Слушать ее приятно, пока она говорит: ты молод и по натуре своей избранник; блестящие возможности сочетаются с твоими блестящими дарованиями, они прямо для тебя созданы, эти возможности; пока не пробил

час великих деяний, стань неоспоримым повелителем этой провинции и вождем твоей партии; не спеши, небо здесь ясное, десять лет пролетят, как один день. До сих пор добродетель говорила приятные вещи.

Но тут ей вздумалось однажды сказать и даже вручить Генриху соответствующую докладную, записку о том, что королю Наваррскому не мешало бы самое позднее в восемь часов быть одетым и уже начать молитву вместе со своими пасторами. Затем ему надлежало бы пойти в свой кабинет и выслушать по очереди доклады всех, кому он давал какие-либо поручения. И больше никаких шумных тайных советов, на которых хохочут, несут всякий вздор и затевают споры. Морней требовал, чтобы Генрих из всех своих советников отобрал только самых добродетельных. Но кто тогда остался бы, кроме него самого? Генрих должен служить личным примером для всего своего дома, и не только для дома, но и для всего королевства Наваррского, и не только для него, но и для всего христианского мира. Морней не терпел в государе, которого избрал себе, ничего заслуживающего порицания. Пусть каждый находит в нем то, чего больше всего жаждет, но еще никогда не встречал: государи — брата, суды — справедливость, народ — заботу о том, чтобы снять с него тяжкое бремя. Государь должен помнить, что ему надлежит действовать не только с достоинством, но и с блеском; особенно же не следует никому давать повода для клеветы. Даже чистою совестью не должен он довольствоваться. А дальше речь шла уже о совсем щекотливых вещах. Этот молодой человек, относившийся к своему званию члена совета с глубокой серьезностью, заговорил о нравственности самого государя.

— Простите, сир, вашему верному слуге еще одно слово. Но с громкими любовными связями, которым вы уделяете столько внимания, теперь уже пора покончить. Наступило время, когда вы должны быть связаны любовью со всем христианским миром, и особенно с Францией.

«Вторая Катрин! — подумал Генрих. — «Я напоминаю тебе о том, что ты должен любить бога, а не женщин», — вот ее слова». А теперь и второй

гугенот непрестанно твердит ему об этом. Нет, голос добродетели уже не звучал приятно. Правда, она поторопилась, требуя от молодого государя той благопристойности, которая пока не отвечала ни его характеру, ни плачевному состоянию его маленькой одичавшей страны. Но именно это и, пожалуй, только это, всегда было у Генриха уязвимым местом. Когда он уже стал признанным наследником французского престола, упрямая добродетель через господина де Морнея опять обратилась к нему с теми же назиданиями, и они опять оказались некстати, вызвали в Генрихе гнев и насмешку! Под конец добродетель совсем умолкла. А жизнь идет дальше без предостережений, добродетель уже не вмешивается, и стареющий Генрих опускается под воздействием губительных страстей, с помощью которых он еще поддерживает в себе иллюзию молодости. Да, так будет, Генрих. Молодость и любовь станут некогда заблуждением твоего все еще ненасытного сердца. И тогда Морней уже ничего не скажет. Радуйся, что хоть сегодня он говорит!

Но Генрих, наоборот, отомстил ему за это на тайном совете, в котором, кстати, так никаких изменений и не произошло. Король в присутствии своего посла Морнея заявил: он-де больше обязан католикам, чем гугенотам. Если последние ему и служат, то лишь из корысти или религиозного усердия. А католикам от этого нет никакой выгоды, ради его величия они действуют в ущерб своей религии. И столь несправедливо было это сравнение, что даже придворные католики не могли отнестись к нему спокойно. Но Генрих забыл о том, что человека надо беречь и щадить; в присутствии своего посла он закаркал вороном. Дело в том, что ревнителей истинной веры прозвали воронами оттого, что они носят темную одежду, то и дело каркают псалмы и, по слухам, весьма падки на всякую добычу. Когда король дошел до столь явного оскорбления и затем продолжал каркать вполголоса, притаясь в углу, все сделали вид, что не замечают этого, и как раз католики начали громко разговаривать, чтобы заглушить его карканье. Генрих же вскоре исчез.

Выйдя, он заплакал от злости и стыда за свое отношение к добродетели, воплощением которой был гугенот Морней. Отныне Генрих замкнулся, он уже не принимал своего посла наедине, и во всяком случае не в парке «Ла Гаренн» в шесть утра, ибо поднимался теперь только в десять. Но это не мешало ему думать о Филиппе Морнее и сравнивать с остальными придворными чаще всего не к их выгоде. Генрих говорил себе: «Вот д'Обинье — это друг: он торопил меня с побегом из Лувра, и дю Барта — друг: он спас мне жизнь в харчевне, — уже не говоря о д'Эльбефе, которого мне ужасно недостает: он охранял каждый мой шаг. Но кто они? Воины, и храбрость для них — дело естественное, никто ею не хвастается, и она даже краешком не соприкасается с добродетелью. Если взять любого из моих приближенных, хотя бы самого умного из членов совета, что от них останется при сравнении с Морнеем? Все они привержены каким-либо порокам, иные даже прегадким». Но Генрих тем охотнее извинял их. Дружба и власть короля способны многое зачеркнуть. Однако ни один не обладал знанием, высоким и глубокомысленным знанием великого гугенота. А отсутствие знаний возместить невозможно.

Агриппа, старый друг, злоупотреблял щедростью своего государя, как никто; счетной палате в По его имя было известно лучше всех прочих. Однажды он сказал одному дворянину что-то насчет короля, и притом настолько громко, что Генрих не мог не услышать. Но придворный не разобрал его слов, и Генрих сам повторил их: «Он говорит, что я скряга и нет на свете столь неблагодарного человека, как я». В другой раз королю принесли собаку, издыхающую от голода, он когда-то любил ее, а потом об ней забыл. На ошейнике у нее был вырезан сонет Агриппы, начинавшийся так:

Цитрон в былые дни на мягкой спал постели,
На ложе из камней теперь ночует он.

Неблагодарности и «дружества» закон,
Как все твои друзья, узнал твой пес на деле.

В конце было и нравоучение:

Придворные! Коль пес вам встретится порой,
Избитый, загнанный, голодный и худой, —
Поверьте, точно так отплатят вам за верность.

Прочтя эти стихи, Генрих изменился в лице. Сознание содеянной вины росло в нем быстро и бурно, хотя потом он все и забывал. Он легче извинял другим их проступки, чем себе. Так, он держал в памяти только заслуги бедного Агриппы, а не вспыльчивость, присущую его поэтической натуре. Молодой Рони больше всего на свете любил деньги. Он их не тратил, а копил. К тому времени Рони успел получить после отца наследство, сделался бароном и владельцем поместий на севере, у самых границ Нормандии. Когда Генриху нечем было платить своим солдатам, барон Рони продал лес, но решился он на это в надежде, что благодаря победоносным походам короля Наваррского одолженная сумма удесятерится. В Нераке, по ту сторону старого моста, он построил себе дом, ибо выгодные дела требуют основательности. Своему государю он не позволял задевать себя даже в случае тяжелой провинности: Рони тут же приходил в бешенство. Он ему-де не вассал, не подданный, бросал юноша Генриху прямо в лицо, он может от него уйти, о чем на самом деле и не помышлял, хотя бы из-за своего дома. Генрих резко отвечал, что, пожалуйста, скатертью дорога, он найдет себе слуг получше, но это тоже говорилось не всерьез. Каков бы там Рони ни был, он принадлежал к числу лучших, хотя на время и уехал во Фландрию к богатой тетке, перед которой ради милых его сердцу денег прикинулся католиком.

Из двух барышень он выбрал менее красивую, но более богатую и на ней

женился. Когда в окрестностях его замка на севере стала свирепствовать чума, барон Рони увез оттуда свою молодую супругу. Она сидела в запертой карете посреди леса и не подпускала к себе мужа, боясь заразиться. Но барона трудно было запугать. И чуму и другие препятствия он преодолевал с гордым задором. После перенесенной опасности он снимал панцирь и брался за счета. Он сражался бок о бок с королем во всех его битвах. А когда Генрих уже сколотил свое королевство, у него был готов отличный министр финансов.

Но сейчас оба еще молоды, вместе берут маленькие непокорные городки, рискуют жизнью из-за какого-нибудь знамени или вонючего рва; однако удачливый Рони не остается в накладе. И когда победители начинают грабеж, кто захватывает разом четыре тысячи экю и к тому же спасает старика, их бывшего владельца, от жестокой солдатской расправы? Генрих хорошо знал этого юношу: Рони любил славу, почести и почти с равной силой — деньги. Однажды Генрих вздумал утешить и Морнея, что настанут, мол, времена, когда они оба будут богаты. Он сделал это нарочно, чтобы ввести Морнея в искушение. Однако тот сказал просто: — Я служу и уже тем богат.

С нарочитой жестокостью Генрих заявил:

— Меня ваши жертвы не интересуют, господин де Морней. Я думаю о собственных.

— Все наши жертвы мы не людям приносим, а богу. — Смиренный ответ, но и нравоучительный. Генрих вспыхнул.

Вскоре после того на их маленький отряд напали, выскочив из рощицы, всадники Бирона, они были многочисленнее. Королю Наваррскому и его спутникам оставалось только повернуть и спасаться бегством под градом пуль. Когда они наконец придержали коней, обнаружилось, что у короля на одном сапоге напрочь отстрелили подметку. Нога была цела и невредима, и Генрих вытянул ее, чтобы кто-нибудь надел на нее свой сапог. И, конечно, это сделал Морней. Генрих не видел его лица; Морней стоял, нагнувшись, и по

шее у него ручьем бежала кровь.

— Морней! Вы ранены?

— Это булавочный укол в сравнении с опасностью, которая угрожала вашему величеству. Я прошу одной награды, сир: больше никогда не рискуйте столь необдуманно своей жизнью!

Генрих испугался. Впервые Морней просил о награде, и о какой! Теперь он поднял лицо, залитое кровью и уже побледневшее: — Мы оба не сомневались в дурных намерениях маршала Бирона, сир. — Вот и все. Но Генрих услышал за этими словами и другие: «… Когда вы еще принимали меня как друга и без свидетелей в парке «Ла Гаренн». Сердце у него забилось. Он сказал вполголоса:

— Завтра, на том же месте и в тот же час.

Тягостная тайна

В ту ночь Филипп Морней спал мало, и совсем не спала его совесть. Он уже давно боролся с собой — сказать или нет о том, что ему было известно. И вот случай представился, и долг надо было выполнить. Когда временами от раны у него делалась лихорадка, ему представлялось, что он стоит перед королем, он слышал свой голос, который говорил торопливее, чем обычно, с гораздо более настойчивой убедительностью. Король же ничего не отрицал, даже некрасивые слухи о жене мельника — об этой позорной и вдобавок опасной истории. Король сначала покаянно опустил голову, но потом снова поднял ее, как того горячо хотелось Морнею в бреду. Он не желал, чтобы его король был пристыжен. Еще меньше хотелось ему омрачить воспоминания Генриха о столь горячо любимой им особе. К сожалению, медлить было нельзя, если он все-таки надеялся удержать короля, уже катившегося по наклонной плоскости опасных страстей. Надо было ему показать, к чему они

приводят, а это мог сделать только один человек: тот, кто знал тягостную тайну.

— Господи! Освободи меня от этой обязанности, — молил больной Морней, и в бреду его пожелание тотчас исполнялось. Ему не надо было выговаривать вслух то, что его так ужасно мучило, ибо король уже все знал. Случилось нечто необъяснимое: у короля, а не у Морнея были в руках обличающие документы. Он дал их Морнею прочесть и стал уверять, что именно раскрытие этой тайны остановило его и удержало на краю пропасти. Теперь он-де понял, что даже такая жизнь, посвященная богу, может быть настолько осквернена необоримыми вожделениями пола, что немногие друзья, знающие тайну, вспоминают о покойнице лишь с ужасом и жалостью. И какую же ценность имеет тогда то, что целый народ чтит, свою усопшую королеву, считая ее благочестивой и чистой! Я, сказал король Морнею в его бредовых сновидениях, хочу послушаться этого предостережения и приму меры, чтобы исправиться. Я прощаю всех, кто покорялся своей человеческой природе. Я сам в том повинен, и превыше всякой меры, но теперь конец, даю свое королевское слово.

Заручившись от своего короля этим обещанием, Морней спокойно уснул и проснулся, только когда настало время идти в парк «Ла Гаренн». Голова у него была совершенно ясная, и все же ему сначала почудилось, будто оба документа вместе с их тайной и в самом деле находятся в руках короля, а не его. Он даже раскрыл свою папку: оказалось, они спокойно лежат на месте. Все оставалось, как было, король ничего не знал, и над Морнеем по-прежнему тяготел суровый долг.

Случилось то, чего еще никогда не бывало: он вступил в аллею после своего короля. Генрих уже мерил ее нетерпеливыми шагами. Завидев посла, он взял его за руку, сам довел до скамейки, бросил озабоченный взгляд на его забинтованную голову и осведомился, как он себя чувствует. Просто — пуля сорвала кусочек кожи с волосами, пояснил Морней. Рана пустяковая и едва ли

заслуживает королевского внимания. — Если угодно вашему величеству, поговорим лучше о делах.

— Они и вправду не терпят отлагательств, — отозвался Генрих, однако нерешительно помолчал, прежде чем заговорить о своих денежных затруднениях. В Морнее ему чудилось что-то непривычное, чуть не страх. Наверно, плохо спал, решил Генрих и заговорил о своих крестьянах, которым он непременно хотел облегчить подати. Но как тогда возместить недостачу? И он воскликнул с напускной шутливостью, хотя ему было не до шуток: — Вот если бы я мог действовать, как покойная королева, моя мать! Она сама себя наказывала за самый ничтожный проступок! Даже если забудет утром помолиться, и то вносит сто ливров в счетную палату. А мои штрафы были бы, наверное, покрупней, чем у моей дорогой матушки!

Наконец Морней преодолел свой страх. Это ведь был чисто человеческий страх — его вытеснило упование на бога. Он поднялся, а Генрих с любопытством посмотрел на него.

— Покойная королева, — начал Морней, как всегда спокойно и твердо, — была строга к себе во всем, кроме все-таки одного: ее величество тайно вступили в недозволенный брак с графом Гойоном, он был потом убит в Варфоломеевскую ночь. Королева заключила этот брак помимо благословения церкви, не получила она его и потом, ибо не захотела открыто признать совершенной ею ошибки. Она находилась тогда в возрасте сорока трех лет; после смерти короля, вашего отца, прошло девять лет. От господина де Гойона у нее был сын.

Генрих вскочил. — Сын? Это еще что за басни?

— В приходо-расходных книгах вашей счетной палаты, сир, нет басен. А там записаны семьдесят пять ливров на воспитание ребенка, которого королева отдала в чужие руки двадцать третьего мая тысяча пятьсот семьдесят второго года.

— Она тогда отправилась в Париж… Хотела женить меня… и умерла. —

Генрих говорил, запинаясь, из глаз его брызнули слезы. В какое-то мгновение, быстрое, как мысль, Жанна в его глазах еще успела вырасти от этого нагромождения чужих судеб вокруг нее, нежданных и неуловимых. У сына даже голова закружилась. Но мысль пронеслась. И вдруг он вместо сыновней гордости почувствовал унижение.

— Неправда! — крикнул он срывающимся голосом. — Подлог! Клевета на женщину, которая не может ее опровергнуть!

Вместо ответа Морней протянул ему два исписанных листка. — Это еще что? — сейчас же опять воскликнул Генрих. — Кто смеет выступать сейчас с письменным обвинением против нее?

Он взглянул на подписи, на подпись женевца де Беза; затем прочел отдельные фразы и наконец отступил перед неоспоримой истиной. Наиболее влиятельные члены консистории подтверждали от имени протестантской церкви, что брак этот действительно незаконный. Обе стороны обручились в присутствии двух-трех свидетелей; как говорят обычно, они вступили в брак чести, а на самом деле в брак против чести. Добрые нравы были попраны, брак состоялся без ведома и признания церкви — больше того, настоятельными пожеланиями церкви и ее советами пренебрегли. Пасторы потребовали именем божием, чтобы до официального узаконения брака супруги не виделись, а если уж нельзя этого избежать, то лишь изредка, и оставались вместе самое большее два-три дня: даже и так они будут только служить соблазном, которого не должны допускать, если не хотят навлечь на себя гнев господень. В случае неподчинения придется обе стороны заслуженно и по справедливости отлучить от святого причастия.

Так тут и было написано. Королеве Жанне грозила высшим наказанием та самая религия, которой она принесла в жертву все: покой, счастье, свои силы и самое жизнь. «Если же зло умножится, от чего да сохранит нас господь бог, то вынуждена будет и церковь прибегнуть к крайним мерам. Ибо столь великий соблазн не может быть допущен церковью божией…»

Следовали подписи, и, конечно, все они были подлинные. Достаточно запросить кого следует, и это будет установлено. Но у сына провинившейся Жанны не было никакой охоты оказывать пасторам честь таким запросом. Ведь они действовали, исходя из чисто житейских предрассудков, а вовсе не творя волю господа бога — таково было его впечатление, самое первое, и таким оно осталось навсегда. Эти духовные особы говорили: «добрые нравы», «соблазн», «законный брак» — все слова, не имеющие никакого отношения к духу. Наоборот, они лишь утверждают право людей в общежитии следить и шпионить друг за другом, осуждать друг друга и оправдывать, а главное — отдавать нашу личность во власть некоей деспотической общины. «Нам даже любить не разрешается без надзора, — думал с негодованием сын столь сурово наказанной Жанны. — Одно утешение, что и умирать нам приходится с большим шумом и у всех на глазах!» Но лицо Генриха не отразило его мыслей: он научился скрытности еще в замке Лувр, и ему чудилось, что он опять находится там. Вокруг него уже не веяло воздухом свободы — с той минуты, как он узнал о суровой каре, постигшей его дорогую мать только за то, что она полюбила. Он протянул документы Морнею.

— Оставьте это у себя! Или верните туда, откуда взяли.

— Эти бумаги находились в руках пастора Мерлена, который был при нашей почитаемой королеве в ее последний час, — сказал Морней. — Покойная королева поручила ему отдать их мне, чтобы не прочли ее дети.

— Теперь я их прочел, — только и ответил Генрих.

Морней с трудом перевел дыхание, затем сказал голосом, словно чужим от внутренних усилий: — Королева созналась своему духовнику, что больше не в силах блюсти воздержание, после чего он тайно соединил ее с графом Гойоном. Он знал, что это не настоящее венчание, но сжалился над ней.

— Морней! — воскликнул Генрих также с мучительным напряжением. Затем последовало лишь беззвучное бормотание, словно бы вырвавшееся из

его истерзанной души. — Вы в самом деле ворон — ворон в белом чепце. Ваша повязка и ваша рана защищают вас от меня, и вам это известно. Я ведь безоружен перед тем, кто еще вчера ради меня подставил голову под пулю, и вы этим злоупотребляете. Я принужден выслушать от вас, что моя мать была распутна так же, как распутен и я, и что я пойду по той же дорожке. Вот что вы задумали на тот случай, если я не буду вам покорен. Ворон! Вестник несчастья! — вдруг закричал он, круто повернулся и удалился большими шагами. Голова его была опущена, и слезы падали на песок.

Затем наступил такой период, когда они с Морнеем ничего друг о друге не знали. Король ехал захватывать какой-нибудь непокорный городок, но своего посла не брал с собой. Однако даже среди трудов и битв, в которых Генрих искал забвения от тайных душевных мук, его одолевали думы. Ей минуло уже сорок три, а она все еще была не в силах блюсти воздержание. «Пулю!» — требовал сын королевы Жанны. Ее веселый сын требовал, чтобы в жарком бою его сразила пуля и сократила срок, в течение которого ему еще предстоит унижаться, как унижалась его мать. Но когда он все-таки выходил из жаркого боя цел и невредим, он смеялся, и радовался, и отпускал ему одному понятные шутки насчет его праведной матери, все же взявшей от жизни свою долю радостей.

У Генриха была потребность в постоянном передвижении, потому что, где бы король ни задерживался, он тотчас узнавал самое скверное — странно, что до сих пор он никогда не обращал внимания на эти зловещие слухи. А в народе рассказывали, что делала королева Жанна с теми, кто ей противился. Либо становись протестантом, либо бесследно исчезнешь в подземельях ее замка в По. Генрих видел эти подземелья, И тут же рядом пировали. Его мать была жестока во имя истинной веры; а так как она к тому же еще твердо решила сохранить в тайне свой брак, то, вероятно, пользовалась этими подземельями, чтобы зажать рот знавшим слишком много. И постепенно совсем другой образ возникал перед сыном, в котором жизнь матери

продолжалась. Он вспомнил, как однажды ему пророчески предстали ее так странно изменившиеся мертвые черты, — в тот день, когда последний посланец принес от нее последнюю весть. Ведь мертвые продолжают жить: они только изменяют свой вид. Они остаются подле нас, как быстро мы ми скачем, и вдруг являют нам совсем новое лицо: ты узнаешь меня? Да, мама.

Он не мог не признать, что она выросла в его глазах. Это была его первая мысль, вспыхнувшая в то мгновение, когда он узнал о ее тайном браке. Но только сейчас мысль приобрела четкую форму. Жанна действительно выросла благодаря этим нагроможденным вокруг нее чужим судьбам, но осталась, как и прежде, праведной, мужественной и чистой. И умерла она за все это, включая и свою позднюю страсть. Хороша та смерть, которая подтверждает нашу жизнь. «Господин де Гойон, вы живы?» — так воскликнул некогда Генрих после Варфоломеевской ночи, впервые встретившись в большой зале Лувра с убийцами. В бессильной ярости призывал он тогда мертвецов, точно они здесь присутствовали: «Господин де Гойон, вы живы?», — а тот уже не находился среди живых. Он не был в большой зале, он лежал на дне колодца и стал пищей для воронья. И лишь сегодня он воскрес, как один из тех, кто знал его мать.

Однако и у Морнея иной раз душа была не на месте. Он раскаивался в том, что причинил боль своему королю, сомневался даже, нужно ли это было. Оказалось, что недостойная и опасная история с мельничихой продолжается, а ведь как раз она-то и послужила для Морнея последним толчком, заставившим его открыть тяжелую тайну. Тревожило его и то обстоятельство, что король теперь осведомлен о существовании брата, которого, однако, признать не может: это противоречило бы религиозной практике и нарушило бы общепринятый порядок. И Морней упрекал себя за то, что при таком положении вещей решился потревожить тень графа де Гойона. Генрих же, наоборот, был готов благодарить его за прямоту. И вот, растроганные, хоть и под влиянием различных чувств, они в один прекрасный день снова

заключили друг друга в объятия — это случилось неожиданно и без слов, которые только помешали бы.

Мельница

И вот Генрих едет на свою мельницу. Как часто совершает он этот путь один, без провожатых, сначала по берегу реки Гаронны, мимо старинного городка, потом в сторону! Он задевает за ветки деревьев, подковы его коня тонут в опавших листьях. На опушке рощи он останавливается и вглядывается в свою мельницу: не видно ли мельника там на холме, обдуваемом ветрами? Как хорошо, если б тот уехал куда-нибудь в своей телеге! Генрих жаждет остаться наедине с его женой. Впрочем, он имеет право приехать когда вздумается. Ведь мельник из Барбасты — это же он сам, всякий знает. И хоть арендатор, кажется, и не слишком хитер, а все-таки этот неотесанный увалень переехал сюда с молоденькой, хорошенькой женой. Он знает своего государя и за аренду у него в долгу. Расплатиться он мог бы молоденькой, хорошенькой женой, но прикасаться к ней государю не дозволено. Муж ревнив, как турок.

Легенда о мельнике из Барбасты живет в народе. Пожилые и простодушные люди действительно верят в то, что он собственноручно запускает крылья и собирает муку, которая бежит из-под жернова. На самом деле он не завязал до сих пор ни одного мешка. Это делает арендатор, и жену он тоже скрутил крепко-накрепко. Король и супруг отлично понимают друг друга; каждый знает, чего хочет другой, каждый осторожен и все время начеку. Это их сблизило. Когда бы король ни заехал, арендатор уговаривает его остаться откушать. Не жена дерзает на это, а муж. Он отлично сознает преимущества своего положения, этот коренастый малый, владелец соблазнительной женщины, однако ему еще никак не удается в полной мере

воспользоваться ими. Но пусть только король попадется.

Нынче Генрих долго ждет на опушке, где на него падает тень; с мельницы его не видно. Ее крылья вертятся — и все-таки в слуховом оконце ни разу не показалось широкое, белое от муки лицо арендатора, окидывающего взглядом окрестность. А вот и жена! Она высовывает голову, всматривается в даль, щурится, ничего не видит, и все же на лице ее вдруг появляется лукавое и вместе с тем боязливое выражение. Что бы это значило? Мука на ее щеках очень идет к ее темным глазам, и она такая стройная. «Мадлон!» Он спокойно может называть ее имя, они далеко друг от друга, крылья мельницы хлопают, ей не услышать. Только сейчас она вздрагивает — его конь заржал; и перед тем, как отойти от окна, она делает знак в сторону опушки, как бы говоря: «Иди! Я одна!»

Генрих привязывает лошадь, взбирается на холм, обходит его кругом, высматривая, не покажется ли где-нибудь арендатор. Наконец он входит в мельницу. Большая мукомольня перед ним как на ладони. У двух стен штабелями сложены мешки. Подле третьей работают жернова. А от четвертой, посвистывая, дует ветер, когда сквозняк приоткрывает дверь. Мельничиха быстро оборачивается: она сыпала зерно или притворяется, что сыплет. Косынка сползла с ее шеи, и груди холмиками светлой плоти торопливо поднимаются и опускаются от дыхания женщины, захваченной врасплох. — Мой государь, — говорит она и преклоняет колено, с достоинством подбирая юбку. Это уже не крестьянка, она понимает, что такое ирония, как только появляется Генрих, заговаривает книжным языком, и ее уже не заставишь выражаться проще. Это одна из хитростей, какими она его привлекает.

— Мадлон, — сказал Генрих радостно и нетерпеливо. — Твой страж заснул в каком-нибудь кабаке. У нас есть время. Давай, я завяжу тебе платок. — Вместо этого он ловко расстегнул ей платье. Она не противилась, но повторяла: — У нас же есть время, зачем вы так спешите, мой государь?

Когда вы получите то, чего хотите, вы сядете на коня, и поминай как звали, а я себе все глаза выплачу по вас. Я так люблю ваше общество, оттого что вы хорошо говорите, — добавила она, и хотя выражение лица оставалось почтительным, в узких глазах притаилось больше насмешливости, чем у супруги какого-нибудь маршала.

В этот миг Генрих преклонялся в образе мельничихи перед всем женским полом; поэтому совсем не обратил внимание на то, что она делает. Возле сложенных у стены мешков с мукой она положила еще два, так что получилось нечто вроде сиденья, а при желании — и ложа. Она на него опустилась и поманила к себе Генриха, оказавшись, таким образом, хозяйкой положения.

— Мой друг, — сказала мельничиха, — теперь мы могли бы сейчас же перейти к любовным утехам; но это такое занятие, при котором я не желаю, чтобы меня прерывали. А в это время дня люди уж непременно зайдут на мельницу. Что до кабака, то если даже там кто-нибудь и заснул, так ведь оттуда до нас нет тысячи шагов и спящий может вдруг проснуться. — Прекрасная мельничиха говорила звонким и ровным голосом, без всякого смущения, хотя Генрих старался тем временем совлечь с нее юбку, в чем и преуспел… Казалось, все это происходит вовсе не с нею. Она же была как будто поглощена только своими заботами и соображениями, обхватила округлой рукой его плечо, чтобы он внимательнее слушал, и наконец перешла к главному.

— Я хочу, чтобы мы в ближайшее время провели вместе целый день, с самого утра и до вечера, и подарили друг другу всевозможные любовные радости и удовольствия, но так, чтобы никто посторонний или непрошеный не испортил нам самые приятные минуты. Ты ведь того же мнения, дружок?

— Насколько я понимаю твои назидания… — проговорил он и попытался ее опрокинуть навзничь, не замечая, что рука, нежно его обнимавшая, служила ей и для защиты. Так как ему пришлось отказаться от

своего намерения, он рассмеялся и вернулся к тому, что она говорила: — Значит, нужно на один день убрать отсюда твоего мужа? Ведь верно, очаровательная Мадлон? Если таково твое намерение, так… и выполняй его! Лишь ты одна можешь это сделать.

— То-то и есть, что не могу, государь. Скорее ты один. — После чего принялась объяснять, как именно это нужно, сделать. — Только ваши ведомства, сир, могут задержать мельника на целый день.

— Ты хочешь сказать: засадить?

Нет, она хотела сказать не это. Нужно составить документы, всесторонне обсудить их, несколько раз давать писцам на переделку, и только под вечер обе стороны наконец их подпишут. Обе стороны? Ну да, ведь одна сторона — это Мишо, арендатор мельницы. — А другая? — Женщина помолчала, вглядываясь узкими глазками в своего молодого короля и стараясь понять, угадает ли он. Ведь мужчины такие дуралеи, когда у них на уме совсем другое. — А вторая сторона — вы сами, сир, — наконец, заявила она, словно открывая ему тайну, понизила голос и кротко кивнула — из жалости к его душевному состоянию. — Ваш нотариус составит вместо вас главные документы, а мы тут будем покамест наслаждаться изо всех сил.

Последние слова она снова произнесла громче, и притом с оттенком блаженного ожидания, хотя в этом блаженстве сквозила тихая насмешка. И тут он вдруг сразу понял все: его намеревались обобрать. В предполагаемых документах должно было быть сказано, что право на владение мельницей он переуступает простодушному супругу. Такова цена этой женщины, и она будет любить добросовестно; Мишо напрасно надеялся избежать рогов при этакой сделке. «Ибо ей хочется получить все: и мельницу, и любовь, а главное — одержать победу над обоими мужчинами», — думал Генрих.

— Я понял, — сказал он только; и в эту минуту он не требовал от Мадлон ничего, кроме того, что она сама ему уже дала: женской хитрости, которая так изобретательна, искусства обещаний, увертливости и

неумолимости ее сладостного сердца.

А в следующее мгновение он подумал: «Мошенница, это тебе не удастся!» — и решительно повалил ее. Но она сейчас же крикнула: «Мишо!» Один из сложенных у стены мешков вдруг выдвинулся вперед, из-за него вылез арендатор и, как медведь, навалился на Генриха. Чтобы сбросить с себя эту тяжесть, Генриху понадобилась поистине не меньшая увертливость, чем мельничихе, когда она старалась прибрать его к рукам. Она же следила за гостем с искренним восхищением знатока, предоставив мужа его участи.

Так как государь уже благополучно встал на ноги и отскочил от арендатора, этот увалень загнулся и своей толстой башкой вознамерился ударить короля в живот. Но увалень был брошен наземь, и Генрих властно крикнул: «Мишо!», — однако он опоздал. Лоб у арендатора посинел и распух, и олух, казалось, близок к апоплексическому удару. Вцепившись в руку своего государя, он поднялся с полу, продолжая, однако, крепко держать ее. Генрих и не противился: только бы этот болван успокоился и дело не кончилось скандалом. Поэтому Генрих дал мельнику тащить себя, куда тому хотелось. А Мишо, спотыкаясь, топтался по мукомольне в слепой ярости, впрочем, ярость эта, возможно, была уже не так слепа, как представлялось Генриху, ибо они вдруг очутились у края глубокого сруба, в котором вращался мельничный винт.

Чуть не сделав последний шаг, Генрих понял намерение арендатора и пинком отбросил его от себя. — Иначе все было бы кончено. Арендатор толкнул бы его в колодец, и руку до плеча затянуло бы железным винтом.

Ужас разнообразен в своих проявлениях. Арендатор Мишо валяется в ногах у короля и тихонько воет — это напоминает далекий рев осла. Притом он время от времени вывертывает шею, желая убедиться, что король действительно цел и невредим, а затем снова начинается валяние в ногах и вытье. Лицо Мадлон стало белее муки, голова у нее трясется, как у старухи, мельничиха опустилась на колени; она старается молитвенно сложить

воздетые руки, но они слишком сильно дрожат.

Чувствуя, что его трясет ледяной озноб, и все-таки звонко смеясь, покидает Генрих эту пару, выбирается с мельницы, бежит, хохочет, стряхивает с себя муку, стряхивает приключение. Бывают в жизни такие происшествия, которым надлежит остаться в нашей памяти столь же сумбурными и внезапными, какими они были в действительности; особенно же враждебные нападения на войне и в любви. Довольно бесславно, но зато отделавшись только страхом, вскакиваешь на коня и даешь ему шпоры. В стране ведь есть великое множество мельниц и пропасть мельничих. Эта мельница меня так скоро не увидит. А если как-нибудь все-таки проехать мимо?

Новая картина. Мельник Мишо принимает за своим столом короля, король уже состарился, у него седая борода и шляпа с пером. Ему повсюду предшествует молва о его бесчисленных битвах за королевство. Ему сопутствуют все его легендарные любовные истории с дочерьми народа. Пять человек сидят вокруг стола, все угощаются из большой глиняной миски, перед каждым — ломти хлеба и кружка с вином. Уже вечер, и от сквозняков, гуляющих по мельнице, колышутся над головами четыре огонька, горящие на носиках лампы. Позади стоит темнота, свет падает сидящим на грудь, мягко и вкрадчиво выхватывает из мрака фигуры людей.

Король слегка оперся на стол и держит в руке стакан. Все четверо держат стаканы — кроме мельничихи.

Вот сидит она, уже немолодая, наклонившись вперед, погрузившись в воспоминания, и не сводит глаз со своего короля, который мечтательно смотрит вдаль, хотя сидят они друг против друга несколько в стороне от остальных, на одном конце стола. Поодаль от них двое молодых людей — дочь и работник мельника, они чокаются, и их взгляды самозабвенно и благоговейно сливаются. Последним поднимает свой стакан мельник, сидящий на том конце стола; он размахивает шляпой и поет песню о галантном короле. Мишо уже седой, преданно смотрит он на своего короля и

ободряюще поет ему, ибо твердо знает, что король любит народ и всех дочерей народа.

И песня дает молодой паре еще раз почувствовать всю силу их любви, а тем двум, что уже состарились, мучительно и радостно просветляет воспоминания. Король, слегка наклонившись и подставив ухо, улыбается, как тот, для кого все лучшее уже позади. Мадлон тех прошлых дней, только ты это поймешь! Разве не было тогда хорошо и радостно, несмотря на коварное нападение мельника? Вы обе, наверно, это испытали. Во всяком случае, Флеретта — чистый рассвет, роса и цветок — позднее не узнала своего возлюбленного, а теперь ее уж давно нет в живых.

Враг

Случай на мельнице стал так же широко известен по всей стране, как и история на бале в Ажене. В прошлый раз губернатор решил, что виновник всех этих пересудов — его наместник; наместника обвинял он и теперь. Однако Бирон перещеголял своего предшественника. Сама мельничиха, вероятно, молчала. Но муж мог напиться и все выболтать; странно было только одно: та обстоятельность, с какой было использовано его признание. Мельника судил суд в Ажене, в том же городе, в котором произошел и первый скандал. Губернатор охотно бы не дал суду допрашивать арендатора; однако перед носом у его людей ворота захлопнулись, а на стене расхаживали защитники города.

В тот день маршала Бирона не было в Ажене: он не стал бы действовать столь открыто. Обычно он избегал того города, который запирал перед губернатором ворота, а число таких городов все увеличивалось. Он не отдавал никаких определенных приказаний. И Генрих едва ли мог бы обвинить наместника в том вооруженном нападении, которое стоило ему

самому подметки, а господину де Морнею — куска кожи на голове и прядки волос. Но маршал Бирон был мастером интриги, причем сам умел очень ловко оставаться в тени — способность, довольно необычная для человека вспыльчивого. Он много читал; быть может, коварству его научили книги, хотя другие благодаря чтению скорее сохраняют душевную чистоту. Как бы там ни было, но он постарался создать губернатору худую славу и не только в смысле его любовных связей. Ходили слухи, что хотя Генрих и совращает женщин, но главное — покушается на жизнь мужчин. И не один дворянин перестал доверять ему; среди них были и те, чью жизнь и имущество Генрих защищал от убийц и поджигателей. Ведь человека нравственно распущенного легко обвинить и в отсутствии справедливости, хотя в этом деле заслуги губернатора перед его страной были очень велики.

И Генрих не мог не видеть, что его почитают все меньше, не только из-за его любовных похождений, но и как правителя и военачальника. Еще немного, и он опустится до уровня князя, не имеющего ни веса, ни величия, — только имя и титул. И тогда всю власть заберет в свои руки Бирон. В провинции Гиеннь он уже достиг ее, Генриху до сих пор не удавалось овладеть городом Бордо. Наместник со своими многочисленными рейтарами и ландскнехтами позволял себе иной раз даже вторгаться в королевство Наваррское. И вот Генрих сидел в своем замке в Нераке, как затравленный зверь. Он даже не созывал свой тайный совет из страха выказать слишком сильную ярость, а тем самым и обнаружить свою слабость. В те дни старые друзья оказывали ему особенно неоценимые услуги; им Генрих мог по крайней мере довериться во всем и открыть свою душу, даже свой бессильный гнев и тщетные планы мести; даже лить слезы отчаяния позволял он себе перед ними.

Однажды вечером они сошлись вместе, и каждый из них вел себя согласно своему характеру. Дю Барта гремел в беспредметном гневе, Агриппа д’Обинье уверял, что самое простое — это возобновить войну с французским

двором. Но ведь и так было ясно, что поведение Бирона объясняется лишь тем, что его поддерживают при дворе. Не случайно король Франции засылал к Генриху послов, призывая его опять вернуться в лоно католицизма. И еще прозрачнее было выражено требование, чтобы он явился ко двору и сам забрал оттуда королеву Наваррскую. — Сир! Чует мое сердце, что тогда мы вас здесь увидим не скоро! — Агриппа сказал это очень кстати. Этих немногих слов было достаточно, чтобы перед Генрихом сразу возникли былые опасности Лувра и мадам Екатерина, склоняющая над своим костылем зловещее лицо. От таких воспоминаний ужас и возмущение неудержимо росли, и Генрих скоро бы дошел до того, что приказал выступать. Во главе своих войск он двинулся бы на своего наместника. Но уже в пути протрубил бы отбой, ибо к нему успел бы вернуться присущий ему здравый смысл. Он удержался от столь ложного шага, хотя дю Барта горячо настаивал, ссылаясь на слепоту и испорченность человеческой природы. Тут заговорил Филипп Морней:

— Сир! У вас есть враг — это маршал Бирон. Не спрашивайте, чьим приказом он руководствуется или хотя бы прикрывается. Почему, восстанавливая против нас короля Франции, он будет здесь действовать иначе и не восстанавливать мелких землевладельцев? Он клевещет на вас, он старается очернить вас в глазах крестьян и королей, ибо жаждет вытеснить вас из этой провинции и остаться в ней полновластным повелителем. Но вы, сир, видите перед собою все королевство. А такой Бирон ничего не видит дальше своей провинции. И на этом вы должны его поймать, побить его тут собственным оружием!

— Я сделаю из него посмешище! — воскликнул Генрих. — И как мне могло прийти в голову объявить ему войну!

Он взял Морнея под руку, вывел в открытую галерею и повторил, как всегда крупно и, быстро шагая: — Вот у меня и опять есть враг! — При этом он думал о мадам Екатерине, своем старом враге. Морней заявил:

— Мы неизбежно встречаемся с тем врагом, которого нам посылают небеса, и это всегда бывает именно тот враг, который нам нужен. — Так обычно говорят друзья, но от этого нам не легче.

— Ну и враг! — воскликнул Генрих. — Разрубить собственной лошади морду! Да еще хромает!

— Маршал не только хитер, — продолжал Морней, — он и любопытен: вечно носит с собой аспидную доску и, что услышит, сейчас же записывает.

— Он хромает и сильно пьет, — сказал Генрих, — и печень у него больная, скулы на лице так и торчат. Ребятишки убегают от него, когда он взглянет на них невзначай своими недобрыми глазами. Ему только детей пугать, он старик — пятьдесят лет, не меньше. Да, Морней, наградили меня небеса врагом, я все-таки заслужил получше.

— Надо быть благодарным и за такого, — отозвался Морней, и они расстались.

Губернатор тут же начал странную войну против своего наместника. Куда бы тот ни приехал, за обедом и ужином велся счет выпитым бутылкам, особенно же тем, которые он опустошал между двумя трапезами. Губернатор неустанно заботился о том, чтобы в стране стало широко известно, какой охотник до вина маршал Бирон. И вот вскоре люди уже сами стали добавлять, что маршал-де провалялся всю ночь в шинке у большой дороги, ибо находился в таком состоянии, что добраться до города никак не мог. Эти слухи и позорные подробности восстановили против наместника прежде всего дворянскую молодежь, ибо она уже не пила без меры: только у старшего поколения сохранилась эта привычка. Молодые люди поступали, как Генрих: свой завтрак и обед они запивали большим стаканом вина. Если Генрих посещал хижину крестьянина, он прежде всего собственноручно нацеживал себе кубок вина из бочонка; но делал это не столько от жажды, сколько ради своей популярности в народе. Бедняки никогда не видели, чтобы он был в подпитии, и на этом основании решили, что губернатор крепче их,

хотя они с утра до ночи только и думали о том, как бы перехватить стаканчик. Поэтому они и смотрели сквозь пальцы, если одна из их дочерей рожала от него ребенка.

С тех пор как вышли из обычаев пиры, дворянская молодежь предпочитала распутничать, вообразив, что ей удалось заменить пьянство более утонченными удовольствиями. Молодые люди уверяли, что хотя и то и другое называется пороком, но распутство предпочтительнее, ибо в нем участвует не только тело, но и дух, так как, чтобы распутничать, нужны храбрость и сообразительность. Пьянство же — порок самый низменный и грубый, чисто земной и плотский, от него рассудок тупеет, да и другие способности угасают. Бирон корит губернатора только за то, на что сам уже не способен. А если он мастер выпить, так этим могут похваляться разве что его немецкие рейтары!

Бирон заносил такие разговоры на свою аспидную доску и, объезжая замки, отвечал, что все его поколение было-де столь же добродетельным, как и он сам, да, он женился, будучи непорочным. И хотя такие разговоры происходили обычно после обеда, он в подкрепление своих слов обходил вокруг стола на руках. Если кто вглядывался попристальнее, то замечал, что Бирон опирается даже не на ладони, а всего лишь на большие пальцы. Он ссылался не только на свои силы, которые ему удалось сберечь, но главным образом на слова Платона. Ибо сей греческий мудрец запрещает детям вино до восемнадцати лет, до сорока же никому не следует напиваться. После сорока он считает это простительным, полагая, что с помощью вина бог Дионис возвращает стареющим мужчинам их былую жизнерадостность и доброе расположение духа, так что они даже решаются снова танцевать. Бирон и в самом деле повел хозяйку в танце, что, однако, не помешало ему несколько позднее оставить замок, кипя страшным гневом.

Генрих, который обо всем узнавал, готов был пожалеть чудака. Он привык так много размышлять о своих врагах, что доходил чуть не до любви

к ним. Однако враг относился к этому иначе. На попытки Генриха оказать ему дружеское внимание маршал отвечал не грубостями, но колкостями. Стараясь завоевать расположение старика, Генрих посылал ему отличные книги, которые печатались по его специальному заказу. Печатник короля Луи Рабье был осведомлен о последних усовершенствованиях в его искусстве. Вопреки желанию города Монтобана, с которым Рабье был связан обязательством, губернатор взял его к себе на службу, подарил дом и пятьсот ливров; за это искусный мастер напечатал ему Плутарха — этот древний учебник укрепления воли. Генрих послал маршалу также речи Цицерона — огромный и роскошный том, переплетенный в кожу с тисненным золотом гербом Наварры.

Маршал даже не поверил, что столь редкостная и драгоценная книга посылается ему в подарок, или притворился, что не верит. И отправил книгу обратно, вежливо поблагодарив. Когда Генрих раскрыл ее, он увидел, что одно место подчеркнуто, только одно. Это был перевод из Платона: «Difficillimum autem est in omni conqusitione rationis exordium»[2], то есть просто: труднее всего начать. А посланное врагом, который был старше, это место могло иметь и такой смысл: «Что ты лезешь, проклятый молокосос!»

Генрих, недолго думая, приказывает запаковать еще одну из своих прекрасных книг — трактат о хирургии, и в нем тоже кое-что подчеркивает, а, именно — цитату из поэта Лукреция. Там в латинских стихах сказано следующее:

Все ближе, ближе мы к могиле.
Придет конец здоровью, силе.
Не знает жалости судьба.

Прочитав эти строки, Бирон выходит из себя и теряет всякое чувство меры. При первом же удобном случае он посылает губернатору отрывок из

поэта Марциала, где говорится о волосатости тела. У самого Бирона тело было безволосое и желтое, как у тех, кто страдает печенью. Кого же он хотел уязвить упоминанием о волосатых конечностях? Генрих понял, что миром этого врага не возьмешь: борьбы не избежать. Пользуясь строками еще одной книги, он опять отправил ему послание — на этот раз губернатор говорил устами Ювенала: «Nec facilis victoria de madidis…»

Хотя они потоплены в бокале
И власть вина они теперь познали,
Не думай, что победы ты достиг.

Это была все еще любезность и последняя попытка прийти к какому-то соглашению с наместником. Если они, и тот и другой, в своих намерениях честны — велел передать наместнику губернатор, — то должны доказать это, служа здесь, в провинции Гиеннь, королю Франции с полным единодушием. Вместо ответа маршал Бирон засел в Бордо и укрепил его. А затем стал усиленно распространять слухи, что при первом же случае поймает короля Наваррского и отправит в Париж, где его, мол, ждут с нетерпением, особенно же мадам Екатерина, которая прямо изнывает от тоски по своему дорогому зятю! Однако этого Бирону разглашать не следовало. Генрих заявил, что его враг — просто-напросто хвастун, однако приказал по всей стране ловить его курьеров; даже на самых глухих проселках не должен был проскочить ни один.

И многих переловили, потому что ехали они один за другим. У одного ничего не нашли, кроме сообщения об имевшем место состязании между латинскими поэтами; Бирон изобразил его в виде государственной измены, которую он успешно обнаружил. Хотя стихи и были направлены против маршала, якобы оттого, что он верен королю Франции, — однако утверждалось, что они допускают двоякое толкование: «Придет конец

здоровью, силе» могло быть столь же успешно отнесено и к французскому двору. Даже к королю и его дому!

За гонцом, который должен был доставить всего-навсего эту критическую интерпретацию, через несколько часов последовал другой, и поставленная перед ним задача оказалась яснее: теперь речь шла не о красотах стиля, а о нападениях разбойников на больших дорогах, о насилиях, поджогах и убийствах, и во всем этом, гласило донесение, был повинен король Наваррский. Он готов погубить целую королевскую провинцию, чтобы легче завладеть ею. Так писал Бирон; на самом деле он сам совершал все эти злодеяния; и когда Генрих прочел письмо, он увидел совсем в ином свете истинные цели, которые преследовал наместник. Теперь он отнесся к этому человеку гораздо серьезнее. Шутить уже не время. Пора действовать, и нужно ударить так, чтобы Бирон основательно струхнул, это будет ему полезно. Может быть, он тогда на время угомонится. — А когда все минет, мы опять от души посмеемся.

В ответ на эти слова своего государя Агриппа д’Обинье заявил: — А почему бы и не в то время, как мы будем действовать? У меня возникла одна еще неясная мысль… — пробормотал он в сторону. А Генрих решил про себя, что пока враг сидит в неприступной крепости и замышляет вылазки, смешного тут мало. В этот же день ему удалось перехватить еще одного бироновского курьера, и найденное при нем письмо оказалось решающим. Наместник действительно давал королеве обещание поймать короля Наваррского. За его выдачу маршал Бирон требовал себе в личное владение несколько городов — как в провинции Гиеннь, так и в земле Беарн.

Генрих испугался всерьез. Он сидел на краю канавы, небо насупилось, ни окрестности, ни обычные убежища здесь, на родине, уже не сулили ему безопасности, враг угрожал не на шутку. Иметь врага не худо, когда знаешь, кто он: едешь навстречу и бьешь его, первый страх скоро проходит. Но худо, когда вдруг открываются его тайные козни и тебе прямо в лицо дохнет

пропасть, о близости которой ты и не подозревал. А из расселины уже поднимаются удушливые испарения. Глотаешь их, и хочется блевать. — Бирон вымогает у них мои города, — повторял молодой король, сидя на краю канавы.

Когда он поднял голову, то встретился взором с захваченным курьером: тот стоял перед ним, его ноги были связаны.

— Ты же гугенот, — сказал Генрих. Гонец ответил: — Маршал Бирон не знает об этом.

Генрих внимательно посмотрел на него, затем повернул руку ладонью кверху, как человек, у которого нет иного выбора: — Ты ведь согласен и готов предать в мои руки своего господина ради истинной веры? Ты привезешь ему сообщение, и пусть думает, что ты вернулся из Парижа. На самом деле до того дня, когда ты мог бы уж вернуться обратно, ты просидишь в подземелье моего замка в Нераке, и там тебе будет несладко.

Однако парнишка ничуть не испугался и даже мужественно выдержал последовавшие за этим оскорбления. Губернатор стал высчитывать, во сколько обойдется его предательство, если перевести на деньги. Они и будут впоследствии выплачены ему Счетной палатой в По. Потом Генрих ускакал; о подземелье он позабыл, парень был свободен. Но с той минуты он попал под надзор: следили, куда он идет, с кем встречается. А он прятался и хранил молчание, так что в конце концов ему стали доверять. И вот гонец с пустыми руками и одной-единственной фразой, которую должен произнести, снова предстал перед Бироном.

В результате этой фразы маршал действительно отправился к некоей уединенно стоявшей мызе, которая называлась «Кастера», оставил свою маленькую свиту возле кустов и поехал совсем один по степи. Трава в степи поблекла, над ней мчались серые тучи. Маршал любил ветер, поэтому был без шляпы, не надел он и плаща, так как вино его разгорячило. Сидя на своей кляче, такой же костлявой, как и он сам, Бирон хоть и покачивался из стороны

в сторону, но падать не падал. Это было всем известно. Те, кто видел его, узнавали по желтой лысине и жесткому взгляду: скелет на шарнирах, постукивающий костями. Буря, степь и — смерть на коне. Тут уж стало не до смеха людям, которых губернатор попрятал неподалеку от дома. Маршал угодил в западню, как того и заслуживал. Если бы он даже повернул теперь коня и поскакал прочь, ничто уже не могло бы его спасти. И вот маршала отделяют всего несколько сот шагов от этого дома, который стоит так уединенно, на голом месте, а под самой крышей виднеется узкий балкончик.

На балконе появляется что-то. Маршал Бирон сейчас же осаживает лошадь, его жуть берет. Значит, предчувствие не обмануло его. Эта фигура, там, на балкончике, не вышла из дома, — слишком уж внезапно она появилась. Что же, значит, она сидела на полу? Такая высокая особа, как мадам Екатерина? Бирон видит ее совершенно ясно, винные пары никогда не затуманивают ему зрение. Ведь он отлично знает старую королеву, знает это крупное, массивное лицо под вдовьим чепцом. И голос ее слышит — его отличишь среди всех. Агриппа недаром в течение четырех лет изучал эти добродушно-зловещие интонации, он превосходно копирует их.

— Ах ты, мерзавец! — кричит он в степь одинокому всаднику. — Мерзавец, стой там, где ты есть! Что это за безобразие? Пьянствуешь да латинские стихи по всей стране рассылаешь? И за это ты надеешься прикарманить несколько городов и ограбить королевство? Король Наваррский — мой дорогой зятек, и я не стала ждать, пока ты притащишь его ко мне. Лучше, думаю, сама приеду да помирюсь с ним: ведь нет ничего легче, если я привезу с собой красивых баб! Что это еще за история была на мельнице? Где ты тогда пропадал? Вместо того чтобы его поймать, валялся пьяный в шинке?

Маршал выслушал эту странную речь до конца. Когда голос умолк, он уже все понял, выхватил пистолет и спустил курок. Но поддельная мадам Екатерина успела благополучно скрыться, и только в стене наверху чернела дыра. Бирон пришпорил было свою клячу, но в эту минуту из-за дома выехал

еще один всадник, оказалось, что это губернатор, или так называемый король — молодчик, который не прочь поиздеваться над заслуженными маршалами. Взгляд у старика становится прямо-таки железным. Стиснув зубы, он, не сознавая, что делает, поднимает пистолет. — Хорошо, что в нем уже нет пуль! — вызывающе кричит Генрих. — Вы бы так могли перестрелять весь королевский дом. Я вынужден буду сообщить королеве, что вы целились в нее, господин де Бирон.

Но тот слов не находит от ярости. Наконец он рычит: — Вы подсунули мне чучело — отвислые щеки, толстый нос из воска, а нутро набили тряпками! Но будь там даже настоящая мадам Екатерина, клянусь богом, я не пожалел бы об этом выстреле.

— Ну и герой! — подзадоривает его Генрих. — Да передо мной бог Марс собственной персоной!

— А все-таки города будут моими! — продолжает рычать маршал Бирон. — Вся провинция будет моей. Король Наварры или Франции — мне все едино, виселиц на всех хватит! — Может быть, он и правда крепко сидит в седле и уверенно смотрит в будущее; но все-таки он теряет и власть над собой и ясность мысли.

— Негодяй, ты выдал себя! — говорит над его головой знакомый жирный голос: на балкончике опять стоит мадам Екатерина и тычет в его сторону пальцем. Бирон вдруг содрогается с головы до пят, рывком повертывает лошадь, мчится прочь. Но тут отовсюду выскакивают вооруженные люди, преграждают ему путь, задерживают его и не дают приблизиться немногочисленной свите. Начавшуюся рукопашную останавливает приказ губернатора: — Оставьте, пусть удирает! Теперь мы знаем, что это за птица!

Бирон отбыл. Агриппа, наряженный старой вдовой, начинает приплясывать на балкончике, внизу ее аплодируют, неведомо откуда набежавший народ тоже пляшет. Завтра по всей стране будут рассказывать

эту историю, и вся страна будет хохотать, как и мы.

Смех — это тоже оружие. Бирон пока спрячется — на более или менее продолжительное время, а при дворе станет известно то, что нужно, но не больше: насчет балкончика мы умолчим.

Оз, или Человечность

Очередной приступ болезни лишил маршала возможности посылать курьеров в Париж. Его рвало желчью после того унижения, которому он подвергся на глазах у всей провинции и всего королевства, и ему чудилось, что даже до его постели докатывается насмешливый хохот. Хотя Генрих и умолчал об этом в своих донесениях, но при дворе было отлично известно, что маршал Бирон стрелял в изображение королевы-матери. И король Франции, которого Бирон вознамерился повесить, сначала решил вызвать его в Париж и судить в парламенте. Однако мадам Екатерина убедила своего сына, что если два его врага грызутся, то не надо им мешать. Поэтому против наместника губернатора ничего и не предприняли, а Генриху только наговорили красивых слов.

Все же, пока сбитый с толку Бирон болел, Генриху удалось отплатить ему за многие злодеяния. Губернатору пришлось, увы, допустить даже самые жестокие проявления мести — до того были разъярены его солдаты, видя зверства врагов. Но он сам и его люди представлялись не менее свирепыми тем городам, которые почему-либо сдались наместнику. И с той и с другой стороны достаточно было пустого слуха, чтобы тот, кого этот слух чернил, подвергся свирепой расправе, а она, в свою очередь, вызывала еще более суровые кары. Люди становились тем, за что их принимали, и, все больше ожесточаясь, старались превзойти друг друга в бесчеловечности.

Однажды, когда Генрих ехал из Монтобана в Лектур, ему донесли, что по

пути на него готовится нападение из засады; он тут же отправил господ де Рони и де Мейя с двадцатью пятью всадниками, чтобы они очистили опасный горный проход. Когда это было сделано, триста врагов засели в большой церкви с толстыми стенами; пришлось вести глубокий подкоп, и на эту понадобилось двое суток. Когда осажденные сдались, король Наваррский решил было шестерых из них повесить, а остальных отпустить. Однако оказалось, что в данном случае милосердным быть нельзя, ибо вдруг стало известно, что это те самые католики, которые вели себя гнусно в городе Монтобане. Они не только изнасиловали шесть молодых протестанток, но несколько извергов «начинили тела несчастных порохом», подожгли, и шесть прекрасных и благочестивых девушек были взорваны и растерзаны на куски. Поэтому означенных триста пленных безжалостно уничтожили.

Во время этой бойни Генрих поспешил уехать, он прямо бежал. Его охватывало отчаяние, так как о нем шла дурная слава и он вынужден был марать свое имя только потому, что наместник ни перед чем не останавливался. Бирон же пребывал в уверенности, что города из одного страха не откроют свои ворота перед его врагом. Справедливость губернатора и строгая дисциплинированность его войска, о которых вначале шла молва, должны были, по замыслу Бирона, перейти в жестокость; да, он избрал наилучший путь для того, чтобы имя Генриха стало столь же ненавистным, как и его. Генрих это понял и, убегая во время уничтожения трехсот пленных, решил отныне поступать иначе, чем его вынуждал заместитель.

Оз принадлежал к числу тех непокорных городков, которые и слышать не хотели ни о каком подчинении и упорно не впускали губернатора. В сущности, противились только старшины да некоторые горожане, у которых было побольше земли и на которых работала беднота. Простой люд был на стороне короля Наваррского, ведь он заходил в хижины бедняков и любил их дочерей. За это любили и его. И бедняки, наверное, открыли бы перед ним городские ворота, но не могли из-за гарнизона, который подчинялся богатым.

Сопротивление бедняков вызывало среди богатых недоверие друг к другу. Каждый заранее обеспечивал себе лазейку на случай сдачи города. Так, аптекарь говорил своему соседу-седельщику: — По секрету, сосед! Ты знаешь, кто поставляет королю Наваррскому сладости? Его аптекарь в Нераке, некий Лалан; а ведь это я продал ему рецепт.

— Сосед, — отвечал седельщик, — в точности так же обстоит дело и с кожаным футляром для королевского кубка. Футляр надо было починить, но никто не должен был знать об этом, ибо в кубок, который не находится под запором, легко можно подложить отраву. И вот придворные короля принесли этот футляр мне, — докончил седельщик уже шепотом.

Вместе с тем один намотал себе на ус секрет другого, который тот неосторожно выболтал, — на случай, если маршал Бирон успеет заявиться до того, как прибудет король Наваррский; тогда каждый, кроме него самого, будет сурово наказан. Какой-то женщине привиделся во сне ангел, он возвестил ей о прибытии маршала, и она орала об этом на весь рынок. Поэтому ее муж оказался бы в особенно опасном положении, если бы губернатор прибыл раньше. Муж был возчиком и однажды принял в уплату от деревенского трактирщика вексель господина д’Обинье. Ибо в этом трактире когда-то закусывал король Наваррский; на самый крайний случай вексель мог послужить возчику защитой.

Кое для кого городские ворота все же открывались: поэтому Генрих знал и о несогласиях среди граждан, и об их страхах. Гарнизон был невелик, после неудач Бирона он считался малонадежным. Губернатор отобрал пятнадцать дворян, которым приказал сопровождать его; поверх панцирей на них были надеты охотничья кафтаны: так легче было проникнуть в город незаметно. Но едва Генрих очутился внутри, как один из солдат крикнул: «Король Наваррский!» — и перерубил канат, удерживавший опускную решетку. В ловушке оказались пятеро: Генрих с Морнеем, господа де Батц, де Рони и де Бетюн. Тотчас забили в набат, население схватилось за оружие и стало

угрожать пятерым отважным молодым людям.

Передовой отряд горожан состоял из пятидесяти человек, король Наваррский двинулся прямо на них, держа в руке пистолет, и одновременно начал говорить, обращаясь к своим четырем дворянам: — Вперед, за мной, друзья и товарищи! — Он говорил не столько для них, сколько для добрых людей — жителей Оза, которых хотел остановить и напугать. — Вперед, за мной! Будем мужественны и решительны, ибо от этого зависит наше спасение! Следуйте за мной и делайте то же, что и я. Не стрелять! — крикнул он особенно громко и как будто все еще обращаясь к своей четверке. — Опустите пистолеты, не цельтесь! — А толпа вооруженных горожан слушала, разинув рот, складную речь этого короля, находившегося в столь великой опасности, и стояла, словно оцепенев. Два-три голоса, правда, крикнули: — Стреляйте в красную куртку! Это же король Наваррский! — Но никто еще не успел опомниться, как Генрих на всем скаку въехал в толпу. От страха она распалась на двое и отступила.

В толпе раздалось несколько ружейных и пистолетных выстрелов. Вскоре в тесной улочке началась свалка — это простой народ, любивший короля, накинулся на стрелявших. Те и слегка струсили; еще в начале схватки они вцепились друг другу в волосы, ни один не желал признаться, что стрелял именно он. Генрих спокойно ждал: очень скоро старшины, или, как они назывались, консулы, бросились ему в ноги и загнусавили, точно литанию пели:

— Сир! Мы ваши подданные, мы преданные ваши слуги. Сир! Мы ваши…

— Но вы целились в мой кафтан, — возразил Генрих.

— Сир, мы ваши…

— Кто стрелял в меня?

— Сир! — умолял его какой-то горожанин в кожаном фартуке. — Мне давали чинить кожаный футляр от вашего кубка! В заказчиков я не стреляю.

— Если уж непременно надо кого-нибудь повесить, — посоветовал другой, с перепугу набравшись смелости, — тогда вешайте, сир, только бедняков: их, по нашим временам, развелось слишком много.

Генрих во всеуслышание заявил о своем решении: — Я не отдам города на ограбление, хотя таковы правила и обычаи и вы, конечно, этого заслужили. Но пусть каждый пожертвует беднякам по десять ливров. Сейчас же ведите сюда вашего священника и вносите деньги ему!

Приволокли старика-настоятеля и попытались немедленно всю вину свалить на него. Это он-де внушил жене возчика, будто ангел с неба возвестил прибытие господина маршала Бирона, а не господина короля Наваррского, и только по дурости своей они заперли городские ворота. Они настойчиво требовали, чтобы старец искупил вину города. Если уж не их и даже не бедноту — пусть хоть одного вздернут на виселицу; жители Оза никак не хотели расстаться с этой мыслью. Генрих был вынужден решительно заявить: — Никого не повесят. И грабить тоже не будут. Но я хочу есть и пить.

Этим случаем немедленно воспользовался один трактирщик и накрыл столы на рыночной площади — для короля, для его свиты, для консулов и состоятельных граждан. Генрих потребовал, чтобы поставили стулья и для бедняков. — У них денег хватит, ведь вы же им дадите. — Бедняки не заставили себя ждать, но самому Генриху никак не удавалось добраться до своего места из-за бесконечного множества коленопреклоненных: каждый хотел удостовериться, что его жизнь и его добро останутся в целости. Других-то пощадили, а меня? А меня? Это было полное отчаяния нытье людей, которые никак не могут постичь, что же такое происходит, и глазам своим не верят, хотя и видят, что спасены; воспоминание о том, к чему они привыкли, все вновь и вновь лезет в их одуревшую голову. Да тут можно совсем потерять душевное равновесие, а без него человеку жить нельзя.

Возчик, жене которого привиделся ангел, растерянно топтался на месте и

спрашивал каждого: — Что же это такое? — Все настойчивее, чуть не плача, но жмурясь, словно ему предстало целое воинство ангелов и ослепило его, спрашивал он: — Что же это такое, что тут происходит? — И наконец какой-то коротышка-дворянин в зеленом охотничьем кафтане ответил ему:

— Это человечность. Великое новшество, при котором мы сейчас присутствуем, называется человечностью.

Возчик вытаращил глаза и вдруг узнал господина, чью долговую расписку принял в уплату от трактирщика. Он извлек ее из кармана и осведомился: — Не оплатите ли вы это, сударь? — Агриппа поморщился и повернулся спиной к своему кредитору. А возчик удалился в противоположном направлении и, потрясая руками над головой, стал повторять новое слово, которое он услышал, но никак не мог уразуметь. Оно заставило его усомниться в прочности столь привычного мира долговых обязательств и платежей: да, это слово повергло его в смертельную меланхолию. И на одной из балок своего сеновала он повесился.

А на рыночной площади пировали. Девушки, приятно обнажив руки и плечи, подавали кушанья и вино, и гости горячо их благодарили, ибо перед тем не сомневались, что для них уже настал последний час. В их разговорах мелькало новое, только что услышанное ими слово, и они произносили его вполголоса, словно это была какая-то тайна. Но они с воодушевлением пили за молодого короля, который без всякой их заслуги даровал им жизнь, пощадил их имущество да еще с ними вместе обедает. Поэтому они решили навсегда сохранить ему верность и усердно в этом клялись.

Генрих решил, что он действовал правильно и послужил своему делу. Смотрел он и на людей. И так как ему уже не нужно было завоевывать их, покорять, обманывать, он в первый раз взглянул непредвзятым взором на эти бедные человеческие лица, еще так недавно искаженные гневом и страхом, а теперь такие неудержимо счастливые. Генрих сделал знак своему другу Агриппе, ибо знал, что у того уже готова песня. Агриппа поднялся. — Тише!

— стали кричать вокруг. Наконец все затихли. Он запел и каждый стих пел дважды, причем во второй раз все подхватывали в бодром и быстром темпе псалмов:

Конец вам, христиане!
Увы! Спасенья нет.
Вы в темный век страданий,
В годину лютых бед
Поверили в людей,
Средь мрака и смертей.
Стоят повсюду плахи
И виселицы в ряд.
Рыдают люди в страхе.
Отчаянно вопят:
«Других на казнь ведите,
Меня лишь пощадите!»
И вот смешал великий князь земной
Людские добродетели с виной.
Добро ли, зло ли — все поглотит вечность.
Осанна! Воля нам возвращена.
Невинностью искуплена вина.
Виновного прощает человечность.

Высокие гости

События в Озе привели к тому, что маршал Бирон обозлился еще пуще, чем после своего поражения возле уединенной мызы «Кастера». Чтобы

укрепить свое влияние, король Наваррский применял явно недозволенные средства — наместник всегда их осуждал, — уже не говоря о том, что, по мнению старика, этому проныре не следовало бы пользоваться никаким влиянием. И теперь Бирона грызла мучительная зависть. Его письма в Париж давно были полны жалоб на популярность молодого человека и на его безнравственность. Но после захвата Оза в них слышалось прямо-таки смятение. Генрих-де пренебрег законами войны, он не стал ни грабить, ни вешать; больше того, он подрывает самые основы человеческого общества, ибо пирует за одним столом с богатыми и бедными, без разбору.

Пока в этой провинции царила лишь смута, королеве-матери было в высокой степени наплевать, но теперь она узнала из особых источников, не только через Бирона, что города, один за другим, переходят на сторону губернатора. А этого она уже допустить не могла. И она решила заявиться туда собственной особой, чтобы не случилось чего похуже.

Мадам Екатерина понимала, что должна хоть жену-то привести своему зятю. Обе королевы были в пути от второго до восемнадцатого августа, когда они наконец прибыли в Бордо, под защиту маршала Бирона. Их сопровождала целая армия дворян, секретарей, солдат, уже не говоря о неизменных фрейлинах и прекрасных придворных дамах, среди которых была и Шарлотта де Сов. Последнюю пригласили вопреки воле королевы Наваррской, но по приказу ее матери.

Следование этого пестрого поезда совершалось, как и всегда, с большой торжественностью, которую, правда, нарушали всевозможные страхи. На юге, неподалеку от океана, ждали, что вот-вот нападут гугеноты; иной раз останавливались прямо в поле — повозки, солдаты конные, пешие. Вооруженная охрана окружала кареты королев. Тревога оказывалась ложной, и все двигалось дальше с гамом и гиканьем. Зато можно было покрасоваться и блеснуть при каждой большой остановке. В городе Коньяк Марго пережила один из своих самых шумных успехов: дамы из местной знати глазели на ее

роскошные туалеты, потрясенные и ошеломленные. Над далекой провинцией взошла звезда — стыд и срам двору в Париже, который осиротел и лишился своего солнышка. Так говорил один из путешественников, некий господин де Брантом. Для него самого, конечно, было бы лучше, имей он такую же статную и мощную фигуру, как хотя бы у господ Гиза, Бюсси, Ла Моля. Маргарита ценила это выше, чем вдохновение. Ораторствовать она и сама умела: при въезде в Бордо, превратившемся в настоящий триумф, она отвечала величаво и изящно всем, кто ее приветствовал. И прежде всего — Бирону.

Помимо всех других своих должностей, он занимал пост мэра Бордо, главного города провинции; и как раз Бордо до сих пор не впускал к себе губернатора. Генрих попросту отказался встретиться там с королевами. Начались переговоры, они тянулись около двух месяцев. Наконец Генрих добился согласия на то, чтобы обе стороны встретились на уединенной мызе «Кастера» — той самой, где Бирон опозорился и вся окрестность еще была полна разговорами об этом. Маршал не решился показаться там. Генрих же прибыл в сопровождении ста пятидесяти дворян верхами, и их вид вызвал у старой королевы не только изумление, но и тревогу. Тем любовнее уверяла она зятя в своих чувствах, которые-де сплошное миролюбие. Она дошла даже до того, что назвала его наследником престола — разумеется, после смерти ее сына д’Алансона; но и он и теща отлично знали, какая всему этому цена.

Затем они сели в одну карету — бежавший пленник и убийца его матери и его друзей. И неутомимо изъяснялись друг другу в любви, пока не доехали до местечка Ла-Реоль, где можно было наконец закрыть рот и расстаться. Генрих с Марго остановились в другом доме. Теперь он уже ничего не говорил, а только смотрел отсутствующим взглядом на пламя свечей, издавая какие-то нечленораздельные звуки и совершенно позабыв о том, что за его спиной раздевается одна из прекраснейших женщин Франции. Вдруг доносится приглушенное всхлипывание, он оборачивается и видит, что полог

на кровати задернут. Он делает к ней один шаг, сейчас же отступает и проводит ночь в кресле. Успокоился Генрих только позднее, когда схватка с Бироном осталась уже позади.

Маршал не заставил себя ждать. Едва обе королевы отъехали от «Кастера» на достаточное расстояние, как он заявился при первой же остановке. Генрих не дал ему даже докончить приветствие и сразу же накинулся на него. В комнате находились обе королевы и кардинал Бурбонский, дядя Генриха, которого прихватили с собой, чтобы вызвать у короля Наваррского больше доверия. Все оцепенели от этого выступления молодого человека и настолько растерялись, что вовремя не остановили его. С первых же слов Генрих назвал маршала Бирона предателем, который заслуживает того, чтобы ему голову отрубили на Гревской площади. Затем посыпались обвинения, он предъявлял их не из зависти, это чувствовалось; он говорил от имени королевства, которое защищал, говорил уже с высоты престола; слыша это, старая королева еще больше позеленела.

Когда Бирон хотел ответить, язык ему не повиновался. Жилы на висках, казалось, вот-вот лопнут. Он хрустнул пальцами. Взгляд его выпученных глаз упал случайно на старика-кардинала. Генрих тут же воскликнул: — Все знают, что вы человек вспыльчивый, господин маршал. Конечно, вспыльчивость — хорошая отговорка. Но если, скажем, вам вздумается выбросить в окно моего дядю-кардинала, такая дерзость вам не проедет. Нет! Прогуляйтесь-ка лучше на больших пальцах вокруг стола и успокойтесь.

Теперь это уже не были речи с высоты престола, — просто острил всем известный шутник. Затем Генрих схватил руку своей Марго, поднял ее до уровня своих глаз, и оба изящной походкой вышли из комнаты.

За дверью они поцеловались, как дети. Марго сказала: — Теперь я знаю, какая у вас была цель, мой дорогой повелитель, и наконец-то я опять чувствую себя счастливой женщиной. — В ближайшее время выяснилось, что она крайне нуждалась в их воссоединении. — Если женщина одна, дорогой

Генрих, что она может сделать? Когда ты бежал из замка Лувр, ты захватил с собой половину моего разума. Я пустилась в нелепые предприятия и была глубоко унижена. — Он знал, что она разумеет: свою неудавшуюся поездку во Фландрию, гнев ее брата-короля и ее пленение. — Да, моя гордость была очень уязвлена. И когда города твоего прекрасного юга принимают меня, словно я какое-то высшее существо, мне трудно не считать себя за странствующую комедиантку.

Она зашла слишком далеко в своей печали и была столь неосмотрительна, что не удержала слез; они потекли по набеленным щекам, и Генриху пришлось осторожно снимать их губами.

Их разговоры, нежности, обоюдное умиление продолжались во многих городах. Пестрый поезд королев посетил еще немало мест; Генрих не сопровождал его, он появлялся в нем лишь между двумя охотами. Благодаря этому он избежал немало тягостных разговоров с тещей относительно совещания представителей от протестантов. Ведь свобода совести — ее кровное дело, уверяла мадам Екатерина. Она приехала сюда лишь ради одной цели — чтобы посовещаться с руководителями гугенотов относительно выполнения последнего королевского указа о свободе вероисповедания. Но Генрих знал, что такие указы на самом деле никогда не приобретают силу закона и не успеет кончиться совещание, как опять вспыхнет очередная религиозная распря. Однако некоторые из его друзей смотрели на дело иначе, особенно Морней. Поэтому Генрих согласился принять участие в выборе города. На беду, он выбирал каждый раз не тот, который намечала его дорогая теща. Лишь вечером присоединялся он к путешественникам, когда они делали привал; затем очень скоро уходил с королевой Наваррской, и так как он дарил ей счастье, то она ему многое поведала. Это давало ей душевное облегчение, а Генриху было полезно узнать то, что она открывала ему.

Ее ужасал царивший в королевстве произвол. Здесь, на юге, если сравнишь, просто мирная жизнь! Произвол и самоуправство ведут

королевство к гибели. Вместо короля всем распоряжается Лига. — Пусть мой брат-король ненавидит меня, но он остается моим братом, а я — принцессой Валуа; и чем меньше он помнит, что должен быть королем, тем меньше я имею право забывать об этом. Гизы нас свергнут, — добавила она, стиснув зубы, побледнела и стала похожа на Медею. Супруг готов был поклясться, что никогда больше не будет она спать с герцогом Гизом, разве только чтобы, как Далила, остригшая Самсона, лишить его белокурой бороды.

Пальцы Марго перебирали волосы на подбородке ее возлюбленного повелителя. Ей нравилось его лицо, которое стало серьезнее. Долго разглядывала она его, обдумывая что-то, колеблясь, и наконец изрекла:

— Ты ведешь в этой провинции незаметную жизнь. Я хочу разделить ее с тобой, мой государь и повелитель, и буду счастлива. Но некогда настанет день, и ты вспомнишь, что тебе суждена более славная участь… и… что ты должен спасти мой дом, — закончила она вдруг, к его великому изумлению.

До сих пор ее мать и братья видели в нем лишь врун а, который стремится отнять у них власть раньше, чем она достанется ему по наследству. Слияние их тел открыло глаза принцессе Валуа скорее, чем всякий иной путь, которым один человек испытует другого. Пока она была с ним, она ему доверяла, потом — уже нет. Да и как она могла доверять? Ведь именно ей было суждено отомстить за вымирание ее дома наследнику этого дома и еще раз предать Генриха до того, как наконец из всего ее рода она одна осталась в живых. Марго была бездетной, как и ее братья. Всю жизнь последняя принцесса Валуа добивалась равновесия и уверенности счастливцев, спокойных за свою судьбу; она была совершенно равнодушна к тому, что произойдет после нее. Поэтому всегда чувствовала себя неспокойно. Вместе с нею должно было кончиться нечто большее, чем она сама; и тщетно искала Марго душевного равновесия.

В городе Оше их супружеская идиллия была однажды грубо прервана. Недаром мадам Екатерина таскала за собой своих фрейлин. В одну из них

влюбился некий пожилой гугенот, весь в ранах, даже во рту у него было несколько ран, так что он едва мог говорить; и вот ради этой девчонки он уступил католикам свою крепость. Генрих сначала в почтительных выражениях довел до сведения своей дорогой тещи, какого он мнения о ее мелких подвохах. Себя он причислял к слугам короля, а старую злодейку — к тем, кто вредит королю. Выговорить это вслух — и то облегчение. Но так как старуха прикинулась, будто впервые слышит о предательстве коменданта, то Генрих вежливо простился, сел на коня и уехал, попутно захватив в виде залога еще один городок. Так эти двое дразнили друг друга, пока наконец не сошлись на том, что совещание протестантов соберется в Нераке.

Тем временем уже наступил декабрь, ветер кружил опавшие листья — неподходящее время года для торжественных выездов. Однако королева Маргарита Наваррская ехала на белом иноходце — этом коне сказочных принцесс. По правую и по левую руку от нее шли, играя, два других иноходца, золотисто-рыжий и гнедой, один — под Екатериной Бурбон, другой — под ее братом Генрихом, который пышно разоделся в честь своей супруги. У старой мадам Екатерины было не такое лицо, чтобы народ разглядывал ее на слишком близком расстоянии, особенно под этим ясным небом; она смотрела в окно кареты. Несравненная Марго, сияя спокойствием и уверенностью, слушала, как три молодые девушки что-то декламируют. Они изображали муз и в честь королевы вели между собою беседу, которую сочинил для них поэт дю Барта. Первая говорила на местном простонародном наречии, вторая — на литературном языке, третья — на языке древних. Марго поняла то, что говорилось по-латыни и по-французски, из сказанного на гасконском кое-что от нее ускользнуло. Но она чувствовала, чего именно ждет от нее собравшийся здесь народ: сняла с шеи роскошно затканный шарф и подарила его местной музе. И вот она уже покорила сердца, да и ее сердце забилось горячее.

Мадам Екатерина зорко все разглядывала в этой сельской столице. Ее

прежний королек прямо из кожи лез, чтобы принять королев и их свиту как можно лучше, насколько позволяли его средства, и угощал всем, чем только мог. По крайней мере он делал вид, что рад им. И еще непригляднее, чем всегда, показались ей протестантские представители на совещании, когда оно наконец началось. Все они, по мнению мадам Екатерины, были похожи на пасторов или на неких птиц, которых она тут не хотела даже называть. Для виду обсуждался вопрос о смешанных судах с участием заседателей-протестантов и о прощении прежних провинностей. Но, в сущности, за всеми этими переговорами стояло, как всегда, одно — гугенотские крепости. Протестанты требовали себе слишком много этих крепостей, а старая королева охотно отобрала бы у них все. Она выучила и произнесла перед своими дамами целую речь, составленную из одних библейских цитат, надеясь заморочить этим людям голову с помощью привычных для них речений. Но ее собственный облик и ходившая о ней слава были в глубоком противоречии с тем, что изрекали ее уста. И впечатление она производила очень странное.

На заседаниях протестанты не верили ни одному ее слову и сидели с упрямыми и непроницаемыми лицами, пока она не стала угрожать им виселицей. А королева Маргарита невольно расплакалась; она так искренне жаждала быть любимой, и опять ей становилась поперек дороги ее зловещая мать, которую иные находили даже комичной, особенно когда она появлялась под открытым небом и среди бела дня. В зале заседаний она сидела на высоком троне, это еще куда ни шло. Но, выйдя из дома, казалась маленьким пятнышком на фоне светлого пейзажа; она ковыляла, согнувшись над своей клюкой, и ее желтые отвислые щеки мотались; и тот, кто еще не забыл Варфоломеевской ночи — и, может быть, ни разу с тех пор не засмеялся, — начинал неудержимо хохотать, глядя на это чудовище. Да и фрейлины, в сущности, только подчеркивали ее уродство. Здесь ведь не Лувр и свет солнца почти никогда не затуманивается, он ярко озаряет оба берега Баиза и

парк «Ла Гаренн». Здесь войну ведут открыто и без коварства, так же и любят. Но старуха рассчитывала на тайные бездны пола. Старость заключает постыдный союз с пороком и становится посмешищем.

Даже самые строгие блюстители нравов среди гугенотов не порицали в те дни Генриха за то, что он путался с иными легкодоступными фрейлинами. Ведь его Марго не слишком страдала от этого, она была упоена своей новой ролью — государыни и матери народа, а также высшего существа. Главное, что Генрих попросту брал то, что ему предлагали, но натягивал нос красавицам, когда они старались увлечь его и заманить к французскому двору. А только ради этой цели и затеяли все: поездку, совещание, визит высоких гостей; только ради нее — Генрих это почуял сразу. Под конец теща была принуждена самолично выложить ему свои доводы в пользу его приезда. Ее сын-король сидит-де теперь в своем Лувре один, как перст. Его брат д'Алансон восстал против него, Гизы и их Лига подкапываются под его престол. Но не менее опасен и принц крови, если он, постепенно отдаляясь от французского двора, сделался столь силен в своей провинции. Неужели Генриху невдомек, что ведь его могут и укокошить? Это был главный козырь его дорогой тещи: она хотела застращать зятя убийцами.

Все же он не упал в ее материнские объятия, но ответствовал, что ведь при дворе еще не сдержали до сих пор ни одного обещания. Он надеется, что, оставаясь губернатором, сможет распространить отсюда мир на все королевство, о служении которому он только и помышляет. После этого они вскоре распрощались с теми же неумеренными изъявлениями любви, что и при встрече в начале высочайшего визита. А продолжался он всю зиму, пока не настал чудесный месяц май. Дочь и сын немножко проводили свою милую матушку, дальше она путешествовала одна — по скверным дорогам, по холмам и долинам, через провинцию с ненадежным населением. В одном месте старую королеву встречают девушки и осыпают ее розами, из другого ей приходится спешно улепетывать, видя неприязнь всех жителей. Тогда она

просто надвигала на лицо черную фетровую шляпу. Ведь она тоже была храбрая, все храбры; решительно пересаживалась с коня в свою колымагу и, трясясь по рытвинам и ухабам, проповедовала только мир. Но о каком мире говорила эта мать, чьи сыновья умирали один за другим?

И когда она уже меньше всего этого ждала, снова вынырнул из-за поворота ее дорогой зять. Он-де хочет в последний разок взглянуть на нее и подарить ей на память прядь своих волос. Это была густая прядь, протестанты обычно закладывают по одной такой пряди за каждое ухо. Правую он с самого начала отдал своей дорогой теще; на прощание пусть отрежет у него и левую. Все это происходит неподалеку от сельского погоста, и мадам Екатерина, расчувствовавшись, решает зайти туда. — Маловато у вас кладбище. — Она качает головой. — Разве люди живут так долго? — Перед некоторыми могилами она останавливается. Бормочет:

— Как им тут хорошо! — Люди, лежащие под землей, ей милее. Там наступит мир — наступит даже у нее в душе.

Позднее, уже будучи королем Франции, Генрих спустится в склеп Екатерины Медичи — приготовленный еще при жизни мадам Екатерины, — поглядит на ее гроб и, обернувшись к своей свите, скажет с загадочной улыбкой, смысл которой никто до конца не поймет. Он скажет: — Как ей тут хорошо!

Moralit?

Il a choisi de combattre: s’est-il bien demand? ce que combattre veut dire? C’est surtout endurer, sans les m?priser, des peines multiples, tr?s souvent perdues ou d’une port?e infirme. On ne commence pas dans la vie par livrer de grandes batailles decisives. On est d?j? heureux de se maintenir, ? la sueur de son front, tout au long d’une lutte obscure et qui chaque jour est ? recommencer. En prenant

pierre ? pierre des petites villes r?calcitrantes et une province qui se refuse, ce futur roi fait tour ? fait figure de travailleur, bien que son travail soit d'un genre sp?cial. Il lui faut vivre d'abord, et pauvre il paie en travail. C'est dire qu'il apprend a conna?tre la realit? en homme moyen. Voil? une nouveaut? considerable: le chef d'un grand royaume et qui sans lui irait en se dissociant, debute en essuyant les mis?res communes. Il a des ennemis et des amours pas toujours dignes de lui, ni les uns ni les autres, et qu'il n'aurait certainement pas en faisant le fier.

Cela pourrait tr?s bien le rendre dur et cruel, comme c'est g?n?ralement le cas pour ceux qui arrivent d'en bas. Mais justement, lui ne vient pas d'en bas. Il ne fait que passer par la condition des humbles. C'est ce qui lui permet d'?tre g?n?reux et de se r?clamer de tout ce que dans l'homme il peut y avoir d'humain. D'ailleurs l'?ducation re?ue pendant ses ann?es de captivit? l'avait prepar? ? ?tre *humaniste* . La connaissance de l'interieur de l'homme est bien la connaissance la plus ch?rement acquise d'une ?poque dont il sera le prince. Attention, c'est un moment unique dans l'histoire de cette partie du monde, qui va s'orienter moralement, et m?me pour plusieurs si?cles. Ce prince des Pyren?es en passe de conquerir le royaume de France, pourrait ?couter les conseils d'un Machiavel: alors, rien de fait, il ne r?ussira pas. Mais c'est le vertueux Mornay qui le dirige et m?me qui le soumet a des ?preuves qu'un autre ne tol?rerait pas. Les secrets honteux de la personne la plus vener?e, voyez Henri y ?tre initi? et en souffrir en silence: vous aurez la mesure de ce qu'il pourra faire pour les hommes.

Поучение

Он избрал путь борьбы: но спросил ли он себя, что означает этот путь? А означает он прежде всего — готовность выносить, не уклоняясь от них, многие страдания, зачастую либо напрасные, либо почти бесполезные. В жизни не начинают с больших и решающих битв. Уж и то хорошо, если в

поте лица своего ты выдерживаешь бой, исход которого не ясен и который надо каждый день начинать сызнова. Камень за камнем овладевая непокорным городом, а затем целой южной провинцией, наш будущий король воистину подобен труженику, но труд у него — особый. Ему прежде всего надо жить, он беден и потому трудится. Вследствие этого он познает действительную жизнь, как ее познает обычный человек. И это поразительное новшество: государь огромного королевства, которое без него распалось бы, начинает свой путь с обычных человеческих лишений. У него есть враги и любовные связи, и те и другие не всегда его достойны, и, конечно, их не было бы, держись он гордецом.

Это могло бы сделать его черствым и жестоким, как зачастую бывает с теми, кто вышел из низов. Но он-то не вышел из низов. Он лишь познал, что такое унижение. И это делает его великодушным и помогает обращаться к тому, что есть в человеке самого человечного. Впрочем, воспитание, полученное им в годы плена, подготовило его к тому, что он стал гуманистом. Знание человеческой души, давшееся ему так нелегко, — это самое драгоценное знание эпохи, в которую он будет государем. Обратите внимание — оно, в своем роде, явление единственное в истории нашей части света! На него будут морально опираться многие, и даже в течение нескольких веков. Этот принц из Пиренеев, стремящийся завоевать французское королевство, мог бы внять советам какого-нибудь Макиавелли: тогда — провал, ничего бы ему не удалось. Но им руководит добродетельный Морней и даже подвергает своего короля таким испытанием, каких другой не стал бы терпеть.

Итак, Генрих посвящен в постыдные тайны наиболее почитаемой особы и молча страдает: вот образец того, что он способен будет сделать для людей.

VIII. Дорога к престолу

Все изменится

Сначала многое еще не ладилось. Состоялся торжественный въезд царственных супругов в их столицу По; но вскоре выяснилось, что тут была допущена ошибка. Марго пришлось терпеть немалые обиды от ревностных гугенотов за то, что она ходила к папистской обедне. И она решила раз навсегда, что больше в По ее ноги не будет. Кроме того, король Наваррский влюбился там в одну из камеристок Марго, что было ей гораздо неприятнее, чем когда он имел дело только с фрейлинами матери. Однако все обошлось, так как с Генрихом вновь случился его обычный приступ слабости и необъяснимой лихорадки. Головная боль не оставляла больного ни днем, ни ночью, он требовал, чтобы его то и дело перекладывали с кровати на кровать, чтобы ему непрерывно освежали голову и говорили ободряющие речи.

Конечно, он терпит, он храбр, все храбры. Многие выдерживают, когда им отнимают ногу, и они притом находятся в полном сознании. Да любой офицер, если он уже не может пользоваться своей ногой, сам настоит на том, чтобы ее отняли и, привязав деревяшку, опять будет служить королю Наваррскому. Все это пустяки. Нестерпимо другое: внутреннее шатание, исчезновение естественной для человека уверенности в себе и страх, страх.

Заболел он в Озе, где некогда благодаря своей отважной стремительности спасся от смертельной опасности и где он дерзнул на смелое новшество, выказав себя человеком. Именно там он пролежал семнадцать дней в постели, решив, что он теперь повержен, отринут, уничтожен, не способен завершить труды и деяния, которые привык считать себе по силам. Обычно они настолько казались ему по силам, что он предавался, сверх того, еще чрезмерным наслаждениям и истощающим страстям. Зато самый выносливый, человек лежит иногда как сраженный, отрекается от себя, и

нужно, чтобы другой в него поверил, если это еще возможно. Этим другим и оказалась Марго, его поистине верная жена, сколько бы еще любовников она себе ни завела… Все время, что он болел, она не раздевалась, ночи напролет сидела возле него, ободряла его и гнала прочь бредовые страхи. Потом, уже оправившись, он сказал слова, которых от него еще никто не слышал: — Это предрешено свыше. — Что именно, — знали только он да жена. Оба поняли это совершенно ясно после тех ночей, проведенных в Озе.

Пребывание в этом городе, столь насыщенное скрытым смыслом, сделало их наилучшими друзьями… По возвращении в Нерак королеве Наваррской было предоставлено завести себе двор по своему желанию, и даже сделать из своего повелителя изысканного молодого щеголя, кем он и становился не раз, когда того требовали обстоятельства. Теперь он был им в течение десяти месяцев, носил самые дорогие одежды из Голландии бра из Испании, сплошь бархат да шелк, пурпур да золото. Своей королеве он накупил одних вееров десять штук; один сверкал ярче другого. Доставал ей душистую воду, самые роскошные платья и даже перчатки, сделанные из цветов. Держал для нее карликов, чернокожих пажей, птиц «с островов». У нее была в парке «Ла Гаренн» своя часовня, где она слушала обедню; потом устраивались приемы под колеблющимися кронами деревьев; там была музыка, были стихи, были танцы, служение прекрасным дамам, и в прозрачном воздухе парка все казалось проникнутым какой-то светлой и стройной простотой. В те дни в Нераке, под колеблющимися кронами деревьев, придворные изысканно томились и безрассудно мечтали. Очень ясным было небо, серебряным его свет, и кроткими были вечера…

Души размягчались: пусть оружие ржавеет без употребления. Генрих самолично сделал полный перевод записок Цезаря о войне с галлами, а также о гражданской войне. Перья он получал из Голландии, чернила из Парижа, бумагу золотил его камердинер. Он любил, чтобы у книг были роскошные переплеты; он уже тогда приказывал украшать их, когда сам ходил еще в

поношенной куртке. Он всегда требовал для духа прекрасной формы: в письмах, распоряжениях и даже в песнях, которые впоследствии пели по его желанию солдаты во время битв, он выказывал себя тем лучшим писателем, чем больше учился великим деяниям; одно совершал он ради другого, да выразительное слово так же рождается из души, как и прекрасное деяние.

В эти несколько месяцев он и держался и чувствовал себя, как будто он — человек вполне сложившийся, бесспорный наследник своих владений, мира и счастья, а ведь этого на самом деле не было, и радостное сновидение кончалось вместе с парком «Ла Гаренн», за оградой которого начинались поля. И все-таки — как он был счастлив, что может хоть на некоторое время сделать свою Марго повелительницей придворных и галантного короля — это был он сам, — что от него в ее честь пахло благовониями и что его зубы были позолочены. К тому же он выписал сюда для нее из замка в По красивейшую мебель и серебряную посуду; сама Марго во время посещения замка нашла там старинные арфы: быть может, в старину другие дамы своей игрой на них облегчали душу, так же как теперь Маргарита Валуа, которая никогда еще за свою бурную жизнь не знала, что такое равновесие, и лишь здесь обрела его.

Она не раз с недоумением проводила рукой по лбу. Как, до сих пор ни одного отравленного, ни одного заколотого кинжалом? Никто меня не сечет, и даже мои страсти не беспокоят меня? Мне не надо ни спускать моего брата д’Алансона на веревке из окна, ни самой искать приключений? Унижения, притворство, эти ужасы вокруг меня, это мучительное томление во мне самой — неужели все миновало? Нет, я в самом деле здесь. Она провела по лбу своей чудесной рукой: он уже снова был ясен, и королева этого двора шла танцевать с чинными дворянами и фрейлинами, которые держались удивительно пристойно. Певуче звучала музыка, пламя свечей чуть колебалось от легкого ветерка, веявшего в открытые окна; мягкой были эта музыка, свет, ветерок, мягкими были сердца и лица. Танцы и благосклонность

ко всем, Марго коротает долгую ночь слегка влюбленная, неизвестно в кого. Она могла бы каждому подставить губы для поцелуя, но целует она только своего повелителя.

То же испытывают все при Наваррском дворе, даже сестра короля, а она ведь такая строгая протестантка. И хотя она слегка прихрамывает на одну ногу, молодая Екатерина учит молодого Рони новому танцу, и все завидуют этой чести. Она даже на время забывает о своей единственной страсти, не вспоминает про кузена в его лесу и, заглушив укоры совести, разрешает легкомысленному Тюрену ухаживать за нею, точно это пустяки, мелочь. Ведь и ее дорогой брат Генрих живет и любит как хочет, будто так и нужно. Но долго это продолжаться не может.

Первый

Оправившись после приступа печени, Бирон стал злобствовать сильнее, чем когда-либо; он решил, что бдительность губернатора усыплена, и изо всех сил старался оклеветать его перед королем Франции. Канцелярия Наварры и Филипп Морней только тем и были заняты, что опровергали его доносы. Становилось ясно, что скоро уже нельзя будет продолжать эту распрю с помощью одной только переписки. Королева Наваррская взяла на себя часть забот о его судьбе. Если женщина в первый раз за всю свою жизнь по-настоящему счастлива, а у ее возлюбленного повелителя есть враги, — чем может она ему помочь в борьбе с ними? Она открывает ему все, что ей удается выведать, она становится необходимой ему.

И если король Франции, в уединении своей комнаты, будто бы высказывался пренебрежительно о своем зяте Наварре, это тут же становится известным Марго; а когда у нее не было свежих новостей, она что-нибудь придумывала. Она ненавидела своего брата-короля, он всегда только обижал

ее; поэтому надо было восстановить против него и Генриха. Ведь ее тоже задевают те оскорбления, которые наносятся ее повелителю. Герцог Гиз позволял себе издеваться над ним, даже ее дорогой братец д'Алансон участвовал в этих насмешках, и все это происходило у госпожи Сов, а ведь когда-то Сов считалась ее подружкой. Марго видела перед собой лукавую усмешку коварной фрейлины, и тем труднее ей было повторить самой сказанные там слова, особенно — прямо в лицо своему повелителю.

Среди ее фрейлин была одна совсем юная, почти девочка, и глубоко ей преданная, а именно Франсуаза, из дома Монморанси-Фоссе. Ее прозвали Фоссезой, Генрих называл ее «дочкой», в угоду ему начала ее звать так и Марго, хотя знала, что Генрих питает к Фоссезе не совсем отеческие чувства. Ибо юная фрейлина рассказывала все своей глубоко чтимой королеве, а если и не все о том, как ее пытаются совратить, то описывала самым подробным образом, как она сопротивляется. Это робкое создание Марго и посылала к нему с самыми рискованными сведениями: произнесенные детскими устами, они должны были возмущать его тем сильнее. Короче говоря, в замке Лувр над ним смеются из-за того, что он до сих пор не смог завладеть приданым своей супруги, а в том числе и несколькими городами в его собственной провинции Гиенни. Бирон держал ворота этих городов на запоре. — Дорогой мой государь! — говорила робкая девочка, преклоняя колени перед Генрихом и с мольбой воздевая руки. — Возьмите же, наконец, приданое королевы Наваррской! Покарайте, пожалуйста, гадкого маршала!

Он и сам решил это сделать, но остерегался открывать свои намерения женщинам. И даже когда его войска уже были стянуты и готовы к походу, он не выдал себя ни единым словом и провел последнюю ночь перед выступлением в спальне своей королевы. Потом ускакал, держа розу в зубах, словно ехал на турнир, или на веселое состязание. Если его план не удастся, Марго не будет по крайней мере нести никакой ответственности и не пострадает. Все его дворяне были бодры и веселы, как и он; опять наступил

май, и все они были влюблены и называли этот поход походом влюбленных. Д'Обинье и даже трезвый Рони уверяли вполне серьезно, что город Каор следует штурмовать хотя бы из одних рыцарских чувств к дамам. Генрих открывался лишь тому, кто сам способен был его разгадать: а это мог только Морней. Все дело в том, чтобы на всех путях и дорогах стремиться к одной и той же цели и, невзирая на изменчивость людей и явлений, оставаться верным внутреннему закону. Но этому не научишься. Это должно в нас жить: оно идет из далей былого и уводит в дали грядущего. Целые столетия видит перед собой господь, когда смотрит на подобного человека. Поэтому Генрих столь спокоен и столь загадочен, ибо ничто не делает человека таким таинственным и непостижимым, как внутренняя твердость.

Было жарко, в виду города, который предстояло взять приступом, войско сначала утолило жажду из родника, бившего в тени орешника. Затем все принялись за работу, которая была нелегкой. Город Каор с трех сторон окружали воды реки По, и гарнизон защищал его именно оттуда, ибо с четвертой стороны и подойти было страшно — столько препятствии возвели на подступах к стенам; они не давали даже подобраться к городским воротам. Однако два офицера из войска короля Наваррского — мастера по части подрывов — тайно осмотрели инженерные сооружения; маленькие чугунные ступки набивали порохом, приставляли вплотную к препятствию и поджигали фитиль. В одиннадцать часов вечера, пользуясь тем, что небо затянулось грозовыми тучами, войско незаметно вступило на укрепленный мост, который никем не охранялся. Впереди шли оба офицера с подрывными снарядами. При их помощи были уничтожены все заграждения, поставленные на мосту, в городе взрывов не слышали — их заглушали раскаты грома. Несколько отступя, чтобы не попасть под летящие обломки, следовали пятьдесят аркебузиров, затем Роклор с сорока дворянами и шестьюдесятью гвардейцами, а за ними король Наваррский вел главные силы, состоявшие из двухсот дворян и тысячи двухсот стрелков.

Ввиду того, что это было дело новое, ворота удалось взорвать лишь частично. Несколько солдат проползли в образовавшуюся брешь и уж потом расширили отверстие с помощью топоров; от этих ударов жители города проснулись и стали звать своих защитников. И вот весь город вооружается, гудит набат, и в темноте, над головами штурмующих, проносятся всевозможные метательные снаряды — кирпичи, булыжники, факелы, поленья. Слышен лязг, звон и скрежет ломающегося оружия. «Бей!» — доносятся крики, но глотки уже хрипят, задыхаясь. В тесноте противники схватились насмерть. Четверть часа продолжается рукопашный бой, и нападающие вот-вот проиграют его, но тут появляется Тюрен, он ведет еще пятьдесят дворян да триста стрелков, и с их помощью король Наваррский проникает в самый город…

Однако дальше он не двигается. Впереди — большое здание, в нем засели все защитники и удерживают наступающих в почтительном отдалении. Тем временем рассвело, войско Генриха тоже заняло дома. Солдатам было запрещено грабить, король Наваррский грозил за это расстрелом, и действительно нескольких солдат расстреляли. Всю ночь у его людей маковой росинки во рту не было, и спать пришлось стоя; рядом с ними на окнах лавок лежало их оружие и доспехи. Солдат ждало новое утро и новый тяжелый ратный труд: надо пробиваться вперед через дворы и улицы, пока не останется десять шагов до самой крепости. Но не продвинулись они дальше и в этот день, а потом снова наступила ночь. Третий день грозил наибольшей опасностью, ибо к осажденным должно было подойти подкрепление, и следовало любой ценой не допустить отряд до города и уничтожить его. Еще один день ушел на подготовку штурма, а на пятый, когда крепость наконец пала среди грохота и дыма, наступающим пришлось преодолеть в самом городе, одну за другой, четырнадцать баррикад.

Так был взят Каор и выполнена исключительно тяжелая задача. Ее, без всякого толку и смысла, еще затрудняли упрямые жители — просто из

ненависти к противной партии и лишь затем, чтобы король Наваррский не стал еще сильнее. Именно потому успех этого дела принес Генриху больше славы, чем он заслуживал. Победа была одержана не над гарнизоном одного города, а над самим маршалом Бироном и другими врагами, и победа решительная, несмотря на все ответные удары, которые, конечно, тоже воспоследовали. Но, когда Генрих совершил нападение на самого маршала, оказалось, что он еще недостаточно силен, пришлось бежать до самого Нерака; под выстрелами он промчался на коне по роскошной парадной лестнице своего замка среди войск, которым надлежало схватить его, и ускакал.

Ноги у него были изранены и кровоточили. В Нераке Марго приходилось менять простыни, если он пролежит с ней хоть четверть часа, — в таком состоянии было его тело. Но дух его не знает трудностей, он легок и стремителен, как всегда. И Генрих ведет свое войско — пусть его называют просто бандой — из принадлежащих ему областей на север, где протестанты приветствуют его новую славу и только ждут его, чтобы восстать самим. Двор в Париже узнает об этом и спешит отозвать Бирона.

Замысел как будто удался. Поэтому и герцог Алансонский, ныне герцог Анжуйский, немедленно предложил свои услуги удачливому зятю, поспешил на юг, заключил с ним мир и дружеский союз. Непримиримым остался лишь Конде, некогда любимый кузен Генриха. Но трудно примириться с тем, что ты всю жизнь остаешься на втором месте, хотя честно выполнял свой долг — сражался не хуже, чем твой соперник, и вдобавок жил в полном согласии со своей партией, тогда как соперник постоянно вызывает у нее недоверие отсутствием должного религиозного рвения. Никогда не знать зависти — действительно трудное искусство: для этого человек должен многое понять; но особенно важно, чтобы он постиг учение об избранных благодатью божией. Помогает также, если ты умеешь гордиться выпавшей тебе на долю судьбой, как умели древние. Морней способен и на то и на другое: в нем

живет добродетель, а поэтому открывается ему и знание.

Конде — человек без размаха, у него есть добрая воля, хороши и его первые побуждения, но ничего он не доводит до конца. Его ненависть к Генриху началась еще давно, во времена одной битвы, происходившей под Жарнаком, когда был принесен в жертву его отец, а молодой Наварра именно через это стал первым среди принцев крови. Будучи вместе с Генрихом пленником в замке Лувр, он переносил те же страдания, только они были не такими мучительными. Потом бежал. Но вообще в нем меньше чуткости ко всему народному, к тому, что принято у народа, к тому, что должно быть. Он связывается с чужеземными князьями, тогда как кузену Наварре удается окрепнуть на родной земле и распространить свою власть над ней, правда, не без помощи папистов.

Поэтому тем сильнее упорствовал кузен Конде, настаивая на чистоте протестантского учения, и ему мог быть другом только тот, кто придерживался этой чистоты или кричал о ней. Оттого и своего Иоганна-Казимира Баварского он ценил выше, чем Генриха; зато князек карликового государства ненавидел порок. Распущенность, царившая при наваррском дворе, настолько ему претила, что он плевался при одном напоминании, а принц Конде разрешал ему это. Пошел он и на заговор против двоюродного брата. Заговорщики отправили гонца к Генриху просить, чтобы тот повел свои войска на помощь архиепископу Кельнскому. Архиепископ перешел в протестантство, и представлялся превосходный случай нанести удар австрийскому дому. Разумеется, австрийский дом — это был враг, но враг в будущем, самый главный, с которым расправляются напоследок. Идти сейчас на Германию — значило бы отказаться от завоеванного, прервать свое восхождение и даже, быть может, совсем потерять королевство. Именно этого они и хотели, требуя от Генриха, чтобы он покинул свою страну ради борьбы за религию. Но так он не поступит, что они отлично знали. Они могли поэтому вызвать к нему ненависть среди

протестантов, ибо далеко не все ему доверяли; а сообщение, что он все-таки выступает, встревожило бы французский двор и могло толкнуть Филиппа Испанского на грозное решение.

Сидит дон Филипп, как паук, ткет планы своей мировой державы. Разве это имеет хоть малейшее отношение к какой-то кучке непокорных еретиков, к какому-то нелепому Казимиру, спятившему архиепископу и завидущему кузену? Дон Филипп за своими горами все же что-то почуял: уже народился враг, который будет угрожать ему и его мировой державе; правда, этот враг еще очень невелик, но он подрастет. С мучительным трудом преодолевает он даже незначительные препятствия, однако мерить его силу надо не очередным клочком земли, который он захватывает, а той славой и тем именем, которые он себе создает. Нельзя спокойно ждать, пока Фама затрубит в трубу и полетит. Францией должен править в будущем лишь один властитель — он сам, Филипп. Дом Валуа вымрет, а еще до того Лига тщеславного Гиза растерзает королевство на части с помощью золотых пистолей, — которые, покачиваясь на спинах мулов, непрерывно плывут с гор. Наварра этому помеха, Наварру нужно устранить. Таково решение, возникающее в душе Филиппа, иного не может быть и у завистливого кузена.

Король Наваррский знает это. Ведь позади — Лувр, там Генрих изведал, что такое ад. От Монтеня он услышал, что народу понятнее всего доброта. А Морней разъясняет ему, какую силу имеет добродетель. Король Наваррский сохраняет всю свою веселость и чувство меры на самом краю пропастей, таящихся в его собственной натуре; но он знает: есть такая порода людей, которые не признают этого, и как раз на них он будет наталкиваться всю жизнь, до своего смертного часа. Они не протестанты, не католики, не испанцы или французы. Это особая порода людей; им присуща угрюмая жажда насилия, дух тяжести, а быть неудержимыми они способны, только когда предаются жестокости и нечистым наслаждениям. Эта порода людей будет его вечным противником, он же навсегда останется провозвестником

разума и человеческого счастья. Теперь он старается, следуя здравому смыслу, навести порядок в одной провинции, позднее — во всем королевстве, и под конец — в целой части света, чтобы, заключив союз мира со многими странами и государями, сокрушить дом Габсбурга. А тогда придет время и для той породы людей, которые ненавидят жизнь: после тридцати лет неудачных покушений на жизнь короля Наваррского придет и их время метко нанести удар кинжалом. В течение десятилетий семь или семьдесят ударов и выстрелов не попали в цель, Генриху удалось всех избежать, так же как он избежал теперь первого.

В те дни король Наваррский ждал подкреплений.

Офицеру, который эти подкрепления привел, он приказал разместить солдат в местечке под названием Гонто. И все слышали, как он говорил, что завтра туда поедет. Его, однако, предупредили, что в отряд подослан убийца: поэтому Генрих и сказал о своем намерении вслух и с подчеркнутой небрежностью. Когда взошло солнце, король Наваррский, выехал, сопровождаемый тремя своими дворянами; д’Арямбюром, Фронтенаком и д’Обинье. На полпути им встретился одинокий всадник, и они узнали в нем некоего дворянина из окрестностей Бордо. В то время как его трое спутников зажали этого дворянина между своими лошадьми, короля Наваррского охватил какой-то знобящий страх — более жуткий, чем в любой открытой схватке, когда смелое решение побеждает боязнь. Больше всего Генриху хотелось удрать, однако он весело осведомился, хорош ли у дворянина конь; и, когда тот ответил, что да, хорош — подъехал, пощупал и даже выразил желание купить его.

Гаваре, так звали этого человека, побледнел, он не знал, как быть, и волей-неволей спешился. Король Наваррский вскочил в седло и сейчас же, осмотрел пистолеты; у одного курок был взведен.

— Гаваре, — сказал он, — я знаю, что ты хочешь меня убить. Но сейчас я сам могу тебя убить, если захочу. — И тут он выстрелил в воздух.

— Сир, — ответил Гаваре, — ваше великодушие всем известно! Вы не отнимете у меня лошадь, она стоит шестьсот экю.

Об этом королю Наваррскому уже было доложено: убийце подарили коня за то, чтобы он убил короля. Генрих повернул лошадь и поехал галопом в местечко Гонто, где и сдал ее, а своему офицеру приказал как-нибудь отделаться от этого негодяя. Негодяй же затем вернулся в лоно католической церкви. Когда он, ради хорошего коня, согласился убить короля Наваррского, он выдавал себя за протестанта, на самом же деле не был ни тем, ни другим. Но он принадлежал к особой породе людей: такие люди ненавидят Генриха, он сразу это чует, и постепенно придет к выводу, что мстить им бесполезно. Не успеешь отделаться от одного убийцы, как уже наготове другой.

Этот был только первым.

Фама

Не заставил себя ждать и второй, теперь это был испанец; угадать, откуда он явился, было нетрудно. Он косил, широко зияли задранные ноздри, лоб припух — словом, отнюдь не красавец. Этот Лоро, как он себя называл, предлагал выдать королю Наваррскому одну пограничную крепость; на самом деле его целью было подобраться как можно ближе к королю, что, однако, ему не удалось. Те же дворяне, которые защитили короля Наваррского от Гаваре, привели испанца на открытую галерею, окружавшую дворец в Нераке. Затем они выстроились в ряд, и каждый уперся одной ногой в стену, и Лоро пришлось говорить с королем поверх этого живого барьера. А так как ему нечего было сказать и он ограничился жульническим враньем и в тот день и на следующий, то его пристрелили. Нелегко убить человека, которого возносит судьба, уже мгновениями открывая ему свой лик. Эти два покушения показали больше, чем что-либо иное, насколько Генрих начал

становиться силой.

Но он решил ограничить себя и не уехал со своей земли, а перепахал ее копытами своего коня из конца в конец, пока каждая кочка не стала принадлежать ему и приносить плоды. Города один за другим покорялись и отворяли свои ворота, люди завоевывались постепенно, не силой: брать приступом надо стены, не людей. Они поддаются воздействию добрых примеров, особенно, если вместо этого их могли бы просто-напросто повесить. Тогда до них доходит призыв быть разумными и человечными, к чему, впрочем, и стремится истинная вера. Сначала они предпочитали сами лезть в петлю, но в конце концов многие поняли, в чем их истинное благо, — пусть даже ненадолго, всего лишь для немногих поколений.

Новый наместник губернатора Гиенни не был врагом Генриха, да сейчас и не смог бы себе этого позволить. А Дамвиль, губернатор соседней провинции Лангедок, был даже другом. Несокрушимо стояла у самого океана, посередине длинной прибрежной полосы, крепость Ла-Рошель. Эта полоса тянулась вниз и наискось к югу: здесь большинство населения было за короля Наваррского: самые разнообразные упования возлагало оно на него, и уповающих было великое множество.

Обыкновенные люди звали его просто noust Henric и вкладывали в это очень многое: его ежедневные дела и труды, совершавшиеся у них на глазах вот уже много лет, то, как он расходует деньги, как действует оружием, даже его образ — образ всадника на коне, в куртке из рубчатого бархата, его щеки, загорелые, как и у них, — его ласкающий, но твердый взгляд и короткую молодую бородку. Когда он проходил мимо них, они чувствовали, что опасности, постоянно угрожавшие их жизни, отступают и что мир в стране, который был всегда так шаток, делается устойчивым. А остальные, ученые или просто люди с головой, нередко толковали о том, как вырос теперь духовно король Наваррский. И они начинали уверять, что дух в нем жив, что ведет он себя отменно и добивается своих целей с большим мужеством. Из

такого теста и были сделаны величайшие государи, уверяли они друг друга, и были искренне убеждены в этом — хотя и не без содействия канцелярии Наварры.

Ею руководил Морней, и в распространяемых им посланиях он утверждал, что власть его государя все более крепнет; поэтому все добрые французы начинали взирать на Генриха с надеждой. У многих она появилась впервые — даже у чужеземцев, — ибо Морней вербовал сторонников и в Англии. Из этих посланий Елизавета и ее двор могли почерпнуть немало благоприятных сведений о Генрихе Наваррском. А с другой стороны, по словам Морнея, едва ли можно ожидать чего-нибудь путного от теперешнего короля Франции, да и от его брата, который по-прежнему домогался руки королевы и находился именно сейчас у нее в гостях. Морней даже сам поехал в Англию — он один действовал решительнее всей своей партии — и помешал-таки женитьбе Двуносого на английской королеве, но — лишь в результате верной характеристики, данной им Перевертышу. Дипломатия не должна допускать недоразумений. И если она действует правильно, то не отступает от истины.

Еще одно мнение стало известным: сначала — там, где оно возникло, а потом, переходя из уст в уста; оно распространилось все шире. Новый мэр Бордо будто высказал эту мысль другому гуманисту:

— Постепенно становится совершенно ясным, что цель всех этих религиозных войн одна: расчленение Франции. — Прошли те дни, когда господин Мишель де Монтень беседовал в величайшей потайности с Генрихом Наваррским. Теперь он заявлял обо всем этом вслух, и не только в библиотеке своего маленького замка или в ратуше города Бордо, избравшего его мэром при решительной поддержке губернатора. Он и писал о том же. В башенной комнатке его замка родилась целая книга, все остальные гуманисты королевства читали ее и утверждались в сознании, что умеренность необходима, а сомнения полезны. И то и другое было им знакомо и

свойственно, и все же оказалось бы пагубным, если бы гуманисты учились только размышлять, а не ездить верхом и сражаться. Однако дело обстояло иначе. Даже Монтень побывал солдатом; несмотря на свои неловкие руки, он по необходимости занимался и этим ремеслом, иначе оно досталось бы на долю только безмозглым. Нужно знать твердо: лишь тот, кто думает, имеет право действовать, лишь он. А чудовищное и безнравственное начинается по ту сторону нашего разума. Это удел невежд, которые становятся насильниками, из-за своей неудержимой глупости. И на уме у них, и в делах — только одно насилие. Посмотрите, в каком состоянии королевство! Оно приходит в запустение, оно превращается в болото из крови и лжи, а на такой почве уже не могло бы вырасти ни одно честное и здоровое поколение, если бы мы, гуманисты, не умели скакать верхом и сражаться. А уж это — наша забота. Положитесь на нас, мы не сойдем с коней и не сложим оружия. Над нашей головой, на самых низких облаках, с нами едут по стране и Иисус из Назарета и кое-кто из греческих богов.

Господин Мишель де Монтень, знавший себе цену, переслал с курьером королю Наваррскому свою книгу — она была переплетена в кожу, и на ней, был тисненный золотом герб Монтеня, хоть и на задней стороне обложки; а на передней красовался герб Наварры. Такое расположение имело глубокий смысл, оно означало: «Фама на мгновение сделала нас равными. Все же вам, сир, я уступаю первенство».

Но горделивый дар говорил и о большем. Эта книга была отпечатана в Бордо, откуда корабли в штормы и штили уходят к дальним островам. И, быть может, эта книга в конце концов уйдет еще дальше и сквозь века доплывет до вечности. Но, разумеется, сир, ей будет предшествовать ваше имя. Я желаю одного, так же искренне, как и другого, ибо я ваш сподвижник, и точно так же, как вы, утверждаю в одиночестве, борьбой и заслугами, мои врожденные права. Сир, вы и я и — мы зависим от милостей фамы, а это участь немногих. Не может легкомысленно относиться к славе тот, кто творит

произведения, которые будут жить долго, или надеется угодить людям своими деяниями.

Одно место в книге было подчеркнуто:

«Те деяния, кои выходят за границы обычного, приобретают весьма дурной смысл, ибо наш вкус противится всему, что хочет быть чрезмерно высоким, но и чрезмерно низкому противится вкус».

Прощание с Марго

Для Марго наступило самое горькое время; однако, видя, что беда надвигается, она сделала все, чтобы предотвратить ее. Королева Наваррская долго ничего не замечала: в Нераке — она так успела привыкнуть к счастью, что уже не допускала возможности перемен. И сначала не хотела верить, когда Ребур донесла ей, что Генрих и Фоссеза все-таки сошлись. Ведь и для Марго и для Генриха эта девочка была до сих пор их «дочкой», робкой и скромной, воплощением преданности. Ребур же терзалась завистью к любой женщине, на которую Генрих начинал обращать внимание; ибо вначале она и сама ему понравилась, но вскоре заболела, и благоприятная минута прошла.

Теперь она решила отомстить, выкрала счета аптекаря Лаланна и показала своей государыне. А в счетах значилось: «Взяты королем, когда он находился в комнате у девушек королевы, две коробки с марципанами. После бала — сахарная вода и коробка с марципанами, для девушек королевы». Покамест это относилось ко всем, но последующие записи касались одной Фоссезы: «Для мадемуазель Фоссезы фунт сластей — сорок су. Для нее же: конфекты и розовое варенье, цукаты, фруктовые сиропы, марципаны»; все только для Фоссезы. — Она расстроит себе желудок, — озабоченно сказала Марго; пусть эта завистница Ребур потом не рассказывает, будто королева ревнует. А Ребур меж тем припасла на конец самое худшее. В последнем

счете стояло: «Взято королем с доставкой в комнату мадемуазель Фоссезы один и три четверти фунта марципанов и четыре унции фруктового сиропу — всего два экю и три ливра».

На основании этих точных записей аптекаря бедная Марго поняла, что именно произошло. Но она в совершенстве владела собой и не показала завистливой Ребур своего испуга, а с провинившейся Фоссезой стала еще ласковее и просила, как обычно, чтобы та оказывала услуги королю. — Фоссеза, дочка, позови ко мне моего дорогого повелителя. Скажи, что у меня есть для него новости о моем брате, короле Франции. Тебе, наверное, тоже хотелось бы их узнать. Мой брат видел дурной сон, мать мне написала, какой. Ему приснились разъяренные звери, тигры и львы пожирали его, и он проснулся весь в поту. Тогда он приказал перебить всех животных в его зоологическом саду. Поди передай это нашему повелителю и скажи, что мне известно еще гораздо больше.

Марго нарочно сказала — «нашему повелителю»: пусть Фоссеза думает, что она ничего не знает, ничем не уязвлена и по-прежнему с легким сердцем считает ее своей дочкой. Однако Фоссеза не вернулась, вернее, она осталась у Генриха; и так как она не передала ему поручения, то он в этот день и не пришел к Марго. Это было равносильно признанию, и с тех пор девушка стала избегать королеву, упрямилась, дерзила и старалась восстановить против нее короля; Марго же, напротив, не могла забыть годы счастья, она не хотела, чтобы они миновали, и поэтому остерегалась совершить какой-либо непоправимый поступок. Она надеялась, что ее дорогой повелитель скоро пресытится Фоссезой, как пресыщался другими, и старалась завлекать его и удерживать возле себя новостями из Лувра. Он и сам узнавал кое-что через своего Рони, у которого двое братьев были при французском дворе. Супруги встречались, чтобы обмениваться вестями, сопоставлять их: это было то, что теперь их больше всего сближало.

— Король Франции вводит все новые налоги, чтобы содержать своих

любимцев, — начинал один из супругов. Другой подхватывал: — В народе его иначе и не называют, как тиран. — И оба, перебивая друг друга, продолжали: — Долго это тянуться не может. Теперешний любимчик, которого зовут Жуайез, заполучил в жены одну из сестер королевы и целое герцогство; этого дворяне королю не простят. А народ не забудет, что такой проходимец мог на своей свадьбе, которую оплатил народ, щеголять разодетый, как сам король. Во Франции еще не видали такого мотовства. Семнадцать празднеств — и все за счет налогов: маскарады, турниры, по Сене плавают вызолоченные суда с голыми язычниками — как раз подходящее зрелище для простых людей, которым нужно напоминать как можно реже об их тяготах.

— Больше того: мы должны облегчать их, — говорил Генрих. — Нацедить себе вина из бочки — это пустяк, это не то, что сосать кровь из народа.

Избалованная принцесса Валуа, когда-то столь прославленная и воспетая за свои почти вызывающие наряды, в которых она появлялась во всевозможных процессия, покорно опустила голову. Сейчас все ее честолюбие сводилось к тому, чтобы оставаться и впредь сельской государыней. А для своего дорогого повелителя Марго мечтала о гораздо большем — она уже давно прониклась взглядами Генриха на его предназначение; но ей хотелось, чтобы это случилось не слишком скоро. Ведь ее брат-король, которого она не любила, мог еще иметь наследника; и тогда их дом не вымрет. Для Марго ее брат нередко бывал ближе, чем Генрих, и ее не удивляло, что своих любимцев, которые всего-навсего вредные мелкие авантюристы, он осыпает благодеяниями, словно родных детей. Он хотел видеть в них своих детей, хотел, чтобы они стали ими, лишь бы не быть одному среди разъяренных хищников, терзавших его в сновидениях. Да, Марго иной раз понимала его — это бывало в те минуты, когда она оставалась одна и размышляла. Теперь он даровал и брату этого Жуайеза

титул герцога и выдал за него вторую сестру королевы. Король даже перестал платить жалованье своим солдатам, он говорил: — я образумлюсь, только когда женю всех моих детей. — А Марго думала: «Его дети!» Долго вздыхала она, забывшись в свете свечей и не замечая, что легкий ветерок перебирает страницы лежащей перед нею книги.

Однажды, получив вести, которые ее сильно взволновали, она тут же вызвала к себе Генриха, но оказалось, что он куда-то выехал верхом. Вместо него явилась Фоссеза; она подурнела, побледнела, лицо вытянулось, и она была не в духе. «Скоро между ними все кончится», — пронеслось в голове у Марго; но ей слишком хотелось поделиться тем, что у нее на сердце, пусть даже с девушкой, которую он прижимал к своей груди, как некогда прижимал Марго.

— Фоссеза! — воскликнула бедняжка Марго и взволнованно обняла ее — теперь это была уже не ученая дама, не принцесса, а просто беспомощная женщина.

— Фоссеза, это и смешно и все-таки ужасно: они хотят заточить моего брата, короля Франции, в монастырь, потому что его брак остается бездетным. Но он и сам уже надел монашеские одежды, поснимал перья и банты, прогнал своих любимцев и отправился с королевой в паломничество, чтобы она зачала и подарила ему наследника. У него потом все ноги были в волдырях, и все-таки королева осталась бесплодной. Ну, как тут не смеяться? Ведь в самом деле смешно, уж кажется чего проще — сделать женщине ребенка? Но и он и она становятся прямо посмешищем всего двора, который разбирает во всех подробностях телосложение королевы. А короля даже зевота берет от напрасных усилий стать отцом, и все зевают вместе с ним. Да, веселый двор, нечего сказать, ха, ха!

Делая неудачные попытки расхохотаться, она скользнула руками по телу Фоссезы; и тут Марго благодаря случайности определила на ощупь то, что она могла бы обнаружить и раньше, если бы захотела знать об этом. «У

другой, у чужой женщины будет ребенок от Генриха. А у меня нет; родить ребенка — проще простого, а я не смогла. И не над королем Франции и его королевой — я издеваюсь над собственной участью». Она шарила руками по чужому телу до тех пор, пока девушка не рассердилась. — Что вы делаете, мадам? — зашипела Фоссеза. — Вот я пожалуюсь королю, что вы меня щупаете!

— Не сердись, дочка, разве я могу повредить его ребенку!

— Как, мадам?! Вы еще оскорбляете меня!

Эта некогда столь кроткая девица чуть не задохнулась от гнева, даже шея посинела. — Если бы он не уехал, он сейчас же подтвердил бы вам, что вы зря подозреваете меня! Я всех уличу во лжи, мадам! Я вам стала неугодна, мадам, и вы хотите меня погубить! — продолжала кричать Фоссеза, переведя дух. А Марго сказала еще тише:

— Не нужно, чтобы все нас слышали. Почему ты не хочешь довериться мне, дочка? Ведь я как мать отношусь к тебе. Мы можем вместе уехать, я сама тебе помогу и поддержу тебя.

— Мадам, вы прикажете меня убить. То, что вы вообразили, неправда.

— Да ты выслушай меня. Мы уедем под предлогом чумы, она действительно появилась поблизости отсюда, на одной мызе, которая принадлежит королю.

— Король! — взвизгнула разъяренная женщина, услышав стук копыт, бросилась вон из комнаты, споткнулась и чуть не упала. Марго подхватила ее — ради ребенка. Но вскоре вошел сам король и очень разгневался на бедную Марго. И хотя она подробно ему объяснила все происшедшее, он не поверил ей, а поверил этой глупой маленькой лгунье. И тут Марго впервые ясно поняла, что счастью ее пришел конец. Исчезла уверенность в себе, та гордая уверенность, которая не изменяла ей ни разу, пока она жила при Наваррском дворе. Вместе с надеждой на спокойное будущее утратила она вскоре и выдержку и дала волю своей натуре, как делала это когда-то в замке Лувр.

Через некоторое время прибыл для переговоров ее брат д'Анжу, прежде д'Алансон, и с ним красавец обершталмейстер. Едва Марго на него взглянула, как этот господин очаровал ее и стал властителем ее дум. Перед братом она не притворялась. Будь она мужчиной и столь же некрасивым, как он, она стала бы примерно таким же перевертышем и жгла бы жизнь сразу с обоих концов, а не по частям. — Шамваллон — самый красивый мужчина со времен античности! — уверяла Марго.

— А ты отруби ему голову, — предложил брат. — Забальзамируй ее, укрась драгоценными каменьями и вози с собой по городам и весям: это — самое надежное, как тебе известно из опыта, милая сестра…

— Он один солнце моей души! Мое сокровище, мое божество! Мой Нарцисс!

— Я передам ему каждое твое слово, — обещал брат и выполнил это с удовольствием. — А твоему рогоносцу Наварре наука! Он опозорил меня перед англичанкой, а ведь она каждое утро собственноручно приносила мне шоколад. Называла своим итальянчиком и все щупала, нет ли у меня скрытого горба. Ха! Ха! — Смех у него был такой же, как и у его красавицы сестры: грудной и певучий, как низкие звуки скрипки. Увы, в этих прекрасных звуках было что-то жуткое, ибо исходили они из хилого тела.

— Мне кажется, что некую королеву, которой до смерти надоел ее двор, я весьма скоро увижу опять в Париже, — сказал он спустя некоторое время и отбыл вместе с несравненным античным красавцем, служившим ему в качестве обер-шталмейстера. Марго же поехала на воды, ее сопровождали только камеристки и дворяне, но не Генрих. Он повез Фоссезу на другие воды. Сначала он изо всех сил старался, чтобы обе женщины поехали в одно место, надеясь, что любовь к нему их примирит, — заблуждение, которого обе ему не простили, хотя это — самое обычное заблуждение. И Генрих подпал ему, собственно говоря, из-за чувствительности своего сердца, ибо видел, что Марго частенько плачет. А теперь плачет, наверняка, оттого, что

ребенок родится у Фоссезы, а не у нее, плачет о себе, потерявшей счастье, ибо она бесплодна, оплакивает неудержимость своей природы, власти которой она опять подчинилась, и эти новые, свалившиеся на нее любовные приключения. Но и приключению с античным красавцем послала она вслед свои слезы, причем утешалась тем, что хоть в этой печали причиной были ее собственные чувства, а не унижение, которому ее подвергли другие люди.

«Если бы ты знал! — думала она в своем измученном сердце, когда Генрих, настаивал, чтобы она ехала вместе с ним и с Фоссезой на воды. — Я ненавижу тебя и люблю только моего Нарцисса». Однако дело обстояло не так; пока Марго отнюдь не чувствовала ненависти к Генриху; но если делаешь усилия, чтобы возненавидеть, то хоть сама и относишься к ним вначале несерьезно, ненависть может в конце концов прийти. Так как выбор был предоставлен Генриху, то своему лучшему другу он предпочел возлюбленную и повез ее в горы близ По, в ОШод. Селение это было уединенное и недоступное. Чтобы попасть туда, нужно было миновать, одно из опаснейших мест в Пиренеях, называвшееся «Дыра», что было особенно трудно с женщиной в положении Фоссезы.

Тут-то в ее тайну наконец и проникла завистница Ребур. И до сих пор она еще верила, что это — желудочное от неуверенного употребления сладостей. Однако Ребур умолчала о своем открытии и пользовалась им только, когда они оставались одни, чтобы запугивать ненавистную ей любовницу короля. Бедная Марго не могла желать ничего лучшего. Именно поэтому она и отправила Ребур с Генрихом и Фоссезой: она тешила себя, мыслью хоть об этой мести, когда сама, покинутая, одинокая, купалась в ключах Баньера. Городок был расположен на довольно пологих горных склонах, в провинции Бигорре, а не в гугенотском Беарне, ибо Марго поклялась, что ее ноги там не будет после того, как в По ее так оскорбили из-за католической обедни.

Бедная Марго! Оставив свою свиту, она бродила по лесам, и так как при

ней всегда был для защиты кинжал, то она царапала им на скалах какие-то слова, Сначала это было имя покинувшего ее античного красавца, ее Нарцисса, она даже прибавляла к имени силуэт его прекрасного тела. Затем принималась плакать и плакала до тех пор, пока слезы не застилали ей глаза и она уже не видела написанного ею. Отерев глаза, она читала последние из написанных ею букв, и они складывались в слово «Генрих». Тогда бедная Марго приходила в ярость и выводила под ними крест. Потом плакала горше прежнего.

Тем временем в О-Шо все усердно наслаждались природой и вкушали ее чудодейственные силы. Ведь если женщина ложится в горячий источник, то она, наверняка, благополучно разрешится от бремени. С другой стороны, эти воды весьма целительны для всевозможных ран, а также при болях, вызванных частыми ночевками под открытым небом и на холодной земле и прочими тяготами войны. Генрих и Фоссеза проводили в воде целые часы. Каждый источник был скрыт зеленой беседкой, их установили к приезду короля, и рабочим заплатили за них по шесть ливров. Под кровом каждой беседки купался раненый офицер или другой приезжий, причем все расходы оплачивал Генрих, чтобы по всему свету пошла молва о пиренейских источниках. Поэты, подобные дю Барта, воспевали их в стихах и получали мзду. Поэтому сюда, наверх, невзирая на опасности, поднималось немало людей; король Наваррский был всегда окружен веселым обществом. — Сестра Генриха, в его отсутствие управлявшая страной из По, то и дело посылала ему донесения через гонцов, ехавших на мулах. И вот по крутым тропам брели, покачиваясь, мулы, на которых везли мехи, полные вина. С приездом короля Наваррского эту высокогорную местность оживила людская суета и общение людей между собой.

А Марго там, внизу, жила в уютном городке Баньере с отлично сохранившимися старинными термами: еще в древности купались здесь дамы и мужчины, и пили воды. Лучшие дома в городе были заняты свитой

королевы Наваррской; вокруг нее толпились придворные, распространяли благоухания, превозносили ее. Она же думала неотступно о том, что там, наверху, ее возлюбленный повелитель отдает столько сил, внимания и терпения этой Фоссезе, только потому, что она носит его сына. Бесплодная Марго теперь покинута. Постарайся же, чтобы и тебя эти воды в конце концов излечили от бесплодия. А пока твой возлюбленный и ненавистный повелитель будет с той, которая уже носит во чреве дитя!

Но пила ли она воду из горячего источника или лежала в нем, ей казалось, что она пьет небытие и покоится, как усопшая, в казенном склепе. Тогда она ждала, чтобы поскорее начали весело перекликаться люди в открытые двери купальных комнат, чтобы их голоса разносились вдоль выбеленного коридора. Ей хотелось слушать стихи и собственный певучий голос. Но что она каждый день слушала и поглощала усерднее, чем целебную воду, — так это святое богослужение, ободряющее слово священника и молитву о даровании ей ребенка. И это будет: «Я чувствую, мне послана благая весть. Я буду во чреве моем носить его сына: тогда он не оттолкнет меня и не возьмет к себе Фоссезу. Я не должна его ненавидеть. Он будет королем Франции, я — его королевой, дофин родится от меня. Счастье достигнуто, наступил покой. Не напрасной была наша великая любовь, и убийства, и все наши мытарства. Покой, покой и счастье!»

Когда бедная Марго возвращалась в Нерак, она ехала с твердой уверенностью, что теперь подготовлена и ее надежды осуществятся. И вот однажды, утром ее возлюбленный повелитель отдернул полог у ее кровати; испуганно и смущенно попросил он ее оказать помощь Фоссезе. Пусть простит его, что он до сих пор скрывал от нее случившееся. Она же ответила: что бы от него ни шло… — и не могла докончить. Однако отправилась в комнату роженицы, предварительно всех отослав, ибо Фоссеза вплоть до того дня обманывала окружающих; затем Марго, которая здесь обрела смирение, помогла ей родить девочку. Это был не сын, опасность миновала, Фоссеза

никогда не займет ее места. Генрих даже согласился на то, чтобы Марго увезла с собой его бывшую любовницу ко французскому двору. Так можно было удобно закончить эту историю, и он почувствовал облегчение.

А для Марго это значило больше. Она уехала прежде всего, чтобы сохранить свое достоинство; даже не будь она сестрой французского короля, снизошедшей до такого человека, как Генрих, и научившейся ради него смирению, она все-таки была женщиной. Правда, она бесплодна, уже не надеется родить сына и не надеется обрести покой. Она удалилась главным образом ради того, чтобы, пока они еще вместе, не разгорелась борьба между нею и ее возлюбленным повелителем и, пока еще рядом стоят их ложа, между ними не вспыхнула ненависть. Вначале у нее не было иных побуждений; но, конечно, Марго постарались использовать для уже давно не новых планов привлечения короля Наваррского ко двору короля Франции — как будто опасности, подстерегающие его при этом дворе, ей были меньше известны, чем ему! Однако она отрицала их все, и в своих письмах изображала дело так, будто его враги совсем, совсем выдохлись. Гиз постарел, а его брат Майенн разжирел, как свинья. Зачем бедная Марго это делала, неизвестно.

Она писала Генриху: «Будь вы сейчас здесь, все предлагали бы вам свою поддержку. За неделю вы приобрели бы больше друзей, чем за всю вашу жизнь у себя на юге». Она писала это потому, что ей хотелось, чтобы так было, ибо она гордилась своим повелителем. Возможно, что в ее словах даже была правда или доля правды. Но правдой оставалось и то, что Гизы по-прежнему ненавидят Генриха, а ее брат-король его недолюбливает. И если уж Карл Девятый не в силах был предотвратить Варфоломеевской ночи, то чему мог помешать его преемник? Он слишком слаб: таким неуравновешенным, смятенным, затравленным и одиноким еще не был ни один король на свете. И господа из Лотарингского дома на самом деле совсем другие, чем их описывала Марго. Город был наводнен их конниками; лотарингцы назначали чиновников и повышали налоги; не король, а они всем

распоряжались. Если бы король Наваррский явился в это разбойничье гнездо, которое было ему слишком хорошо знакомо, король Франции, может быть, и встретил его как своего освободителя, ну, а Гизы? Этот Наварра — единственный, кто еще стоял им поперек дороги, как они решительно заявляли королю испанскому, что же сделали бы они с Наваррой? Теперь собственной рукой не убивают, особенно те, кто почти добрался до престола. Так бывало только во времена адмирала Колиньи. А ныне Гиз и его Лига могли вызывать народные волнения, когда им это было нужно; во время одного из них как бы ненароком погиб бы, вероятно, и Наварра.

На этот счет никто в Нераке не сомневался; тайный совет тщательно обсудил вопрос, а Морней записал решение. Поэтому, когда Генрих читал письма бедной Марго, он невольно видел в них предательство — да отчасти оно так и было. Вместе с тем она горячо и искренне желала, чтобы ее государь стал великим. Но ее судьба решена, Марго сама обесценивает и сводит на нет свои заслуги, а Генрих уже перестал замечать их.

На ее двусмысленные зазывания он ответил прямым оскорблением. Он потребовал, чтобы Марго не отсылала Фоссезу, а оставила при себе: этим он сознательно порывал их дружеские отношения. Впрочем, в те времена он уже не думал о Фоссезе. Его увлекала и дарила счастьем другая женщина. Их сблизила не случайная нежность, и не страсть, загадочная, как рок или кровь. Когда Генрих познакомился поближе с этой дамой из Бордо, ему понравилось избранное ею самою имя — Коризанда, оно делало ее каким-то изысканным созданием, образом из романтических стихов. Его поразило сказочное окружение этой дамы; коротышка-шут, долговязый мавр, попугаи, обезьяны и еще всякие редкостные создания, составлявшие ее свиту, когда она ходила к обедне. Графиня де Грамон была умна, красноречива, в особенности же была богата. Вместо всякий иных красот у нее была очень белая кожа. Так как она с детства дружила с его сестрой, то Генрих встречал ее и раньше… А теперь вдруг вспыхнула страстная любовь или то, что он считал любовью.

Без сомнения, эта дама с первого же дня полюбила Генриха сильнее, чем он ее. Она давно уже тайком о нем мечтала и придумала себе такую свиту, только чтобы привлечь его внимание. Он мерещился ей по ночам, с того дня, как Фама произнесла во всеуслышание его имя, и она забрала себе в голову непременно стать его музой. — Эта муза великого государя и солдата будет на свои деньги вооружать для него полки, а после сражений и побед обнимать его своими белыми руками. Главное же, она заставит его писать письма, писать без конца; благодаря ей он сделается несравненным писателем. И это будет продолжаться в течение многих лет, пока ее честолюбие не будет утолено. А тогда все кончится еще и потому, что лицо музы уже не будет ослепительно белым, но покроется красными пятнами. И, как всякая другая, она станет сварливой и унылой и забудет о том, что все-таки выполнила свою задачу, которую сама себе избрала, так же как и имя «Коризанда».

А с Марго у него все по-другому. Он не пишет ей вдохновенных и изысканных писем. Она тут, когда ее тело тут. Расстаться с нею тоже можно, как и со всякой другой; но ее образ отпечатлелся на всей его юности, как волшебство или проклятие, и то и другое захватывает самую суть жизни, не то, что возвышенные музы. Марго не станет вооружать полки для своего возлюбленного повелителя, а скорее пошлет войска против него. Ибо она последняя, бесплодная, и будет тщетно стараться остановить его на пути к престолу. Даже с Лигой Гиза — с самим дьяволом! — заключит она под конец союз против ее собственного дома, и все это только из ненависти к своему возлюбленному повелителю. Когда ее брат Перевертыш умрет, она примется в смятении разъезжать вместо него по стране и будет вести себя как те, чей род погиб, и, преследуемая ненавистью своего брата-короля, наконец исчезнет совсем, одинокая женщина, настолько одинокая, что не сможет даже вредить; Марго просто исчезнет!

Пока она еще в Лувре и старается заманить туда Генриха описанием придворных празднеств. Она, конечно, знает, что у него завелась новая

подруга: об этом она не заговаривает, но мстит. К сожалению, несравненный Нарцисс женится, впрочем, она быстро находит ему самые разнообразные замены. Ее брат-король на придворном балу бросает ей в лицо имена всех ее любовников. На другой день она вынуждена уехать из Парижа, опозоренная, покинутая; хуже того: во время ее возвращения на юг ее неожиданно останавливают офицеры королевской охраны и обыскивают, как воровку. И кто же выезжает ей навстречу, и увозит в свой замок, и показывается с нею в окне? Кто к ней добр и молча обнимает ее, чтобы она знала: есть на свете человек, который вместе с ней страдает и делит с нею ее стыд?

Вечером Марго сидела рядом с Генрихом, который для виду слушал болтовню своих дворян, только чтобы самому говорить поменьше — особенно же с Марго. Ей бы изменил голос, ведь она беззвучно плакала. Но это были слезы радости, оттого что он к ней добр. К ним примешивались и слезы горечи за свое бессилие. «А он любит на этот раз по-настоящему! Всем я стою поперек дороги, и этой его любовнице с дурацким именем (она еще вздумает отравить меня) и ему. Какой прок от его доброты? Меня здесь уже нет».

Именно в эту минуту он нашел под столом ее руку и сжал. Сначала она пугается. Погруженная в свои страхи, она уже решает: «Это — прощание». Затем пугается вторично, но уже от радости: ведь прощания еще нет, самое худшее отодвигается. Кровь приливает ей к сердцу; порывисто склоняется она над его рукой и незаметно целует ее. Потом, наоборот, сидит очень прямо, больше не плачет, ни на кого не смотрит: она уже начала удаляться отсюда, Марго чувствует это, хочет позвать себя обратно, но пути назад закрыты. Марго! Неужели никогда? Вернись, если можешь! Не можешь? Меркнешь? Ускользаешь? Марго!

Похороны

Последний король из дома Валуа любил потанцевать, и танцевал он один, как ребенок, но лицо его оставалось мрачным, он ничего не мог с этим поделать. Иногда он вдруг отодвигал от себя тщательно переписанный указ и сбрасывал меховой плащ. Белое шелковое полукафтанье, узкие бедра, мальчишеская, не по возрасту, фигура — таким расхаживал король перед зеркалом, которое нарочно здесь ставили слуги. Начинала звучать отдаленная музыка, и он в своей тихой комнате делал изысканные па, совершал движения и принимал позы, полные неизъяснимого изящества. Из-под опущенных век он наблюдал за своим отражением в зеркальном стекле, словно танцевал другой человек. Это был не он. Увы, он не чувствовал себя радостным танцором, он был лишен небесной благодати и легкости, не знающей воспоминаний. Его они преследовали неотвязно; только у счастливого отражения в зеркале их не было. Не было у него и головы, ибо рама зеркала отрезала ее. А его голова, окруженная черноватыми духами, думала о смерти.

Брат Франциск безнадежно заболел; кровь выступала у него из пор, как некогда у брата Карла. Во Фландрии он бессмысленно расточал свои последние силы, как и остальные братья, а теперь умирал. Король был бездетен, он уже не надеялся иметь наследника, ибо ничто не помогало — ни лечение королевы водами, ни великое паломничество, когда его ноги сплошь покрылись волдырями, ни настойчивые моления всего двора, который проследовал крестным ходом через церковь Нотр-Дам. Словом, было сделано все; страх, тревога и муки перед неизвестным должны отстать на полпути, если человек в одиночестве, один идет навстречу своей смерти. Но ведь с роковым бесплодием и предопределенным свыше вымиранием рода не так легко раз и навсегда примириться — и не у Валуа нашлись бы на это силы. Двести лет господствовал его род, и он, последний Валуа, завершает его. Лишь по временам ему кажется, что жертва уже принесена. Неотступно и неуклонно устремлен духовный взор короля на предстоящий конец, и он

ежедневно готовится к нему, рисуя себе ужас этого конца и надеясь, что, быть может, даже ужас наконец иссякнет и смерть перестанет быть страшной. Ведь и для короля, завершающего былую эпоху, а также целый вымирающий королевский лом, смерть могла бы оказаться не тяжелее, чем для обычного человека, во всей его слабости.

И, чтобы добиться этой легкости, король танцевал один, или часами ловил чашечкой мячик, или вешал себе на шею корзинку со щенятами, перевязанную голубой лентой. Они в ней ползали и скулили: они жили, жили вместо него, а он мог не двигаться. Когда ему сообщили о смерти его последнего брата, он сам стоял, застыв, как мертвец; и не очнулся, не отозвался. Вошедшие онемели перед ним, им хотелось ткнуть в него пальцем.

Двор ожидал, что он опять начнет разыгрывать монаха, петь в хоре вместе с братией среди золотых подсвечников и кадильниц, рисунки которых сделал сам — от тоскливого желания создать хоть что-нибудь. Но нет, церемония погребения напоминала роскошную свадьбу. Народу пришлось принимать в ней участие и оплачивать ее совершенно так же, как и свадьбы королевских любимцев. Впереди шло все духовенство, даже те священники, которые с кафедры произносили проповеди против короля. Затем дворяне покойного несли гроб, а за гробом следовал король, единственный представитель своего дома, уже умершего. И зрители дивились: Валуа вел себя так, словно особенно старался выставить напоказ, насколько он одинок — и теперь и всегда: улицы затянуты черным, и он выступает один, без своей бесплодной королевы, в некотором отдалении от всех остальных, ибо там только чужие. Гроб его последнего брата был покрыт знаменем походов, принесших покойному довольно сомнительную честь и нередко направленных против его брата-короля. Последний желал ему смерти, а теперь, когда это желание исполнилось, он шел за телом один, между гробом и чужими людьми.

Первое место в свите занимали два его фаворита — Жуайез и Эпернон,

король подарил им герцогский титул и дал в жены двух сестер королевы. Сейчас же за ними шли его враги, вознамерившиеся против его воли наследовать ему, — шли Гизы.

Они выступали пышнее самого короля, их собственная свита была роскошнее, породистые кони, которых вели под уздцы. И они сами казались воплощением властной и дебелой мощи. Черты герцога Гиза приобрели за это время суровую жесткость. Он уже не изливал, как некогда, блеск своей красоты на простонародье и почтенных горожан, это был уже не сказочный герой их жен. Все приманки теперь не нужны, не нужно ни соблазнять, ни задаривать. Теперь можно просто приказывать. Уже незачем уговаривать горожанина или мужика, чтобы они оказали ему поддержку, — напротив, кто не желал вступать в Лигу и не присягал в слепом повиновении ее вожаку, мог считать себя погибшим! Выполняй свою трудовую повинность и неси повинность воинскую! Плати ему подати и, хоть жилы вздулись, торчи целый день на ногах каждый раз, когда Гизу вздумается созвать толпы своих приверженцев. А не хочешь, так не будет у тебя ни клиентов, ни работы, ты окажешься вне закона, и для тебя потрудятся только шпион да предатель, которые выдадут тебя. И если кто потом набредет на твой труп, то обойдет его сторонкой.

Преступное тайное сообщество неудержимо разрастается, оно охватывает своими щупальцами все государство и всасывает его в себя, а закон кажется таким же бессильным, как этот король, шествующий под балдахином на похороны своего последнего брата. И сегодня добрая половина участников шествия — духовные лица, военные, придворные, почтенные горожане и простолюдины — все они сегодня обсуждают вопрос о наследнике короля, словно уже хоронят его самого. Завтра даже его любимцы переметнутся к Гизу. Лига сживет его со свету, оттеснит на самый дальний клочок земли, пока его кто-нибудь там не прикончит. В сущности, он многое знает заранее, но заставляет себя, выпрямившись, шагать под парчовым

потолком балдахина и слушать то, что не предназначено для его ушей: как они делят между собой его провинции, заявляют о своих притязаниях на должности, на финансы, на военные силы. В действительности он всего этого не слышит, расстояние между ним и всеми этими людьми слишком велико; но он ощущает. Все внутри у него содрогается от предчувствий, похожих на жуткие шорохи. Он закрывает глаза, и ему чудится, что он блуждает ночью в лесу, полном опасностей. Кто защитит его?

Он приходит в себя; произошла заминка, на ступенях церкви какая-то шайка вопит: «Валуа! Чтоб ты сдох!» Это для него не ново. Такие выступления заказываются и оплачиваются, и он знает, кем. Вмешивается стража, крикуны бегут, давка среди идущих, в процессии смятение. Балдахин вдруг оседает и медленно опускается на короля, а тот нагнулся, он становится на одно колено, потом на оба, наконец даже ложится на камни лицом.

Когда он, опомнившись, встает, оказывается: Гизы окружили его, чтобы защищать. Они заслоняют его от народа, который видит только их и приветствует громкими кликами. Кардинал Лотарингский бесстыдно кажет толпе свое лицо непревзойденного злодея. Второй, Майенн, выставляет телеса, более жирные, чем положено иметь человеку коварному: это уж проверено и всем известно. А герцог — «великий человек»; так восклицает его наемный хор.

«Да здравствует Гиз!» — ревет тайное сообщество убийц; он хочет, чтобы им стала вся страна. Он хочет весь народ этой страны обратить в такое сообщество, и лишь немногое теперь мешает этому — так уверяет герцог. «Герцог — великий человек! Да здравствует Гиз!» — И вот уже не доброту являет надетая им маска, а строгость. Мышцы его лица жестко напряжены, что говорит о суровой решимости. После того как он загонит короля в угол, он разделит королевство между своими двенадцатью обер-мерзавцами, а всем унтер-мерзавцам будет тогда разрешено убивать и грабить, однако лишь при условии их полного и беспрекословного повиновения, иначе им самим

придется протянуть ноги и не то что прекословить, а навсегда утратить дар слова. Это решено: видите, как напряжены у нашего вожака желваки на скулах! Да, будут только убийцы и убиенные, нескончаемой Варфоломеевской ночью должно стать царствование нашего предводителя, да здравствует Гиз!

И когда они окружили короля и всякая дистанция исчезла, забытый Валуа утратил все свое знание, свою способность прозревать события и чуять их приближение. Он привлек к себе одного из сыновей Гиза — у герцога есть дети, он не бесплоден, нет, не бесплоден, — взял мальчика за плечо и привлек к себе, словно собственного ребенка. Так отстоял он всю заупокойную службу и весь обратный путь в свой замок совершил, окруженный своими убийцами и убийцами его страны, которые в этот раз все-таки еще защищали его. Процессия все разрасталась: на всех площадях к ней присоединялись наемники Гизов и дворяне. И теперь это шествие знаменовало собой уже не скорбь по одному из Валуа, но восходящую мощь Гизов. А последний из Валуа, обняв за плечи их отпрыска, шагал в такт барабанной дроби, которую отбивали их войска, — для них, а не для него. Под широким и суровым небом его государства ему принадлежал только резкий и жидкий похоронный звон небольшого колокола. И колокол все звонил, звонил.

Муза

Лига, несмотря на свое усердие в борьбе за римско-католическую церковь и за Гизов, на самом деле, сознательно или бессознательно, хотела только одного — распада королевства и торжества Испании. Но у святой Лиги была еще одна, правда, несущественная забота: король Наваррский; впрочем, он не мог считаться серьезным препятствием. Ведь когда столь мощное движение охватывает пробудившийся народ, оно, без сомнения,

достигнет своей цели. Решительно во всем находит оно себе опору и прежде всего в чувстве чести самой нации, больше не желающей терпеть всем очевидный позор, — в данном случае протестантскую ересь. Кроме того, обычно оказывается, что у «позора» денег мало, а у «чести» их много. Так же обстоит дело и с солдатами: они почти все оказываются на стороне «чести»; иначе не бывает.

Однако надо все учитывать, а король Наваррский вызывал о себе больше толков, чем следовало. И Лига решила, что с этим следует покончить. Он был взят под неусыпный надзор, и вот Лига получила сведения, что он постоянно бывает у графини Дианы Грамон, в одном из замков этой богатой дамы, которые находились в Гиенни, а там короля Наваррского легче было поймать. Всюду, где он мог проехать, Лига расставила конные посты. К сожалению, он именно в этих местах и не показывался, ибо знал, что его собираются захватить, и избегал постов Лиги. А осведомлен он был лучше их, ибо ему сообщала обо всем графиня Грамон. И так как другу стало теперь труднее ее посещать, в руках у графини сосредоточились все нити разведки. Если ей приходилось отговаривать его от посещения, он писал ответ — и письма эти были составлены в самом высоком стиле, ибо в них он устремлялся к своей заветной цели. Однажды, когда она была в Бордо, он написал своей музе следующее.

«Душа моя! — писал он. — Слуга, которого они схватили вместо меня неподалеку от мельницы, вчера уже прибыл ко мне. Они спросили, нет ли при нем писем, он же отвечал: да, одно… И отдал им, они вскрыли, а потом вернули. Это было письмо от вас, сердце мое».

Тут тонкий стилист про себя улыбнулся. Он размышлял о том, как хорошо бывает иногда писать любовные письма, в них бьется пульс самой природы. И врагам, наверно, даже стыдно становится своих нелепых подозрений, когда они, возвращая такое письмо, отпускают слугу. Потому-то они еще до сих пор не осведомлены о том, что моя любимая на свои деньги

снаряжает для меня отряды гасконских солдат. Пока их двенадцать тысяч, но это еще не все. Она должна выставить мне вдвое больше, и я этого добьюсь. Эта женщина честолюбива. И она любит короля, не имеющего ни денег, ни земли, ни солдат. Это моя первая любовница, которая мне ничего не стоит, да еще сама приплачивает. Но она об этом не пожалеет! Тут кровь закипела в нем, он мгновенно забыл и про деньги и про солдат и быстро сделал приписку: «Завтра в полдень отбываем — я тоже, и намерен сжечь ваши руки поцелуями. До свидания, дражайшее из моих сокровищ, смотри, не разлюби своего малыша».

Вот как все это было. Вот как «малыш» обращался к своей музе и защитнице. Из всего ее тела лишь о руках упомянул он, а ведь кровь у него кипела. Но эта женщина научила его преклоняться перед возлюбленной и с неведомой дотоле изысканностью выражать свои чувства, хотя они, по сути, оставались теми же.

На следующий день он, как обещал, выехал верхом в Бордо: что-то она скажет по случаю той нелепой схватки, которая у него только что произошла с горсточкой людей французского короля? Потери — двое убитых, добыча — пять лошадей; она, наверное, будет бранить своего возлюбленного, ведь это недостойно его. Но даже в таких делах рискуешь жизнью не меньше. Смотри, не разлюби своего малыша.

Он рывком натягивает повод. За широкими лугами синеет лес, его омывают воды Гаронны. Из рощи выезжает всадница. Она сидит боком на широкой спине своего коня, низко свисает подол белого платья, поблескивающего в лучах солнца. Она слегка нагибается вперед, склоняет голову, стараясь получше рассмотреть Генриха. Движения ее невесомы, и вся она неземное видение, она сходит с небес, обещая славу и величие. — Фея! — восклицает он, соскальзывает с седла и опускается на одно колено. Но она манит его к себе рукой, и драгоценные каменья ее перстней играют в лучах солнца. Он спешит к ней; она слегка приоткрывает объятия. Чуть приседая,

она здоровается с ним и с выражением блаженства закидывает голову. Он жадно осыпает поцелуями ее руку, она целует его в голову.

Эта сцена была их достойна, и оба упивались ею; Генрих — главным образом из благоговейного трепета перед этой женщиной и ее именем — Коризанда. Оно обязывало к приподнятым чувствам. Достигнув берега реки, они опустились на траву под тополями. Он озабоченно поглядывал на их двух лошадей, — впрочем, те мирно паслись. — Моя высокая подруга! — вздохнул он. Она же молвила просительно и вместе с тем благосклонно: — Сир! — Широко раскрытыми глазами, полными несказанного блаженства, окидывала она безмятежный пейзаж: едва шелестящие деревья, лепечущие воды. — Мы одни! Мы ничего не ведаем о войне, мы никогда не слышали об ужасах чумы. Хоть все это, вероятно, и существует в мире, но сюда не доходит. Предатели, покушающиеся на нашу жизнь, напрасно ищут нас, мы здесь так далеко от всех!

Он слегка двинул плечом — в сторону кустарника, за которым оставил свою охрану. Ее провожатые ожидали в рощице, он даже разглядел несколько силуэтов. Когда блаженная идиллия кончится, они все покажутся. Генрих увлекся и стал описывать своей возлюбленной тот остров, где они будут жить. Он совсем недавно открыл его. Это прелестный остров, он покрыт садами, по каналам скользят легкие челны, и на ветвях распевают всевозможные птицы. — Вот, возьми, душа моя, это их перья. Еще охотнее я бы принес тебе рыбок. Ужас, сколько там рыбы, и прямо даром: огромный карп стоит три су, а щука — пять су. — Генрих невольно перешел от возвышенных чувств к реальным фактам. Поэтому она поблагодарила его за превосходный паштет, который он прислал. Что же касается ручных вепрей, то они живут теперь в парке Агемо, и трудно представить себе что-нибудь очаровательнее этих хищных зверей с такой густой и колючей щетиной. — Вы умеете, сир, безошибочно угадывать все, что нравится вашей покорной служанке. Я вынуждена быть благодарной вам до конца моих дней! — Хотя

дама и сказала это с некоторой иронией, но ирония была чисто материнской. Да иначе и не могло быть. Будучи его сверстницей, а в действительности зрелее его, эта тридцатидвухлетняя женщина спокойно взирала на то, как его руки блуждают по ее телу. Она была невозмутима. Лицо ее оставалось безукоризненно белым, взгляд — полным спокойной нежности, как будто его ласки ее не касаются. Она знала, чего хочет, и воображала, что руководит им. В эту минуту она хотела пощадить его королевское самолюбие, потому и заговорила о его подарках и своей благодарности. Правда — с насмешливой снисходительностью. Лишь после этого стала сама его одаривать: ее благодеяния были куда существеннее, и он становился ее неоплатным должником — она надеялась, навсегда.

Дама хлопнула в ладоши, из рощи вылетели два всадника: какие-то незнакомые офицеры. Только когда они сошли с коней, Генрих увидел у них на перевязи свои цвета. Сняв шляпы с перьями, они взмахнули ими над самой землей и попросили у графини Грамон разрешения представить королю Наваррскому его новый полк. Она милостиво кивнула. Снова шляпы до земли, и офицеры галопом ускакали обратно; Генрих не успел и опомниться. Никому не было дано так изумлять его и переносить в царство чудес, как Коризанде.

— Сир! Я честолюбива, — заявила она, желая пресечь всякие изъявления благодарности. — Я хочу видеть вас великим.

— Боюсь, что вы зря потратите ваши деньги. Даже если я стану королем Франции, я не смогу достойно отплатить вам за то, что вы сейчас делаете.

Им овладел восторг. На глазах его выступили слезы: волей-неволей он был вынужден преклониться перед своей великой подругой. Разве не от самих женщин зависит его отношение к ним? Либо они воодушевляют его, либо он смотрит на них пренебрежительно. Они сама жизнь, вместе с нею меняется и ценность женщины. Графиня Диана достигла ныне своей наивысшей цены, и она понимала это. Ее заслуга была в том, что она не

давала ему произнести те слова, о которых он мог бы впоследствии пожалеть; и она поступила весьма благоразумно, удержав его.

— Молчите, сир! Но когда вы в один прекрасный день въедете в столицу вашего королевства, не забудьте поднять взор к одному из балконов. Вот и все, этого достаточно.

— Вы въедете в столицу вместе со мной, мадам.

— Разве это может быть? — спросила она, замирая от волнения, ибо — увы! — когда забьется сердце, разум умолкает.

— Вы будете моей королевой. — Тут он торжественно поднялся и посмотрел вокруг, словно ища свидетелей, хотя их было поблизости немало. И действительно, из кустов вышли его люди, а вдали показались спутники графини. И вдруг лицо короля омрачилось, он топнул ногой и резким тоном воскликнул:

— А кто меня выдал моим врагам? Но они не поймали меня, им удалось захватить только моего слугу? Я знаю, кто! Покойная королева Наваррская!

Он так ненавидел Марго, что называл ее покойницей. Она его покинула, укрепилась в городе Ажене и там умышляла его гибель. Он желал ей того же. Стоявшая перед ним графиня испугалась: она увидела стихийное кипение чувств. «А что я для него? Совсем чужая. Что останется после меня? Его письма — только слова, да и те он говорит самому себе. Лишь тот, кто одинок, обращается к своей музе». На миг графине точно открылось будущее: она увидела бесконечные обиды, он вечно будет обманывать ее, никогда не женится, в конце концов начнет даже стыдиться своей подруги, ибо фигура ее расплывется, на коже появятся пятна… Но мгновение промчалось — вот она уже снова ни о чем не догадывается. Грянули барабаны, и появился полк.

Разделенный надвое, быстрым шагом, легким и бодрым, он вышел из-за рощи, на широком лугу обе половины соединились и сомкнули ряды. Офицеры доложили графине, что ее полк прибыл. А она, словно приглашая короля принять этот дар, слегка присела, подобрав свое длинное платье. Он

взял ее за кончики пальцев, приподнял их и подвел даму к выстроившимся во фронт солдатам. Тут она опять склонилась перед ним, и на этот раз очень низко; затем воскликнула — и голос ее звонко прокатился над головами двух тысяч солдат:

— Вы служите королю Наваррскому!

Король поцеловал руку графине Грамон. Он приказал знаменосцу выйти вперед, а к ней обратился с просьбой освятить знамя. Она сделала это и прижала тяжелый затканный шелк к своему прекрасному лицу. Затем король Наваррский один прошел по рядам, он схватывал то одного, то другого солдата за куртку, узнавал их и вдруг кого-нибудь обнимал: этот уже служил ему. И всем хотелось услышать то, что он говорит каждому из них; наконец он обратился ко всем.

— И я и вы, — заявил он, — сейчас белые да чистые, как новорожденные, но долго такими не останемся. Наше военное звание требует, чтобы мы были сплошь порох и кровь. Целым и невредимым остается только тот, кто хорошо мне будет служить и не отступит от меня даже на длину алебарды. Я всегда умел справляться с лентяями. Тесен путь к спасению, но нас ведет за руку господь…

Так говорил король Наваррский, обращаясь к двум тысячам своих новых солдат, а они верили каждому его слову. Тут же грянули барабаны, колыхнулось знамя, и он вскочил на коня. У него уже не было времени подставить руку графине, чтобы она, опершись на нее ногой, тоже могла сесть в седло. Она села сама и помчалась впереди своих придворных дам и кавалеров.

Генрих не посмотрел ей вслед: у него был свой полк.

Во весь опор

Едва достиг он со своим полком большой дороги, как вдали на ней заклубилась пыль; что могло там быть, кроме врага? Уже доносился топот копыт. Генрих велел своим солдатам залечь во рву, а часть спрятал в лесу, пока не выяснится, на кого придется нападать. Между тем из желтых облаков пыли уже вынырнули первые всадники; сейчас они будут здесь. Вперед! Генрих и его дворяне ставят коней поперек дороги и хватают скачущих за поводья. От толчка один вылетает из седла и, уже валяясь под копытами, кричит в великой тревоге:

— Король Франции!

В это мгновение облако пыли оседает, и из его недр появляется то, что она скрывала: карета, запряженная шестеркой, форейторы, конвой, свита — поезд несется во весь опор. Генрих уже не успевает очистить дорогу, и карета, покачнувшись, вдруг останавливается. Кучер осадил лошадей, они дрожат, а он бранится, всадники приподнимаются на стременах, иные размахивают оружием.

— Мы друзья, господа! — кричит Генрих; он указывает на ров и на рощу. — Я привел с собою целый полк, чтобы охранять короля!

— Вот дьявол, оказывается, он поджидал нас! — Они растерянно переглянулись и расступились перед ним. — Мы скачем от Парижа без передышки, никто не мог нас обогнать, разве что на крыльях!

Генрих спешился, подошел к окну кареты и снял шляпу. Стекло занесло пылью, и его не открыли. Никто из слуг, стоявших поблизости, и не подумал о том, чтобы распахнуть перед королем Наваррским дверцу кареты. Но так как все были изумлены, то воцарилась тишина. Генрих и сам затаил дыхание. И он услышал среди полного безмолвия, что происходит за пыльным стеклом окна. Он услышал, что король судорожно рыдает.

Очень многое пронеслось при этом в памяти Генриха, очень многое. Но лицо ничего не отразило, он сел в седло и поднял руку. Поезд тронулся — карета, запряженная шестеркой, форейторы, конвой, арьергард, а также полк

Наварры; солдаты двинулись быстрым шагом, легко и бедро. Они не отставали и пешком, ибо королевский поезд уже не мчался. Все это было очень похоже на бегство, как будто король Франции без оглядки бежал из своей столицы в самую — свою отдаленную провинцию. Именно так оно и было, и, как ни был Генрих поражен, он все понял: «Куда же король едет? Ко мне? Неужели дело дошло до того, что он у меня ищет защиты? Но я сделаю так, что ты никогда об этом не пожалеешь, Генрих Валуа», — думал Генрих Наваррский, ибо в подобных случаях бывал он сердцем жалостлив и благороден.

Когда они достигли города, уже наступил вечер. Стража у ворот не знала, кто сидит в карете, а жители, смотревшие в окна, едва ли могли разобрать что-нибудь, так как было темно. Карета и войско двигались во мраке, а если попадался висевший над улицей фонарь, король Наваррский посылал кого-нибудь вперед, чтобы его потушили. Возле ратуши он дал знак остановиться. Не успел он сойти с коня, как дверца кареты отворилась. Король вышел: он тут же обнял своего кузена и зятя, но молча, не заговорил и потом. Сильнее, чем он это сознавал, жаждал король обнять отпрыска своего дома, хотя бы в двадцать первом колене.

Короля раздражало все вокруг — здания и войска, занимавшие площадь и улицу. Из дома вынесли лампу, и Генрих заметил на лице короля испуг и зарождающееся недоверие: — Я хочу видеть маршала де Матиньона, — сказал король. Он вспомнил, что должен поддерживать не губернатора, а его заместителя. Нельзя отступать от заученного плана!

— Сир! Его сейчас нет в Бордо, и гарнизон его крепости нас так сразу не впустит. А в ратуше я дома: Ваше величество здесь будут в безопасности, и вас примут хорошо.

Услышав столь легкомысленные слова, сказанные его зятем и кузеном, король нахмурился еще больше. Он чуял в этом какой-то умысел и подвох и был отчасти прав; ибо по пути сюда Генрих, несмотря на благородство и

чуткость сердца, тщательно обдумывал, где и как лучше всего завладеть этим Валуа. И решил, что, пожалуй, удобнее в ратуше, ибо там всем управлял его друг Монтень. Следуя глазами за взглядом короля, Генрих воскликнул:

— У моего полка одна цель — охранять ваше величество!

А король надменно ответил:

— У меня у самого есть полки.

— Ваши конники, сир, под командой — маршала де Матиньона рассыпались по горам и долинам, чтобы сразиться с моими.

Король вздрогнул. Он понял, что попал в западню. А Генрих, увидев это, почувствовал к нему сострадание; быстро наклонился он к королю и настойчиво прошептал ему на ухо: — Генрих Валуа, зачем же ты приехал? Доверься мне!

На лице несчастного короля отразилось некоторое облегчение: — Пусть твои войска уйдут отсюда, — потребовал король также шепотом, и Генрих немедленно отдал приказ, чтобы они удалились; но для офицеров добавил: пусть полк остается в городе, отрежет его от крепости и будет готов отразить нападение врага. Валуа, мы не уверены друг в друге. Он был счастлив доложить:

— Сир! Мэр города и господа советники!

Вышли четверо мужчин в черном, они опустились перед королем на колени. Один из них, с золотой цепью на груди, приветствовал короля по-латыни, чистоту которой король не мог не отметить; это было тем похвальнее, что классические обороты трудны в обыденной речи, особенно же они трудны для южанина. Королю было приятно, минутами он почти забывал об опасности. Он попросил советников встать и, наконец, проследовал в ратушу. Иные потом утверждали, что лишь красноречие господина Мишеля де Монтеня побудило его это сделать.

Наследник престола

Сначала мэр города ввел короля в самую обширную залу. Ввиду столь неожиданного приезда его величества ее не успели еще должным образом осветить. Далекие тени в углах тревожили Валуа, он потребовал, чтобы ему отвели небольшую, но ярко освещенную комнату, поэтому отперли библиотеку мэра. Король Наваррский приказал своим дворянам нести охрану вместе с дворянами короля Франции. Валуа, уже входя, обернулся и громко заявил: — Здесь, у дверей, будут только мои! — А Генрих отозвался не менее решительно: — А мои займут выход!

Так они, каждый обезопасив себя, перешагнули порог. Монтень хотел остаться со свитой, но король приказал ему войти. На лице его появилась угрюмая усмешка, и он сказал: — Господин де Монтень, вы заседаете в моей палате. Эта комната тесна. Если сюда ворвутся убийцы, мы погибнем в схватке все трое. Вы заблаговременно предупредите меня об опасности?

И у Монтеня изменилось лицо — может быть, он придал ему выражение насмешки и, уж конечно, преданности. Он сказал: — Omnium rerum voluptas… Во всем именно опасность нам приятна, хотя как раз ейто и надлежало бы нас отталкивать.

— У вас много книг, — заметил в ответ ему король, обвел взором стены и вздохнул. Он вспомнил свои писания, удобный меховой плащ, монашескую сутану; облачившись в нее, он воображал, что с суетным миром навсегда покончил. Здесь же предстояло бороться.

— А удастся нам добиться чего-нибудь дельного? — спросил он без всякой уверенности в голосе. Его кузен и зять ответил: — За мной задержки не будет. — И уже преклонил было колено. Король подхватил его, поднял и сказал: — Брось весь этот вздор… Я про церемонии… Говори, чего ты хочешь?

— Сир! Я прошу только ваших приказаний.

— Ах, оставь, выкладывай!

Король ощупал глазами стены — не может ли какая-нибудь книжная полка повернуться на петлях. И так как не нашел потайной двери, которой так опасался, то собственноручно выдвинул кресло на самую середину комнаты. Тут уж никто не смог бы неожиданно наброситься на него; порой его движения становились совсем мальчишескими.

— Может быть, наоборот, вы, сир, ждете чего-нибудь от меня? — спросил Генрих. — Я охотно обсужу ваши пожелания с моими друзьями.

— Это уже не раз обсуждалось. Все дело в том, чтобы вы, наконец, решились, — заявил король неожиданно официальным, даже торжественным тоном. Генрих отлично знал, о чем идет речь: о его переходе в лоно католической церкви. Но он сделал вид, что не понимает, и с напускной горячностью принялся возмущаться и жаловаться на своего наместника в Гиенни. По его словам, маршал Матиньон ничуть не лучше прежнего, Бирона. Генрих приплел сюда даже самого короля: — Вам бы следовало отцом мне быть, а вы по-волчьи воюете против меня. — Король возразил, что ведь Генрих не желает повиноваться. — Я-то вам спать не мешаю, — отозвался Генрих. — А вот из-за ваших преследований я уже полтора года не могу добраться до своей постели.

— Какие вести вы сообщили через ваших дипломатов в Англию? — спросил король. И тут Генриху пришлось отвести глаза. Правда, Морней писал, что все добрые французы взирают на короля Наваррского, с надеждой, ибо при теперешнем правительстве им живется плохо и от герцога Анжуйского они не ждали ничего путного: он уже себя показал. И вот он умер, а он был последним братом несчастного короля.

— Прошу прощения у вашего величества, — сказал Генрих и еще раз хотел было преклонить колено. Но так как никто его не удержал, он выпрямился сам. Король же решил, что, достигнув кое-каких успехов, можно

сохранять и некоторую строгость.

— Неужели вы хотите и впредь быть причиной всех бедствий в стране и толкать королевство на чуть гибели? — спросил он.

— Тут, где повелеваю я, еще ничего не погублено, — отозвался Генрих. Тогда король вернулся к главному вопросу:

— Вы же знаете, каковы мои условия и в чем состоит ваш долг. Разве вы не боитесь моего гнева?

Да, переход в католичество, только это. Генрих сразу понял, чего хочет король. Пусть все идет в королевстве как попало, лишь бы наследник престола сделался католиком.

— Сир! — твердо заявил Генрих. — Это говорите не вы. Вы мудрее ваших слов.

— А вы просто невыносимы, — раздраженно отвечал король, — то садитесь на край стола, то убегаете в конец комнаты, то книгу хватаете с полки. Я ненавижу движение, оно разрушает строгость линий.

Генрих ответил стихом из Горация: «Vitamque sub divo — … Да не будет у него иного крова, кроме неба, и пусть всю жизнь не ведает покоя!..» При этом Генрих взглянул на господина Монтеня, и тот склонился перед обоими королями, уже не делая между ними различия. Затем снова стал у двери, точно страж.

А король Франции начал сызнова: — И ради этой столь мало приятной жизни вы упорствуете?

— Разве вы в вашем замке Лувр счастливее? — отпарировал Генрих. — Сир! — продолжал он многозначительно. — Я хочу только произнести вслух то, что вам уже должно быть известно: хоть мне и нанесены многие незаслуженные обиды, я к вам не чувствую ненависти, ибо вы были как воск в руках других. И ненавижу я этих других, а вы — мой государь и повелитель. На вашем престоле сидели искони лишь законные наследники, им не владел ни один самозванец. Так было в течение семи с половиной

веков, начиная с Карла Великого!

Эту длинную речь Генрих произнес намеренно, чтобы дать королю время собраться с силами для заявления, ради которого тот сюда и прикатил. Ведь король решил назло Гизам назначить наследником своего кузена Генриха. «А что ему еще остается после смерти брата и — зловещих событий во время похорон, о которых мне сообщил конник? Кто бы я ни был — католик или турок — ты, Валуа, должен назначить меня». Так думал Генрих, в то же время не спуская глаз с лица короля: оно непрерывно меняется — вот его напускная неподвижность перешла в судорожное подергивание, и неудержимо близится взрыв. Последним толчком явилось почему-то упоминание о Карле Великом. Король, который только что был сер лицом, внезапно побагровел и стал похож на Карла Девятого, когда тот еще был тучен и говорил зычным голосом. Он вскочил с кресла и, стоя перед Генрихом, тщетно силился заговорить. Наконец он овладел своим голосом.

— Негодяи! — И проговорил более внятно: — Негодяй Гиз! Теперь он уверяет, будто тоже ведет свой род от Карла Великого! Этого еще не хватало. Какая наглость! Он пишет об этом и распространяет этот бред в моем народе! Он-де единственный законный потомок Карла, а все Капетинги, сидевшие на французском престоле, — незаконные потомки. Этого нельзя вынести, Наварра! Какой-то обманщик, чужеземец, и притом ничтожного рода в сравнении с нашим, осмеливается называть нас бастардами, а себя самого — истинным наследником французской короны.

— Видите, до чего дошло, а все потому, что вы слишком долго терпели, — вставил Генрих тоном человека, призывающего другого к благоразумию. Но король был вне себя. Захлебываясь от ярости и запинаясь, пытался он что-то сказать:

— Я ускользнул от его лап… мчался во весь опор… Но я там оставил моих маршалов, Жуайеза и Эпернона… — «Хороши маршалы в двадцать пять лет, да и каким способом они стали ими?» — подумал Генрих.

— Они поступят так, как сочтут нужным, чтобы избавить меня от Гиза… Когда я вернусь, возможно, его уже не будет на свете.

Тут незадачливый Валуа повял, что сказал лишнее — при кузене Наварре, да еще при чужом человеке со слишком умными глазами: наверно, предатель! «Где мой кинжал?» — этот вопрос можно было прямо прочесть на лице бедного короля: таким оно стало черным и отталкивающим. Страх, жажда поскорее убить, лишь бы убрать человека со своего пути, материнская кровь, долгое воспитание в Лувре — все это, вместе взятое, превращает лицо последнего Валуа в какую-то звериную маску. Господину Мишелю де Монтеню хоть и становится не по себе при виде кинжала, но он испытывает глубокую жалость к королю, ибо ничто не делает человека столь беззащитным, как затемнение его разума. И хотя Монтень всего-навсего скромный дворянин, заседающий в королевской палате, но тут сказывается его превосходство и над королем, ибо сам он никогда не теряет способности мыслить, даже во время сна. Поэтому он дерзнул сделать шаг вперед и заговорить.

— Сир! Никогда не следует нам поднимать руку на наших слуг, покамест мы гневаемся. Платон считает это одним из основных правил поведения. Поэтому и сказал однажды лакедемонянин Хариллилоту, который был дерзок: «Клянусь богами, не будь я взбешен, я бы тебя прикончил!»

Господин Мишель де Монтень отлично знал, почему он привел именно этот пример: он хотел напомнить королю о том, какое гигантское расстояние отделяет его от остальных людей, от любого человека — будь он простой дворянин или герцог Гиз. Он всегда государь, а они — слуги, и они не могут оскорбить его, а он не может мстить. Если приведенный им пример и таил в себе долю лести, то все же не противоречил истине и служил умеренности; потому-то философ и привел его. Впрочем, пример имел больший успех, чем гуманист мог желать. Король повернулся боком, прижался лбом к высокой спинке кресла, и по вздрагивающим плечам было видно, что он плачет.

Теперь он скорбел безмолвно, и в этой скорби чувствовалась не только боль, но облегчение, покорность, примиренность. Потому-то к этим двум людям, которые легко могли его убить, он и встал спиной, ибо молча проливал слезы. Он уже не боялся никого.

Когда король очнулся от своего внутреннего уединения, глаза его были красны, а лицо — как у тоскующего ребенка. — Знаешь, кузен Наварра, ведь мы лет десять с тобой не видались!

— С тех пор как я проскользнул у вас между пальцев? Неужели десять лет? — поспешно спросил Генрих; у него, как и у короля, лицо вдруг изменилось — стало лицом невинной юности.

— Десять лет прошли, как один день, — сказал кузен Валуа. — И я уже не помню, чем они были заполнены. А у тебя?

— Тяготами жизни? — последовал ответ с вопросительным повышением голоса. Тут Генрих покачал головой.

Кузен Валуа взял его руку и многозначительно пожал, пробормотав вполголоса: — Все было ошибкой. Ты понимаешь меня? Ошибкой, ослеплением, несчастной случайностью. — Так оправдывают свою неудавшуюся жизнь, и когда настает подобная минута — это минута изумления.

— Кузен Наварра! Неужели так должно было случиться? Вспомни об одном: ведь ей, ей самой ни за что бы не додуматься до Варфоломеевской ночи!

Генрих тоже с удивлением сказал, вспоминая прошлое: — Она же понимала, что Гизы могут стать опасными после Варфоломеевской ночи. Что они продадут королевство Испании; она мне это и предрекла. Но она была вынуждена действовать вопреки своему более глубокому знанию. — «А уж это поистине глупость», — добавил Генрих про себя. — Признаюсь тебе, — шепнул он на ухо кузену, — я ужасно ее ненавидел — и за свои собственные несчастья и за те огромные и нелепые препятствия, которые она постоянно

ставила на пути к благополучию нашей страны.

— А что она сделала из меня! — шептал кузен Валуа. — Я так презирал ее за это!

Тут оба внезапно смолкли, вдруг поняв, что говорят о мадам Екатерине, как об умершей. А зло, сотворенное этой мниможивой, продолжало независимо от нее расти. Кузены снова стали перед фактом, что они противники и настроены враждебно друг к другу. И сейчас же после дружеского перешептывания они вернулись к упрекам.

— Я, Наварра, не требую ничего, кроме твоего перехода в католичество, тогда я смогу объявить тебя наследником престола.

— Я же, Генрих Валуа, предложил бы тебе заключить союз, если бы только был уверен в твоей стойкости.

— А ты, — что дает тебе твою непоколебимую стойкость, Генрих Наварра? Ведь не вера же твоя. Тогда что, хотел бы я знать? — Так допытывался Валуа, поглощенный лишь заботой о том, как бы обрести ее, эту твердость, и идти в жизни прямым путем.

— Сир! — заговорил Генрих уже другим тоном. — Я буду настаивать на том, чтобы вам оказывали должное повиновение; я буду бороться со всеми, кто замышляет зло против вас; чтобы исполнять ваши приказания, я готов отдать всего себя и все, чем я владею. Единственное, к чему я стремлюсь, — это спасение престола. Ведь после вас, сир, я, стою к нему ближе всех.

Таким языком говорит только правда. И когда Генрих затем преклонил колено, король его не остановил, и было ясно, что это уже не пустая церемония. Он поднялся, только когда встал и король. Генрих предчувствовал, что сейчас прозвучат знаменательные слова; их он должен выслушать стоя. Король же сказал, словно перед большим собранием:

— Сегодня я объявляю короля Наваррского моим единственным и законным наследником.

Валуа вдруг схватился за грудь и, покачнувшись, отступил на шаг. Ведь

он назначил протестанта наследником католического королевства! Он бросил вызов Лиге, и теперь ее ненависть к нему может толкнуть ее на убийство. Это был самый смелый поступок в его жизни.

Затем он обратился к мэру города Бордо и предложил хорошенько запомнить только что сказанное — на тот случай, если с ним самим случится несчастье до того, как он повторит свое решение в присутствии двора и парламента.

Господин Мишель де Монтень ответил: — Да, обещаю, — и на этот раз не цитировал древних авторов. Он совсем позабыл об них после всего, что открылось ему в этот час, проведенный с королем и наследником. Вернее, он уже обладал этим знанием, но оно получило такое подтверждение, что стало для него как бы новым.

Искушение

Однажды, несколько дней спустя, уже в Париже, король сидел у камина, задумчиво глядя на огонь, и, казалось, даже не слышал, о чем вокруг него говорят придворные. Его любимцы — Жуайез и Эпернон — отсутствовали. Пока король путешествовал, они, вместо того чтобы убить Гиза, стакнулись с ним. В комнате находился толстяк Майенн, брат герцога Гиза, получивший титул герцога дю Мэна. С самого утра король набирался храбрости, чтобы в присутствии одного из лотарингцев повторить во всеуслышание свое решение, принятое и объявленное им в Бордо. Истекал последний срок: пройдет еще час, и собственные гонцы Гиза, может быть, уже успеют сообщить ему эту весть. Находившиеся в комнате дворяне говорили о брате короля, они обсуждали его болезнь, и его странную смерть — они наблюдают такую смерть уже в третий раз, и она постигла не только его, но и двух его старших братьев. Придворные позволяли себе говорить об этом, хотя можно

было предположить, что и самого короля ждет такой же конец. Но для одних короля уже не существовало, хотя он был здесь и присутствовал собственной особой; другие нарочно вели этот разговор, чтобы выслужиться перед герцогом дю Мэном. Вдруг король отвернулся от огня. Он сделал один из своих мальчишеских жестов — от страха; и с беспечностью, которая должна была послужить ему извинением, проговорил: — Вы занимаетесь покойниками.

Он испытующе обвел взглядом придворных, обойдя лишь толстяка, хотя его брюхо особенно лезло в глаза. — Я же занят живыми. Сегодня я объявляю короля Наваррского моим единственным и законным наследником. Он весьма способный правитель, которого я искренне… — Все это он сказал, не переводя дыхания, без пауз, чтобы опаснейшая фраза насчет наследника как можно меньше выделялась, а может быть, даже и вовсе не дошла бы до слуха присутствующих. Однако случилось по-другому. Начался ропот. Обтянутое шелком брюхо надвинулось на короля. А король лопотал еще торопливее:

— Я всегда его искренне любил и знаю, что он мне друг. Он легко увлекается, любит крепкую шутку, но по природе толков. Я убедился, что мы с ним близки по характеру и можем поладить друг с другом.

— Да ведь он протестант! — заорал в ответ Майенн.

— Я ухожу к себе в кабинет, — заявил король, вставая. Придворные расступились. Дверь, в которую он вышел, осталась открытой, они видели его удалявшуюся спину. И тут Майенн раскричался: — Назначить наследником гугенота, это тебе даром не пройдет, Валуа! Самому уж и терять нечего, а еще престолы раздает!

Король все слышал, пока медленно плелся через соседнюю комнату, чтобы его бегство не было слишком явным. А они именно потому и не закрыли дверь. Иные даже высунули головы, чтобы увидеть раньше других, не затеял ли он что-нибудь опасное. Наиболее пугливые бросились за ним следом. А Майенн бушевал: — Нет, пусть вмешается папа! Мы заставим

отлучить Валуа от церкви, — визжал он фистулой. И тут же визжал обратное: — Выбреем ему тонзуру и заточим в монастырь!

Они отвесили толстяку более низкий поклон, чем обычно, и назвали его «князем веры» — титул, который Майенн себе присвоил, чтобы в глазах простонародья и почтенных горожан иметь хоть какое-то преимущество перед своим братом Гизом. Пока они не победили, господа лотарингцы все же держались друг друга. А потом каждый надеялся отнять у остальных плоды победы. Майенн посоветовался не со своим братом, которого, впрочем, и не было в городе, а со своей сестрой, герцогиней де Монпансье, и Лига вскоре выслала народ на улицы. Там он подвергся обработке ораторов, читал плакаты, и сам, взбудораженный всем услышанным, записывал взволновавшие его впечатления на стенах домов. Валуа проиграл бесповоротно, что бы он теперь ни сделал. Если он не обратится за помощью к Наварре, он погиб. А если примет помощь, — и подавно: тогда мы заявим, что он сам гугенот. Пусть идет в монахи, ничем другим он никогда и не был. Вот что они писали на стенах и орали друг другу в разинутые рты.

В то время как происходили вышеописанные события, герцог Гиз был на охоте. Он нарочно уехал из города. На обратном пути до него дошли первые вести, но он не мог прискакать столь быстро, чтобы помешать сестре произносить пламенные речи с балкона ее дворца и поджигать студентов. Когда он, наконец, прибыл, она только что закончила одно из своих яростных выступлений и уже перешла к следующему. На этот раз она выступала перед королем Франции.

Герцогиня де Монпансье, рослая, статная, явилась в Лувр в своем портшезе с таким видом, словно ее царствование уже началось. Дворцовая охрана разбежалась — до того страшен был вид герцогини: волосы свисали на деспотический нос, жестокие глаза свирепо сверкали, в руках она сжимала кнут, повсюду на ней сверкали драгоценные каменья, даже на кнуте. Она потребовала, чтобы вызвали короля, и так как его слуги попрятались, то он,

наконец, вышел один из своих покоев.

— Мадам, я мог бы заточить вас в Бастилию. — Не дав ей опомниться, он выхватил у нее кнут и швырнул в угол.

— У меня еще есть ножницы, — завизжала фурия и показала их. Ножницы были золотые и висели у нее на поясе. — У них особое назначение! — заявила она, меча на него кровожадные взгляды.

Он знал, какое назначение — выстричь ему тонзуру. И сказал: — Госпожа Лига еще более злая дама, чем вы, мадам. Но и ей не выстричь мне тонзуры.

Она засмеялась полубезумным смехом: — Сир! Вы не способны удовлетворить ни одной женщины! Франция вам никогда не принадлежала, госпожа Лига также, а я — тем меньше. — Так как она при этом размахивала ножницами у него перед носом, он вдруг выхватил их; мгновение — и он уже держал в руке ее локон, который срезал с ее красивой головы с буйными кудрями. Охваченная ужасом, она вдруг умолкла, а король сказал: — Этот локон, мадам, я оставлю себе на память о вашем посещении.

— Откуда у вас такая смелость? — спросила герцогиня, которая начала приходить в себя и уже ясно видела лицо короля. Несмотря на то, что он стоял перед ней собственной особой, она до сих пор видела его лишь смутно, как во сне. — Что это на вас нашло? — спросила она.

Король не ответил. Он пожал плечами и уже намеревался вернуться к себе. Но так как все двери остались распахнутыми, он увидел, как через самые отдаленные ворвался герцог Гиз. Королю стало не по себе; однако он не побежал, а топнул ногой и, насколько мог мужественно и властно, позвал охрану. Уже со всех сторон к нему спешили люди, появился, наконец, и маршал Жуайез. Что до Гиза, то он вошел, совсем запыхавшись, и принялся заверять короля в своей преданности. Он-де бросил на простонародье своих солдат, дерзко заявил Гиз. Выставил себя преданнейшим слугой. Но король перебил его:

— Что это сколько бочек подвозят по реке? Или народ будут каждый день поить, как сегодня? Ведь из пустых бочек очень легко построить баррикады! — В тоне Валуа была угроза, куда девалась его обычная слабость. Бочки, разумеется, годились для баррикад, Гиз отлично знал это, но при виде Валуа минута показалась ему самой неподходящей. Конечно, герцог умел владеть собою лучше, чем его сестра, и был умнее кардинала Лотарингского, который, в качестве «князя церкви», притязал на право выстричь королю тонзуру. Сестру же, которая, услышав о бочках, снова начала размахивать ножницами, герцог гневно остановил. Впрочем, эти угрожающие движения, которые она повторяла слишком усердно, становились уже просто смешными, особенно при том, что король держался поистине величаво.

— Мадам! — воскликнул герцог. — Ваше ревностное служение святой церкви ослепляет вас. Мы — слуги короля, который пойдет войной на протестантов: он уже повышает налоги, а это главное. Сейчас нам грозит вторжение немцев в наше королевство, гугеноты их опять призвали. — И добавил, обратившись к королю: — Сир! Я готов служить вам моим мечом и ручаюсь, что все ваши враги будут уничтожены.

Последние слова он особенно подчеркнул и многозначительно повторил: — Все, все ваши враги, сир! — Этим Гиз как бы принуждал Валуа наконец понять, в чьей гибели он клянется. — И король Наваррский тоже… — проговорил он с расстановкой, следя за ненавистным лицом короля, чтобы узнать, какое впечатление это на него произведет. У короля что-то вспыхнуло в глазах, а губы плотно сжались. Тут Гиз понял. Он поклонился, взял сестру за руку и повел из комнаты. — Нечего разыгрывать фурию! — злобно прошипел он ей в затылок.

Генрих Валуа задумчиво смотрел им вслед. «Генрих Гиз, как я когда-то ждал тебя! Я — твой пленник, и сейчас ты входишь ко мне с кнутом в руках. Признаюсь, довольно мучительное испытание, но я все это уже преодолел. Берегись меня, Генрих Гиз! У меня есть друг!» Он посмотрел в спину

уходящему врагу и стал с восхищением думать о своем друге, — почти так же грезила бы женщина: «Наварра, достаточно ли стойко я выступил? Была ли у меня твоя стойкость?»

Он все еще видел спину удалявшегося врага.

Несчастный король вдруг почувствовал, что снова берет верх его обычная природа, после того как он столь долго старался уподобиться другу. — Жуайез! — прошипел он. — Избавь меня от того вон человека! — Молодой маршал побледнел и молча отвернулся к стене. У короля пока еще не было доказательств, что этот фаворит изменил ему; теперь открылась полуизмена, а она гнуснее полной. Король вышел и, дойдя до своей комнаты, повалился без сил; он устал от разнообразных и бурных чувств — слишком бурных для его натуры и для вечерних часов.

Когда жители города узнали о болезни тирана, все решили: он все равно что умер — и плясали на улицах от радости. Значит, скоро конец кометам, чуме и прочим бедствиям, в которых всегда винят плохого правителя, а главное — поборам. Простонародью и почтенным горожанам приходилось платить чудовищные суммы, чтобы священная Лига раз и навсегда могла покончить с гугенотами. Непопулярность, связанную с военными расходами, она предоставляла Валуа. Бедняга защищался изо всех сил. Во-первых, он снова вступил в переговоры с Наваррой относительно его перехода в католичество, после чего они вместе разделались бы с этой фурией Лигой. При этом кой-какой урон потерпел бы и Наварра, и единственным государем в своем королевстве наконец сделался бы король.

Валуа в глубине души никак не мог постичь, почему его друг не желает оказать ему этой маленькой любезности и переменить свою веру. Когда ему чего-нибудь страстно хотелось, от него ускользало, чего это может стоить другому, в данном случае — Генриху, который утратил бы уважение к самому себе и доверие преданных сторонников. А человеку, изменившему своей партии, враждебная, к которой он переметнется, все равно не поверит и

служить не станет; да и сам Валуа стал бы вскоре относиться к нему с презрением. Ведь уже сейчас король предлагает ему за его переход главным образом деньги, в чем нет ничего необычного, ибо убеждения тоже имеют свою цену. Не продается только добродетель, основа которой — знание. Она-то и перевесила на заседании Совета в Нераке. — Если мы вооружимся, король будет с нами считаться, а если будет считаться, то и призовет нас. В союзе же с ним мы снесем головы нашим врагам.

— Я согласен! — воскликнул Генрих.

В последний раз послал Валуа к нему своего второго фаворита Эпернона, от которого еще ожидал услуг и даже любви. В те времена Жуайез для него — уже ничто, а ведь он когда-то называл его своим сыном, дал ему герцогство и сестру королевы в придачу. Есть слабые люди, которые не цепляются за тех, кто от них уходит: напротив, они отстраняются сами, быстро и неудержимо. И если бы изменник даже захотел, он уже не смог бы загладить свой проступок. Его уже принесли в жертву, а он еще ничего не подозревает. Жуайез по-прежнему блестящ, весел, полон гордости за свою превосходную армию, которая растет с каждым днем, и в ней больше знатных имен, прославленных гербов, дорогих лошадей и кольчуг из чистого серебра, чем в каком-либо королевском войске; и вести ее должен двадцатипятилетний молодой человек, избранник счастья.

Король улыбается ему, а сам думает: «Важничай, пока еще не поздно. Наварра сильнее вас. Я знаю это из первых рук, ибо его дорогая супруга — моя родная сестра и она охотно выдала мне его тайны. Она хочет, чтобы я помог ей деньгами и людьми против ее возлюбленного повелителя, которого она ненавидит, — только я могу понять такую ненависть. У нас в жилах течет одна кровь. Я поступлю правильно, если не буду давать Наварре передохнуть, но и Лиге тоже. Буду по очереди посылать свои войска против обоих, и даже с теми же маршалами: то Матиньона, то Майенна. Охотнее всего я бы послал Гиза, чтобы Наварра его разбил; к сожалению, Гиз хитер. Он предпочтет

прогнать немцев, черт бы его побрал! Но по крайней мере до Наварры он не доберется: я не желаю, чтобы с моим другом Наваррой случилась беда. И не хочу также, чтобы было уничтожено мое войско. Все это перепуталось у меня в голове; но это их вина, а не моя».

Так размышляя, несчастный король посылал своих маршалов то против Лиги, то против кузена Наварры. Наварре он охотнее стал бы помогать, чем противодействовать, но именно сейчас, когда все так запуталось, он вынужден допустить, чтобы Наварру отлучили от церкви — для протестанта случай небывалый. Генрих отвечал воззваниями, которые расклеивались на стенах домов в Риме, этом городе папы, и папа дивился на него, и о нем говорил весь христианский мир. Бедняга король скорее хотел бы ослабить Лигу, а не усиливать ее, и все-таки, неведомо как, заключил с ней новый договор. Когда Генрих услышал об этом в своем Нераке, он просидел один всю ночь, не сомкнув глаз.

Он погрузился в мысли о том, что теперь надвинулось и было так же неотвратимо, как наступление утра. Это была война, поистине война за существование, уже не бодрящие, предварительные маневры, а последнее свершение, во всей своей глубочайшей суровости. Опершись головою на руку, при свете догорающих свечей, он еще раз окинул взором все пережитое, перед ним прошли его веселые маленькие победы, быстро забывавшиеся поражения, долгие переезды верхом, непокорные городки, мятежные подданные и то, от чего он так худел и уставал, — десять лет трудов и усилий.

Все это было и прошло: Генрих увидел перед собою завершение — в образе бесчисленных армий, извивающихся подобно длинному червю, который охватывал всю землю. Убей его или смирись, иначе тебе конец. Только ты, только против тебя они вооружились, иначе они бы уж давно снюхались и уладили свои дела, — только ты им мешаешь. Не суждено тебе мирно унаследовать престол, сначала должны лечь десятки тысяч трупов. Я

сам завалю ими мое королевство!

«Кузен Валуа не сдержал своего слова, да я и не ждал, что он сдержит. Он будет покоряться Лиге, пока та его не убьет. После своей победы она сделает это наверняка. Кузен Валуа, ты надеешься на то, что я разобью и тебя и Лигу? Да, в этом и твое спасение и мое. Твоя неверность укрепила наш союз. Опасная неверность! Безнадежный союз! Как бы я хотел умолить господа бога моего, чтобы он отвел от меня это испытание или чтобы оно было уже позади и я бы только собственным телом прикрывал мою землю, мое королевство!»

Это испытание пришло к тридцатичетырехлетнему королю поздним летом, однажды на рассвете, в час величайшей усталости, после ночи, проведенной без сна. Все свечи догорели. И тут же в окнах забрезжило утро, а Генрих увидел, что усы у него наполовину поседели.

Радостный день

Генрих не считает себя трагической фигурой, поэтому он не стоит на виду у всех, в центре событий. Действуют другие и воображают себя важными лицами. Например, Гиз, он желает быть победителем немецкой армии, которая идет из Швейцарии на помощь гугенотам; однако для славы он до сих пор выиграл слишком мало сражений. И молодой маршал Жуайез радуется, точно ребенок, намереваясь со своими отборными рыцарями разбить короля Наваррского, — только вот посидит немного в одном из взятых им по пути городов и после жирной жизни при дворе и всяких излишеств немного полечится. Налегке и с очищенным желудком должен полководец выезжать в ратное поле.

Не только этот новый противник поджидал короля Наваррского: старик Бирон, тот самый, который был его злейшим врагом в дни мелкой борьбы

Генриха на собственной земле, — Бирон оказался тут как тут. Тогда король Наваррский сменил провинцию Гиеннь на провинцию Сентонж, ибо его спасение состояло в том, чтобы наступать: перенести войну на север, угрожать Парижу, только бы Фама всегда летела, трубя, впереди. Старичку Бирону вздумалось напасть на некий остров, он назывался Маран и лежал неподалеку от берега океана; Генрих заранее расписал его своей подруге Коризанде самыми пленительными красками. Полоса воды, окружавшая этот чарующий остров садов, весьма некстати переходила в болото, в нем-то и завязло войско противника. Бирону пришлось снять осаду, сам он был ранен, а деньги, полученные от двора, все вышли. Да и откуда их было взять? Как мог король, проматывавший со своими фаворитами все, что оставалось от податей и налогов после того, как ими в достаточной мере поживились воры и священная Лига, как мог такой государь содержать одновременно еще три-четыре армии? И Бирон первый не получил денег. Кое-что удалось перехватить Генриху, правда, всего несколько тысяч экю, но это решило поражение маршала, ибо его наемники разбежались.

Попутно Генрих отделался и от своего кузена Конде: уж слишком резок был контраст между успехами Генриха и неудачами, которые терпел в то же самое время его соперник! Победа, одержанная Генрихом на острове, склонила на его сторону упрямых протестантов из Ла-Рошели, которые, не будь ее, охотно предпочли бы испытанного и верного протестанта и посредственного вождя Конде. А теперь многочисленные промахи их единоверца стали особенно очевидны. И в самых строгих домах люди, вспоминая о нем, неодобрительно покачивали головой. Впервые над ним посмеялись в Неракском замке, и Конде этого не простил.

Когда Жуайез наконец облегчился и поехал в ратное поле, настала его очередь. И тут при столкновении с самой большой и хорошо вооруженной из королевских армий, в открытом поле, в день решающей битвы, Генрих уже становится трагической фигурой. Он становится даже чем-то большим;

борцом за веру по образу и подобию библейских героев. И все сомнения людей исчезают. Ведь он сражается уже не ради земли или денег и не ради престола: он жертвует всем ради славы божьей; с непоколебимой решимостью принимает сторону слабых и угнетенных, и на нем благословение царя небесного. У него ясный взор, как у истинного борца за веру. А все эти слухи о его любовных похождениях, сумасбродных проделках и равнодушии к религии — все это неправда. Ты наш герой и воин, ты избранник божий, мы поспешаем к тебе.

Так притекали к нему люди отовсюду и, уже заранее окрыленные его славой, еще больше воодушевлялись, увидев воочию, какой он простой и добрый. Своими руками рыл он окопы, ел стоя, спал в доспехах и — смеялся. Ради этого смеха люди оставались с ним — были деньги или их не было, было чем закусить или приходилось поститься. Даже своих пасторов умел он развеселить, а по ночам будил капитана Тюрена и капитана Роклора, и все сидели, прислушиваясь, держа фитили наготове.

— Сир! Какой толк в том, что мы бодрствуем ночью и враг нас не застанет врасплох? Ведь днем вы рискуете своей драгоценной особой, как будто не от вас все зависит: не таясь, переходите вброд болота, а кругом падают пули и взлетают брызги.

— И, может быть, завтра меня убьют, — отвечал Генрих. — Но дело мое потому и победит, что дело это угодно господу.

Он говорил это при блеске звезд и верил в свои слова глубоко, как д?лжно верить, ибо его уверенность ни на чем не была основана; да, поистине, вместе с ним погибло бы и все его дело; но если бог желал спасти это королевство, то он волей-неволей, а был обязан сберечь Генриху жизнь.

Неизбежно наступали и периоды усталости. Ведь по две недели не ложишься в постель, несешь постоянную заботу о своих людях и о противнике, которого надо заманить куда следует. Когда они, наконец, столкнулись, — герцог Жуайез и король Наваррский, — то последний

оказался зажатым между двумя реками и отрезанным от своей артиллерии. Что помогло ему выбраться из столь трудного положения? Только быстрота, подвижность да его удачливая судьба. И вышло так, что тем тяжеловеснее и медлительнее оказался противник. Едва забрезжило утро, а гугеноты уже запели псалмы перед своими палатками; враг строился весьма неторопливо. Солдаты Генриха тут же принялись высмеивать противника и осыпать бранью: вон они, изнеженные придворные, обжоры, только и умеют, что налоги да пот из бедняков выжимать.

— Хорошо пронесло вас, господин герцог? А то мы тут, — страх действует получше лакрицы. Нажрались откупов да пенсионов, где уж вам, господам, их переварить! То-то вы с места не можете сдвинуться. Все поле боя провоняло вашими ароматическими водами. Ничего, поработайте как следует, по-другому запахнете!

Звонкие голоса далеко разносят оскорбления и угрозы. А вдали, в лучах восходящего светила сверкает и блестит серебряное войско — войско богачей, золотые кинжалы, золотые шлемы — пропасть золота. Оружие отделано драгоценными каменьями, карманы набиты деньгами, головы — расчетами и помыслами о наживе. Под каждым серебряным панцирем бьется не только сердце, — власть, власть бьется в вас, власть мытарей и ростовщиков, которые наживаются на горе вдов и сирот. — Эй ты, сукин сын! — зычно крикнул какой-то хмурый старик, но с зоркими глазами. — Ну-ка, обернись, я тебя узнал, это ты со своими наемниками поджег мой замок! Ты ведь из Лиги!

Его слова еще сильнее разожгли ярость протестантского войска. Ненавистный враг — это, оказывается, не только королевские прихвостни; шайки убийц из священной Лиги тоже туда затесались. Они разрушали наши молитвенные дома, поджаривали наших пасторов, начиняли порохом тела наших женщин. Это вы отнимаете у нас отечество и нашу веру, вы не желаете, чтобы мы жили на свете и размышляли, а мы для этого и сотворены

создателем. Но бог хочет, чтобы враги сегодня погибли. Так говорили пасторы, обходившие ряды и тоже одетые в полукафтанья и колеты; пусть воины напоследок услышат слово истины. Пастор еще не кончил, а командир уже выстраивал роту к бою.

Короля Наваррского видели и узнавали повсюду, хотя он был одет только в серую кожу да железо; от него ничто не ускользало, особенно же следил он за каждым движением герцога де Жуайеза. Оба не торопились схватиться всерьез. Ведь в конце концов один должен предстать перед богом, другой останется победителем на поле боя. Каждая из этих судеб возвышенна; поэтому, уважительно взирая друг на друга, они решают предоставить друг другу все возможные преимущества до того, как дело начнется всерьез. Жуайез выполняет сложные маневры со своей слишком ослепительной конницей, и никто ему не мешает. А тем временем Наварра успевает переправить через реку свои последние кулеврины. Обратился он и к двум кузенам, желая напомнить об их кровной близости с ним. Это были Конде и Бурбон Суассонский, возлюбленный его сестры Екатерины.

Генрих решил, что он уже приготовился, когда к нему подошел Филипп Морней с двумя пасторами. Без обиняков — ведь сейчас начнется сражение и, может быть, придется пожертвовать жизнью — Морней бросил своему государю упрек в том, что он опять завел себе в Ла-Рошели любовную связь, и она-то в эти последние минуты лежит тяжелым гнетом на добродетели гугенотов. Генрих признал перед пасторами свою вину. — Всегда смиряйся перед богом и будь тверд перед людьми! — И поскакал прочь, ибо заметил перебежчика: какой-то офицер решительно двигался со своим отрядом между холмами по ничейной земле. — Фервак! — крикнул Генрих еще издали. — Когда мы победим, переходите к нам!

И тотчас повернул обратно, даже не взглянув, что последовало за его призывом. Однако люди этого честного и скромного воина принудили своего начальника принять решение, ибо они пошли за королем Наваррским. Генрих

увидел по солнцу, что всего лишь девять часов, а оба войска уже два часа маневрировали на глазах друг у друга. В октябре это еще раннее утро; свет падал косыми лучами из-за облаков, которые плыли медленно и низко над равниной и были видны очень ясно. Даже великие армии с их полководцами кажутся совсем ничтожными под огромными облаками, а за ними есть ведь еще небо, и, может быть, оно нас знать не хочет.

Генрих привстал на стременах. Обернувшись к густым рядам своих солдат, крикнул им за минуту до того, как ударить по врагу: — Друзья, послужим славе божьей! — Он крикнул это именно потому, что нависшее над ними небо было так близко. — Мы должны победить! Наша честь этого требует! Или хоть спасем вечную жизнь нашей души! Путь перед нами открыт. Вперед, во имя божье, за которое мы сражаемся! — Говоря все это своим солдатам, Генрих в то же время обдумывал те приказы, которые должен будет сейчас отдать. Однако вышло иначе, и протестантское войско без всякого приказа или сговора вдруг опустилось на колени и начало молиться, все войско. И эта молитва была подобна буре, и грому, и гулу колоколов, когда бьют в набат. Войско пело псалом 117[1]: «Славьте; господа, ибо он благ, ибо во век милость его».

И тогда сердце Генриха словно воспарило в радостном испуге, — и он узнал то, что было ему некогда открыто на берегу океана: целое войско опускается на колени и молится, вместо того чтобы идти в наступление, — так оно уверено в предначертанной ему свыше победе. И Генрих тоже сложил руки на груди, поднял голову и стал повторять вместе со всеми: «Все народы окружили меня, но именем господним я низложил их. Возрадуемся и возвеселимся в оный радостный день».

И он действительно возрадовался, возрадовался, как никогда. Сей день сотворил господь, сей день, в который мы помчимся вперед и ударим на своих врагов, не колеблясь. И усы сегодня не поседеют от предательства, неизвестности и горя. Сей день, который сотворил господь, не ведает

сомнений, ибо перед нами враг. Сегодня мы сильны верой, ибо для нас нет выбора, мы должны победить. И потому это радостный день.

Герцог де Жуайез увидел, что у противника творится что-то странное, и воскликнул: — Король Наваррский трусит! — Ему ответил Жан де Монталамбер: — Сударь, вы и ваши придворные еще не знаете, что такое рукопашная схватка с гугенотами. Когда у них такие лица — это не к добру. — В ответ на его слова всадники в серебряных латах расхохотались особенно пренебрежительно. Ибо они ничего не поняли, ни над чем не задумались.

Ведь там против них стоит армия бедняков. Там стоит армия гонимых за правду. Армия тех, в ком нередко живет добродетель, а иногда и мудрость. У их короля, с тех пор как начался этот поход, лицо осунулось, на нем, как и на всех, лишь серый шлем и панцирь, и единственная рубашка на теле еще не просохла после стирки. Все, чем владели он сам и его маленькая страна, отдал он этому войску; и каждый солдат принес сюда то, что у него осталось, принес сюда и все свое счастье. Если они проиграют битву, им конец, придется уходить на чужбину. Вот они еще стоят на коленях на родной земле, взывают к господу, дергают за веревки колоколов, висящих между облаками. «Именем господним низложу все народы. Сей день — радостный день».

Случилось так, что при первом столкновении рыцари глубоко врезались в ряды аркебузиров-гугенотов. Они даже погнали часть конницы Генриха Наваррского и гнали ее до города Кутра, так что солдаты французского короля уже принялись грабить обозы. — Победа! — кричали они, и Жуайез решил, что настало время выслать вперед пехоту. И тут произошло нечто неожиданное. Протестанты начали из-под прикрытий метко обстреливать фланги королевского войска, которое стреляло очень плохо, потому что его пушки стояли слишком низко. И вот пехота бежит, конница оттеснена. Завязывается рукопашный бой, король Наваррский в пылу сражения обхватывает дворянина из вражеского стана. — Сдавайся, филистимлянин! — кричит он. Генрих, по-видимому, чувствует себя Самсоном, но лучше бы он

все-таки выстрелил в филистимлянина, ибо чуть не поплатился жизнью за свое великодушие.

Когда герцог де Жуайез увидел, что все пропало, он кинулся вместе со своим братом, господином де Сен-Совером, в самую гущу схватки и погиб, как того желал. Он был всего лишь фаворитом и начал свою карьеру не слишком достойно. Но когда он столь возвеличился, гордость подсказала ему, что хоть умереть надо с достоинством.

Не успел он вздохнуть в последний раз, как все его войско разбежалось. Гугеноты преследовали врага еще на протяжении двух-трех миль: каждый гнался за намеченным им прекрасным рыцарем, надеясь пообчистить ему карманы, захватить его в плен и вернуть свободу только за хорошие денежки. На поле боя остались две тысячи убитых, почти сплошь католики, а так оно было пусто. Убитые валялись среди лошадей и оружия, все это было набросано грудами, но эти холмики образовались сами собой, без человеческого умысла, как образуются другие холмики, состоящие из песка и травы. Среди песка, травы и убитых бродит какая-то одинокая согбенная фигура и вглядывается в лица; вот она нашла, узнала, пошатнулась от боли и опять жадно вглядывается в густеющих сумерках, под низкими тучами.

В Кутра, в верхней зале «Белого коня», победители обедали, а внизу на столе лежали тела герцога Жуайеза и его брата. Король Наваррский вернулся, откуда — неизвестно; в суете победы его еще никто не хватился. Его штаб-квартира оказалась переполненной ранеными пленными, и он пошел в гостиницу; тут некоторые заметили, что глаза у него красные. Сначала он преклонил колено перед телами обоих побежденных; затем сделал над собой усилие, принял веселый вид и поспешил наверх, чтобы отпраздновать вместе с теми, кто смеялся и пировал, великую удачу. Никогда еще ревнители истинной веры не одерживали такой победы, даже во времена господина адмирала, и его старые соратники были с этим согласны. Когда вошел король Наваррский, все вскочили со скамей, что есть силы затопали, а потом затаили

дыхание, чтобы воцарилась полнейшая тишина.

Генрих, смеясь, подбежал к ним и воскликнул: — Пока это не вечная жизнь, ее мы еще не завоевали, но завоевали земную! — Он схватил самую большую чашу и перечокался со всеми другими чашами, которые ему протягивали его храбрые командиры. Затем воины принялись уничтожать все, что было нагружено, навалено на огромных блюдах, и Генрих не отставал от них. Громко рассказывали они о своих славных делах в этом бою, а Генрих — о своих, голосом звонким, как труба. В длинной зале воздух был спертый от дыма факелов, чада плиты и горячего пота солдат. Вся их кожаная одежда была покрыта темными пятнами — то ли их кровь, то ли кровь убитых врагов? «Я вижу вас, — вы же не видите, что я плакал… Но довольно уж грустить о моих единоплеменниках, которых мне самому пришлось прикончить, а ведь они могли бы впоследствии преданно мне служить. Вон свисают с потолка их знамена — все, что от них осталось. Это хорошо, но знамя короля Франции я не возьму себе, и я не хочу, чтобы оно лежало внизу на столе, пока я наверху пирую, Это — нет, клянусь», — говорил он себе, в то же время весело рассказывая своим сотрапезникам о том, как он сражался.

Валуа стоит с остатками своего войска на берегу Луары и прикрывает свое королевство. «Я не причиню тебе вреда, Валуа, ведь я сражаюсь за твое королевство. Нам еще нужно покончить с Гизом, мы оба это знаем. Пусть теперь гонит немецких ландскнехтов обратно в Швейцарию, а ты, мой Валуа, вместо него войдешь победителем в свою столицу. Ибо я не причиню тебе вреда, мы понимаем друг друга».

Сказано — сделано, и на другой день Генрих сел на коня, решив через всю Гиеннь проехать в Беарн; его сопровождал конный отряд с двадцатью двумя отнятыми у врага знаменами, он вез их в дар графине Грамон. Он вел себя романтически, все видели это. Вместо того чтобы закрепить победу и разбить самого короля, он отдался своим чувствам и повез захваченные им пестрые знамена, желая сложить их к ногам своей подруги. Это вызвало у

вчерашних победителей великое разочарование; даже в измене обвиняют Генриха иноземные протестанты, которым тем легче говорить, чем дальше они от этого королевства.

И вот он прибыл, а на лестнице своего замка, вся в белом, осыпанная жемчугами, стояла фея Коризанда; такой сказочной он видел ее только в своих грезах. Все знамена были развернуты и склонились перед нею; затем, как будто только теперь он стал этого достоин, Генрих поднялся к ней и, взяв ее за руку, увел в замок. Она же не находила слов, чтобы выразить свое счастье. Так счастлива была его муза, что забыла обо всем, кроме его победы и его великого пути. Она позабыла и горечь и собственные притязания, ее доверие было полно кротости. По-матерински жалела его, радовалась, что он вознагражден за свои труды, а надо бы ей пожелать, чтобы они продолжались (как оно потом и случилось). Пока счастье еще зыбко, не проходит и время музы; нынче же для нее радостный день.

Поучение

Неприметно движется он вперед. Все служит ему: и его усилия и усилия других, желающих низвергнуть его либо убить. Настанет день, когда все увидят, что он прославлен и отмечен удачей. Но его истинная удача — в прирожденной твердости характера. Он знает, чего хочет: этим-то он и отличается от людей нерешительных. Главное же — он знает, что хорошо и будет одобрено совестью его ближних. Это явно ставит его выше других. Ни один из мечущихся, подобно ему, в туманной действительности не уверен столь твердо в своем знании нравственных законов. Незачем искать других причин для его славы, которая более уже не померкнет. Его современники, а также люди иных эпох привыкли склоняться перед любым успехом, даже подлым, чтобы затем тотчас отвернуться, едва будет пройдено ущелье, где на

них подуло ветром безумия. Напротив, Генрих не стремился через свои успехи унизить других, чем грешит большинство удачливых вождей, меж тем как этим успехам надлежало бы скорее возвышать человека в его собственном мнении. Редко увидишь, чтобы наследник престола, которого господствующая партия столь яростно отвергает, мог бы деяниями, преисполненными самой возвышенной честности, склонить на свою сторону самого короля, хотя поневоле приходится с ним бороться. И как хотел бы он помочь этому королю, а не быть вынужденным умалять его славу и его королевство! Однако бывали и у этого наследника минуты слабости, соблазн все бросить и ему не остался чужд. Но это его дело. По мере того как он приближался к престолу, он показал миру, что можно быть сильным, оставаясь человечным, и что, защищая ясность разума, защищаешь и государство.

IX. Мертвецы при дороге

Кто отважится на это?

9 мая 1588 года герцог Гиз с горсточкой офицеров тайком пробирается в Париж. Король передал ему просьбу, смиренную просьбу, чтобы он не появлялся. Валуа знает: само присутствие Гиза ускорит или гибель короля, или же приведет к гибели противника. Кто из них пойдет на риск, и пойдет первым? Гиз в свое время уничтожил иноземную армию гугенотов, а королевское войско под командой Жуайеза было, наоборот, разбито Наваррой. И все-таки несчастный король попытался изобразить победителя; а теперь и народ и почтенные горожане единодушно его презирают. Парламентарии, верховные судьи королевства — почти единственные, кто еще держит

сторону короля; эти-то думать умеют. При столь неясном положении отклоняться от закона опасно, а закон — это король. Но кому они скажут, кому могут объяснить? Ни богачам, которым Гиз, а не угасающий Валуа гарантирует сохранность их денег, ни взволнованным простолюдинам на улицах, вопящим о голоде. Голодать им не впервой, и нет никаких оснований предполагать, что в ближайшее время не придется наложить на себя еще более строгий пост. Толпа, допустив однажды неверный выбор вожака, совершает и дальше одни глупости. Эти люди — за Гиза, а он, оказывается, авантюрист и архиплут, подкупленный врагом. Их противоестественная приверженность к нему порождает в них ярость и страх — так сопротивляется их совесть, но они этого не понимают. В Париже расстройство умов, потому и кричат о воображаемом голоде.

Гиз со своими пятью-шестью всадниками добирается до многолюдной улицы, все еще не узнанный, закрывая лицо шляпой и плащом. Город, особенно многочисленные монастыри, битком набит его войсками, он может их кликнуть, где бы он ни оказался. Но Гиз разыгрывает бесстрашного и таинственного рыцаря, чтобы произвести впечатление. Ему почти сорок лет, у него куча сыновей, но он все еще держится за ошеломляющую и грубую театральность тех приемов, с какими выступают на сцене люди, не имеющие к тому призвания. Некий молодой человек, которому это поручено, стаскивает, плутишка, с таинственного всадника шляпу и плащ и кричит звонким голосом: — Откройтесь, благородный рыцарь!

А в это время в замке Лувр очень старая королева, мадам Екатерина, говорила королю: — Гиз — это костыль моей старости. — А сын тяжелым взглядом смотрел на виновницу Варфоломеевской ночи, последствия которой обрушились теперь на него, это было ему ясно и без особых донесений. Впрочем, и они не заставили себя ждать. С приездом герцога Гиза тут же пошла молва о его необычайной популярности. — Мы спасены! — воскликнула первой некая изысканная дама, обращаясь к герцогу, и сняла

маску, закрывавшую ей верхнюю часть лица. — Дорогой повелитель, мы спасены! — И тут по всей улице прокатилась волна восторга. Значит, голоду конец, вождь изгоняет призрак голода! Льются слезы радости. А сапоги, которые свешиваются с коня, можно просто облобызать. К герцогу старались прикоснуться четками, чтобы он их освятил, и, конечно, в сутолоке немало народу и передавили.

Пока полковник-корсиканец все это докладывал, король на него ни разу не взглянул. Он не сводил глаз с матери, и она это чувствовала, ибо взгляд у него был тяжелый. Она же бормотала себе под нос: — Гиз — костыль моей старости. — Все это говорилось лишь для того, чтобы утвердить себя в своей глупости и настаивать на ней даже во вред себе; а ведь могла бы уж прийти минута просветления. Лицо у королевы стало совсем землистое — ну, прямо земля на погосте; казалось, старуха туда и возвращается, когда пошла прочь, нащупывая костылем дорогу, постукивая, шаркая, делая зигзаги и все больше скрючиваясь; под конец она согнулась пополам.

Корсиканский полковник излагал свое мнение, ибо его заверили, что совершенно так же смотрит на дело и король: герцога необходимо заколоть. Присутствовавшее тут же духовное лицо одобрило эту мысль, сославшись на подходящую цитату из священного писания. Несколько наиболее решительных придворных поддержали его, и король не возражал; его молчание они приняли за согласие. Между собой они начали обсуждать, много ли еще осталось вооруженных сил у короля и после того, как все свершится, можно ли будет сдерживать противника страхом до прихода подкрепления. Но тут снова появилась мать Валуа, а с нею Гиз собственной персоной. Уже не красавец Гиз, не гордый герой. На его пути к королю его милостивые обращения не встретили ответа, а начальник гвардии Крийон еще глубже надвинул шляпу. Тогда герцог понял, что его ожидает. Бледный и ошеломленный, вошел он в королевскую опочивальню. Но его сопровождала старуха, и король не подал знак кинжалам, потому что здесь была старуха. Во

всем замке Лувр, из всего его дома, члены которого перемерли или взбунтовались против него, оставалась только мать, которая и довела его до всего этого. Потому-то он страшился ее, как самой судьбы. В ее присутствии нельзя было допустить даже мысли о том, чтобы призвать на помощь спасительные кинжалы. Он сделал герцогу короткий выговор и повернулся к нему спиной.

Гиз без сил упал на ларь. От близости огромного шрама один глаз у него слезился, и казалось, Гиз плачет. Он все видел, видел страх короля. «Такой же мучительный страх, как и у меня», — подумал Гиз. Но он, верно, понял, почему лицо короля исказилось. Решение убить отменено только на сегодня. В дальнем углу старая королева старалась успокоить сына; Гиз поспешил убраться. «Слава творцу, я еще жив, а там мой народ, он проник даже во двор Лувра, чтобы вызволить меня отсюда. Я опять герой. Слава творцу, теперь уж мы будем действовать решительно».

Так думают люди, когда их застигнут врасплох. На самом деле лотарингец не собирался строить баррикады и давать королю сражение в его столице; он только все подготовил к тому, что это должно было случиться. Но когда, уже почти достигнув цели, он вдруг отступил и предпочел бы лечь спать, чем сражаться, его посетил Мендоса, посол дона Филиппа, и заговорил с ним резко и повелительно. Настоящий хозяин Гиза мог ведь герцога и принудить. Не позже как через три дня Франция должна быть охвачена междоусобной войной, такова воля мирового владыки. Гиза не удостоили объяснением причин, но ему сообщили важные вести: Армада наконец готова и может двинуться на Англию. Этот флот снаряжали в течение многих лет, и он был снабжен всем необходимым на годы, хотя переезд в Англию мог занять самое большее две недели. Так вот, ему нужно предоставить возможность без опаски заходить по пути во французские гавани. Владыка мира, не желал встречаться ни с кем из своих врагов-французов. Он был по природе точен и осторожен. Поэтому в течение трех дней в Париже должны

быть построены баррикады из бочек с песком. Король в окна своего Лувра уже давно видел, как их везут вверх по реке. Так как он, оказавшись в безвыходном положении, призвал в город небольшое число швейцарских и, немецких наемников, это послужило последним предлогом к восстанию. Чужеземцы были разбиты превосходящими силами противника, они падали на колени и воздевали руки, державшие четки. Королю пришлось просить за своих солдат, которые остались в живых. Он просил самого герцога Гиза, почему тот совсем утратил смелость, и уже был не в силах поднять руку на короля; Мендоса же требовал от него именно этого.

Так как ни один из них не решался убить другого, началась великая смута, и улицы целыми днями были во власти монахов, которые под гул набата усердно призывали к резне. Не теряла времени и сестра Гиза, фурия священной Лиги: со своего балкона она призывала к убийству шумную толпу возвышенной духом молодежи. — Молодежь… Молодежь всегда возвышенна, — твердила она, и все эти будущие адвокаты, проповедники и живописцы верили ей. Их худосочие легко было принять за убеждения. В дни торопливых, необдуманных действий молодежь обычно пользуется большим авторитетом. Герцогиня де Монпансье, несмотря на свою распаленность, все же читала в людских лицах; там, внизу, среди толпы ее почитателей, она отметила одно лицо, и видела она его не впервые. Если у человека такое лицо, он может пригодиться. И она позвала наверх молодого послушника.

Она сделала все, чтобы ошеломить его, надела на свое статное тело прозрачные одежды, опрыскала спальню душистой водой; волосы, черные, как вороново крыло (впрочем, уже крашеные), пышные груди, серебряные звезды, осыпавшие ее с головы до ног; затем оглядела себя и решила, что всего этого достаточно, хотя страсти и оставили на ее лице свои разрушительные, следы. «Тридцать шесть лет — другой мужчина решил бы, пожалуй, что поздновато, — говорила себе знатная дама. — Но не двадцатилетний увалень-монах, который в первый раз за свою жизнь увидит

постель герцогини». Спросила она себя также: «Что мне делать и далеко ли я должна зайти?» Насколько того потребует дело, отвечали ее сильные полные плечи, которые то поднимались, то опускались.

«Я знаю, к чему стремлюсь, и хочу дойди до конца. Этого нет у мужчин, даже у моего обожаемого Гиза, который вот-вот должен взойти на французский престол. Нужно нанести всего лишь один, один-единственный удар, а это его и пугает; но не сестру. Она в конце концов нанесла бы такой удар собственной рукой. Рука у меня сильная, тело не слабее, чем у брата, плечи широкие. Я сама могла бы стать героем в нашем роду, если бы не кое-какие мелочи, которые делают меня женщиной; вот я ими и воспользуюсь».

Она подала знак, прибежали слуги, привели монаха, втолкнули его в комнату и сейчас же закрыли за ним дверь. Богиня осталась наедине с каким-то коричневым созданием, оно явилось с улицы, и от него ужасно воняло. Душистая вода была бессильна против запаха немытого тела, и он тотчас заполнил комнату; но дама мужественно стерпела. Она заговорила с монахом, а тот таращил глаза, причмокивал толстыми губами, и, засунув руки в широкие рукава своей монашеской одежды, этот увалень потирал их; видно, он бы охотно вытащил их оттуда и пощупал живую плоть. И никакой робости, ведь нынче все перемешалось, всем одинаковая цена в глазах священной Лиги. Посмотрите, что делается на улицах, хотя бы за бочками с песком: лежат друг на дружке офицеры да рыцари — мы их прикончили. А жены нам остались. Хе-хе! Возвышенная молодежь, — так она, кажется, говорит.

— Как тебя зову!? — спросила герцогиня столь строгим тоном, что молодчик испугался.

— Вы же знаете, — пробурчал он. — Сами сверху позвали меня. «Яков, где ты?» — крикнули вы. Ну вот, я здесь! Дальше-то что?

— Стань на колени! — решительно приказала герцогиня. — Возьми свои

четки и молись. — Ее сила и власть над ним были безграничны, она поняла это, услышав его бредовое бормотание. Она посещала его в сновидениях, уже с прошлого раза, когда говорила с балкона. Коленопреклоненный, исповедался он ей в своей презренной и несчастной участи: он впал в грех, поэтому его и отправили из монастыря в Нафиж, чтобы он совершил какое-либо деяние. Нанель усиленно внушал ему: плотский грех можно искупить только деянием. — Каким же? — спросила герцогиня. Он не знал. Монахи, воспитывавшие его, пока не касались этого вопроса. Монахи то и дело подготовляют цареубийц, а потом не пользуются ими. — Ты мой, ты принадлежишь мне, — властно заявила она, — Я могу совершить над тобой что захочу. Могу сделать тебя невидимым. Встань, отворотись к стене. — Она ушла в конец комнаты и принялась искать: — Яков, где ты? — Он слышал, как она несколько раз повторила тот же вопрос, но не отозвался.

«Вот я и в самом деле сделался невидимым, хе-хе!» — сказал он про себя; но ничего больше ему на ум не пришло. И сердце его от этого не заколотилось сильнее.

— Яков, пойди сюда и коснись края моего платья, тогда ты опять станешь видим.

— Да я вовсе не желаю становиться видимым, — пробурчал тот, — разве что вы позволите мне потрогать не только край.

Все же он пришлепал в своих сандалиях; но прежде, чем он схватил ее за прозрачную одежду, она сказала, правда, вполголоса, но с устрашающей свирепостью:

— Яков! Ты должен убить короля!

Как ни тупо было это человеческое существо, но оно покачнулось, лицо посерело, монашек долго не мог вымолвить слова, наконец из груди его вырвался жалобный стон. Пока он безмолвствовал, он видел, как ужасы вечного проклятия, подобно языкам пламени, вырываются из уст этого дьявола в образе дамы. Под ее покрывалом он вдруг разглядел конское

копыто, да еще какое!

— Слушайся меня, Яков, тебя ждет блестящая судьба. Если ты убьешь короля, три твои желания будут исполнены. Ты можешь требовать кардинальскую шапку. Ты будешь богат. Третье я подарю, тебе сама. — И она без обиняков предложила ему свои прелести. Голос ее стал воркующим, она всячески стала обольщать его, увидела, что он дрожит, как осиновый лист, что у него течет слюна, и, приведя этого дуралея в подобное состояние, она открыла ему, что король — такой же человек, как и все. И умирает всего один раз и остается мертвым навсегда. — А тебя пусть они ищут, ты же невидим. Яков, где ты?

— Хе-хе, у тебя! — отвечал он, покряхтывая от удовольствия, ибо наконец понял и уже ни о чем не тревожился.

— Но только когда ты убьешь короля и сделаешься кардиналом. Только кардинал может прийти ко мне! — Это она сказала холодно и пренебрежительно, быстро окинув взглядом стоявшего перед нею парня. «Слишком жирен этот олух, чтобы ловко заколоть Валуа. Пусть сначала попостится, а для прояснения мозгов пусть принимает с пищей порошки, хоть он и так — точно воск в моих руках. В монастыре его запугают огненными бесами на случай, если этот осел вздумает кобениться. Да он и не будет, теперь он мой». Тут она дернула шнурок звонка.

— Вывести вонючку и проветрить здесь!

Она подошла к окну, как была, полуголая, а внизу сбежалась целая толпа возвышенной духом молодежи, чтобы лицезреть ее особу. Она спокойно дала им повосхищаться собой, ибо окно доходило до полу. В своей страстной гордости она перерастала самое себя, и солнечный глаз неба, на который она смотрела, не ослеплял ее.

— Я — дерзну.

Ночь с убийцей

Когда последний Валуа бежал из замка Лувр, он вспомнил о своем кузене Наварре, и ему захотелось, чтобы тот был здесь, рядом. «Будь он со мной, Париж стал бы все же немного поменьше — стольким бы мы отрубили голову. Этот город слишком огромен, надо пустить ему кровь. Я единственный король, который постоянно жил в нем и украшал его своим королевским двором. Публичная казнь Гиза должна стать народным празднеством».

Разгоряченный и озлобленный, бедный король все же мог без помех предаваться своим мыслям. Гиз тайком оставил для него один незанятый выход, и король бежал с согласия своего врага, который наконец от него отделался и захватил власть в столице. Перед каретой короля шла его гвардия, он ехал шагом до своего нового местопребывания, ни на миг не забывая о своем кузене Наварре. «О, если б я выслал ему навстречу Жуайеза и мое лучшее войско, но не для того, чтобы он его разбил, нет, — чтобы они, объединившись, двинулись на Париж и освободили меня!»

Однако, поразмыслив, он признал, что это было бы невозможно. Его католическая армия не захотела бы подчиниться такому приказу. «С другой стороны, если бы кузен-протестант дошел до Парижа, мне пришлось бы распроститься с короной», — так сказал себе Валуа, хоть и не вполне уверенно. Он был слишком несчастлив, чтобы именно сейчас покончить со своим недоверием. Наоборот, он держался за него, только оно придавало ему сил. «Да и с жизнью мне бы пришлось расстаться», — настаивал он из упрямства.

Сам Генрих очень боялся яда, вот уже два месяца, с тех пор как умер его кузен Конде. Принца Конде отравили, и сделала это его собственная жена, как предполагал Генрих. Он тут же решил, что на это способна и бедняжка

Марго, ибо, попав во власть бессмысленной ненависти, она утратила всякое душевное равновесие. Генрих, который любил поесть и прежде повсюду беззаботно заходил в гости к своим подданным, вдруг требует, чтобы ему готовили в запертой кухне, под особым наблюдением. Кузена Конде рвало всю ночь. На другое утро он завтракает стоя, намеревается сыграть в шахматы, но опять начинается страшная рвота, и он умирает; кожа тут же начинает чернеть. «Я оплакиваю в нем то, чем он мог быть для меня. А такого, какой он был, — мне его не жалко».

Двадцать четыре убийцы, одного за другим, подсылали в те времена к королю Наваррскому. Несчастный Валуа втайне все еще надеялся, что кузен придет к нему на помощь, другие же старались это предотвратить. Поговаривали, будто Генрих умер — такой слух пускают обычно те, кому это выгодно, — а иные могут даже сообщить подробности. Герцог Гиз сейчас же поспешил осведомиться у короля Франции, правда ли это. Но король выразил лишь надежду, что его кузен Наварра жив; после смерти Конде он отправил к нему своих посланцев и прежде всего господина де Монморанси. Это была действительно его последняя попытка побудить единственного оставшегося в живых вождя протестантов перейти в католицизм. Ведь после этого Генрих становится бесспорным наследником престола. Никто не верил, что его протестанты могли от него отпасть, с тех пор как погиб его соперник, притязающий стать их главой. И все-таки, Генрих знает этих людей. И знает также, что должен ходить прямыми путями, ибо окольные могут быть приняты за слабость. Его внутренняя стойкость не допустит измены и отвергнет преждевременный соблазн. И лишь в будущем, когда Генрих уже завоюет и объединит королевство после всех еще предстоящих трудов и тягот, когда он, уже седой, будет обладать испытанной силой и властью — и делать это ради них уже будет не нужно, — только тогда он по доброй воле пойдет к обедне. Но не раньше. А чтобы его только терпели — ни за что!

И все же храбрец Генрих боялся яда и ножа, ибо от них не защитишься,

как защищается солдат и как защищается совесть. «Нож еще страшнее яда: он угрожает не только во время еды. Когда я нахожусь среди людей, в любую минуту у меня по спине может пробежать холодок: ведь я и не увижу, как кто-то позади меня выхватит нож из рукава. Короткий нож очень легко припрятать, особенно в широком рукаве монаха. Однажды ко мне явился знатный дворянин, он не знал французского языка и латыни не знал; его прошение было написано на пергаменте, он извлек свиток из футляра, и кинжал сам собой скользнул ему в руку. Мне пришлось мгновенно схватить его за руку и вывернуть кисть! А капитана Сакремора, наоборот, поймали мои люди. Улики налицо, все совпадает, его подослали ко мне. Иначе я бы никогда не поверил, что на это способен столь храбрый офицер. Убийцы — трусы, а мне приходится их постоянно бояться! Я хочу в конце концов выпить с одним из них вина, приглядеться к его ладу и повадкам».

Это было в неракском замке. Вечером он выслал всех из комнаты, приказал ввести пленника, снять с него кандалы и остался с глазу на глаз со своим убийцей; их разделял только стол.

— Капитан Сакремор, мне хочется услышать от вас, как убивают. Каково быть убитым — это мне, может быть, тоже придется испытать, но не вы меня убьете. Расскажите мне об убийстве из-за угла, смело и честно, как солдат. Ну?

У офицера были злые глаза, а так — красавец. Но то была красота опустошенного человека, выродка. Сидел, вежливо наклонив голову, чистокровный дворянин родом из Италии, язвительная ирония в его чертах уже говорила за себя. Он не ответил. Генрих подвинул к нему стакан с вином; пленник чопорно поблагодарил и выпил до дна. — А ведь вас, может быть, отравили, капитан Сакремор.

Капитан вежливо высказал свое удивление:

— Сир! У вас же есть столько других способов убить меня!

— И какой, по-вашему, я выберу?

— Достойнейший, сир, — поединок, — сказал убийца, прикрыв свою хитрость легкомыслием.

— Господин Шарль де Бираг, я не шучу. Вы прибыли в нашу страну с прежним канцлером, который заточал в тюрьмы наших поместных дворян и там душил их, чтобы старая королева могла унаследовать их достояние. Вам обещано, если вы меня убьете, куча золотых пистолей испанской чеканки. Благодаря вашим успехам на поле боя вам дали имя «Сакремор», но вы по природе все-таки Бираг.

— Сир, вам угодно меня позорить, я же, наоборот, предлагаю вам честно сразиться. Как ваш убийца, я стал вам равен, поэтому вы здесь и сидите со мною так поздно, в мертвой тишине ночи.

— Знаю, — отозвался Генрих. — В этот час вы мне равны. Скажите, что бы вы сделали, если бы ваша затея вам удалась?

— Я бы остался служить у короля Франции — он же и направил меня сюда.

— Вы лжете и лгали бы, даже если бы золото, которым набиты ваши карманы, не было испанским.

— Согласен, — кивнул Бираг. — Но в этом королевстве я действительно бы остался, ибо самое слабое государство для меня самое лучшее. Обитатели страны, где я живу, должны враждовать со всем светом и с самими собой — тогда они мне поистине соотечественники и служат моему делу. Я знаю, сир, что если вы останетесь живы, то все это измените: вот почему я покушался вас убить и пошел бы на это даже без всяких денег.

Тут Генрих увидел, что в мерзости человек может идти прямым путем и быть стойким. Никогда бы он этого не подумал. — Сакремор, вы достойны вашего боевого прозвища или почти достойны. — С этими словами он выложил свой кинжал на середину стола. — Ну, кто первый, Сакремор!

Едва он произнес эти слова, как рука убийцы рванулась к кинжалу, но натолкнулась на руку Генриха. Враги тотчас отняли руки и опустили их под

стол. Лишь взоров они не отводили, вливаясь друг в друга глазами, готовые к прыжку, подстерегая, содрогаясь от особого наслаждения этой схватки. Тем временем Генрих придумал, чем ошеломить врага.

— Сакремор, не ждите больше денег из Испании. Я дал туда знать, что вы их предали и теперь работаете на меня.

Услышав это, убийца оскалил зубы, в своей ненависти он уже перестал быть красавцем. Его пылающая злобой рожа вызывала невольный ужас, может быть, поэтому ему и дали такое имя; тут он улучшил минуту и схватил кинжал. Генриху оставалось только опрокинуть стол, что он и сделал. Стол был тяжелый; чтобы не быть придавленным, убийце пришлось пустить в ход обе руки, и он выронил кинжал. Поднявшись, он бросился к двери, выскочил в открытую галерею и припустился по ней, легкий, точно девчонка.

— Сакремор! Останьтесь. У меня вы заработаете много денег.

Пиф-паф, — кто-то скатился с лестницы. Оказывается, выстрелил часовой во дворе. И нет больше Сакремора.

«А жаль! Смелый малый, и у меня он опять стал бы честным. Погибнуть случайно, и после такой ночи!» Генрих совсем позабыл, что он сам выдержал эту ночь и это испытание. Не нужно дрожать даже перед убийцей.

Зов

Валуа тоже отбивался от убийц своего королевства и своих собственных; сидел с ними вместе за столом и жил под вечной угрозой. В те дни он созвал в Блуа Генеральные штаты. Король искал там убежища; и сейчас же за ним отправился Гиз, да и вожаки Лиги преследовали его по пятам, все шестнадцать; каждый ведал одним кварталом в Париже. Кроме того, туда переправили всякий сброд из столицы: он должен явиться угрозой для благоразумных представителей провинций, на которых рассчитывал Валуа.

Нет, разум здесь не в чести, его стараются отогнать подальше. Короля осаждает шайка флагелантов он вынужден принять их приветливо, он ведь сам когда-то участвовал в их представлениях, так как очень любил всякие переодевания. Брат его покойного любимчика Жуайеза изображает распятого Иисуса; чудовищно искаженные персонажи мистерий врываются в убежище несчастного короля, у Христа течет из ран настоящая кровь, римские солдаты громыхают ржавым оружием, они вдруг бросаются в середину взволнованной толпы. Жен-мироносиц изображают капуцины, тем громче они завывают, стонут и кидаются наземь. И вот под ударами бичей падает и сын человеческий. Подними же его, Валуа! А если не поднимешь, то изменишь религии. Уж где-где, а в этой давке мы до тебя доберемся, достаточно одного ножа. На самом деле им было страшно самих себя и своего порочного опьянения.

Разве мог всему этому сочувствовать какой-нибудь ученый юрист, заседавший в королевском парламенте? А между тем этих господ тоже заставили принять участие в бесчинстве! Ученость нелегко забыть, и ясный разум не затмится по приказу. Но затмение происходит легче у того, кто вовлечен в движение масс: он уходит в безрассудства с головой, и если обычно размышлял слишком усердно, то, захваченный массовым гипнозом и чувством национальной общности, он вдруг начинает «реветь белугой». Председатель Нейи немало в этом преуспел: ему удалось тронуть даже тирана Валуа; а как раз против него-то ему и поручили восстановить своими слезами обиженный народ, в то время как некий проповедник Буше должен был добиться того же яростным кипением своего гнева. Каждый действовал на свой лад, и герцог Гиз пожимал немало замаранных рук, хотя это было ему весьма противно.

Герцогу Гизу все становилось противным: его роль народного героя, его пылкая дружба с Испанией, его отношения с людьми. Окруженный испанскими головорезами, которые следили за каждым его шагом, он был

принужден бесстыдно предавать собственного государя всемогущему послу дона Филиппа. Ему приходилось говорить: — Мы надеемся, что ваш повелитель-король окажет нам помощь, если наш государь вздумает опереться на гугенотов. — Гиз сам предпочел бы сделаться гугенотом, лишь бы не повторять то и дело подобные заявления.

Его тщеславие, его жажда поклонения, которым его незаслуженно окружали, — все это были только слабости, и они-то и толкнули его на ошибочный жизненный путь. Гиз не мог этого не понимать, его род был достаточно умен. Только самые ничтожные люди способны возомнить себя великими, если какое-либо движение изолгавшегося и обезумевшего сброда вдруг вознесет их на вершины, где им совсем не место. «Да здравствует наш вождь!» — слышит то и дело такой вот герцог Гиз, а ему хочется спрятаться или разогнать всю эту свору — пусть встанут опять за свои прилавки.

Больше всего он жаждет помириться с королем. Тогда король назначит его наместником всего королевства, но еще до того, как Армада вернется с победой из Англии и испанцы достигнут предела в своей наглости. Гиз намерен еще прежде выступить против них. И Генеральные штаты собрались в Блуа ради этой единственной цели.

Когда-то королю пришлось им обещать, что он искоренит еретиков; теперь он должен объявить о том, что король Наваррский лишается своих прав на французский престол. Король делает попытки уклониться от этого. Сам Генрих Наваррский пишет Штатам послание; и все-таки они торжественно провозглашают его притязания незаконными. Они отказывают ему в его правах первого принца крови.

Едва Генрих узнал об этом, как он забыл и своих убийц и свою музу, а вместе с романтикой и свой страх. Он отправился воевать. Почему? И король и Лига — все обратились против него одного, а их воющие процессии предаются такому духовному распутству, которое ему отвратительнее всякого Сакремора. Пусть жизнь тяготеет к злу и к убийству, и все же она не хочет,

чтобы ради этого лицемерили и попирали разум. Генрих двинулся на Бретань, но в обход, через все королевство, чьи представители тем временем его торжественно отвергли и отстранили. Он сражался с королевскими войсками и войсками Лиги, — на этот раз они были для него одно, ибо он ожесточился. Очутиться уже на прямом пути к престолу — и опять, как в самом начале, кануть в поток событий, снова стать чужаком! Славная победа при Кутра — и вдруг опять все начинается сначала: болота, мелкие городишки, засады, бедный дворянин падает, сто врагов сдаются в плен, град, буря, мы берем замок на морском побережье. Эх, если бы наша пушка прибыла пораньше! Дурацкая штука — сражаться с морем и ветрами!

И все же в пылу схваток он забывал о своем раздражении и гневе; был рад, что жив, дышит, хотя враги и старались не давать ему жить и дышать, рад, что завоевывает землю — хоть по кусочкам. Однажды в полдень, сидя один под деревом, только что едва избежав смерти, еще задыхаясь после стремительного движения, он принимается за свою трапезу; он окидывает все вокруг каким-то растерянным взором. Как широка эта страна, вдали она словно сливается с небом, она безмолвствует, и только море грозно гремит. Она не хочет Генриха, она его даже не знает, и если бы не глубокое и стойкое мужество его духа, он мог бы опасаться, что ему каждый раз придется начинать все сначала, как пришлось теперь. Без конца возвращаются все те же картины: болота и засады, сотня пленных, падает ничком бедный дворянин, бушует буря, идет град, а я должен овладеть замком на морском побережье. Если бы вовремя прибыла наша пушка! На ладони, черной от пороха, лежит его обед — корка хлеба и яблоко.

Он голоден, но не поддается унынию. Его привело сюда долгое жизненное странствие, а когда-то давно были горы, озаренные солнцем, он смеялся и переходил радостно журчащие ручьи. Еще молодым попал он в школу несчастья, научился думать, пока от прихотливых изгибов мысли у него не начали горько кривиться губы, по крайней мере, временами. А

вернувшись домой, он понес бремя обычных тягот жизни, подобно каждому, у кого голодное тело и шкура, которую легко продырявить. Довольно невелики были сперва эти тяготы, а возьмешься за них как следует, и они вдруг вырастают. Ныне он прославлен, его ненавидят, обожают, боятся — и ему дано узнать, что тяготы жизни могут снова опуститься до уже пройденных ступеней. И вот под деревом, стоя, съедает он свой убогий обед.

В тот же час король Франции принимал посла Мендосу. Посол получил сообщение о победе Армады и приказал немедля отпечатать и распространить эту радостную весть. Затем он поехал из Парижа в Шартр; он хотел перво-наперво в самом почитаемом соборе вознести благодарственные молитвы пресвятой деве. После этого он отправился к королю, который жил тогда в епископском дворце. — Victoria!— с достоинством возвещал посол каждому встречному, наконец вошел к королю и показал ему письмо. Тогда король протянул другое, полученное позднее: англичане обстреляли Армаду, пятнадцать кораблей потоплено и пять тысяч человек убито. О высадке в Англии нечего было и думать.

Мендоса попытался все целиком опровергнуть, а если кое-что здесь и правда, это не помешает ему сохранить свое величие. Потоплено пятнадцать кораблей? Да их в Армаде сто пятьдесят, прямо исполины, настоящие башни из дерева. А пять тысяч убитыми — это для десантной армии почти незаметная убыль, уже не говоря о том, что к ней идет подкрепление.

Но только на самом деле никакое подкрепление уже не шло: оно было заперто в Голландии. Король Франции учтиво восхитился плавучими башнями, которые были построены доном Филиппом с величайшей предусмотрительностью. К сожалению, их высота имела свой недостаток — корабельные пушки могли стрелять только по далеким целям; и еще огорчительнее то, что адмирал Дрейк быстро открыл слабое место гордого флота. На своих челнах выскочил он из Плимутской гавани, подъехал под самые борта исполинов и пробил их. И какая несправедливость: само небо

точно встало на сторону противника, — еще и сейчас, когда мы разговариваем, вихри уносят испанские корабли в разные стороны, иные даже в Ледовитое море, и там они разбиваются в щепки!

Испанец никогда не смеется, иначе посол наверняка бы рассмеялся над этими презренными наскоками бурь или Англии на мировую державу. Но он лишь безмолвствовал и презирал. А король ему в том не препятствовал; так они и стояли друг перед другом в каменной зале, оба не снимая шляп. Первыми осмелели несколько придворных.

— Английская королева торжествует! — проговорил довольно громко Крийон. А кто-то добавил:

— Елизавета показалась народу на белом коне.

— Великий народ! — решительно заявил полковник Орнано. — Счастливый народ, он спасен, он свободен и любит свою лучезарную королеву. Что значит сорок пять лет для красоты королевы, которая победила!

Тут Бирон, старинный враг Генриха Наваррского, сказал:

— В этом народе царит единодушие. Мы тоже должны бы стать единодушными. — И сейчас же среди собравшихся началось какое-то движение, из уст в уста, передавалось чье-то имя, пока лишь вполголоса.

Король покинул залу, за ним посол. Король шагал по сводчатым переходам: он шествовал величественно, как это умели делать Валуа. У одного из окон во двор он приостановился, и показал вниз. Посол увидел около трехсот турок-каторжников, которых испанцы обычно сажали на свои суда гребцами. Посол спросил, откуда они. — С одного из кораблей Армады, выброшенного на берег, — пояснил король. Посол потребовал их выдачи. Вместо ответа король встал перед окном. Турецкие невольники, упали на колени и, подняв голову, вопили: — Misericordia! — Король смотрел на них несколько мгновений, затем отвернулся: — Это надо обсудить.

Иные из его придворных позволили себе заметить:

— Это уже обсуждалось. Во Франции нет рабства. Кто ступил на

французскую землю, тот свободен. Наш король вернет этих людей своему союзнику султану.

Король притворился, будто не слышит, но с тем большей учтивостью проводил посла до дверей. А тому, несмотря на его чванство, пришлось вытерпеть еще немало унизительного. И впереди и позади него заговаривали о том, что взяты пленники самых разнообразных национальностей, — Испания всех принудила быть гребцами на ее судах. Французы тоже не избежали рабского ярма. — А ведь это наши солдаты и соплеменники! Во что хочет Испания превратить нас? В рабов. Как и все остальные народы земли! — Впервые об этом заговорили при французском дворе в тот день, когда разнеслась весть о гибели Армады.

Посол уже отбыл, но король не уходил к себе; казалось, он чего-то ждет, никто не знал, чего, многие полагали, что он снова погрузился в обычную безучастность. Поэтому придворные стали выражать свои мнения еще свободнее и повторяли все решительнее, что весь народ-де французского королевства должен единодушно защищать свою свободу по примеру Англии. Да, эта страна избежала самой страшной участи; оказывается, испанцы везли на своих кораблях все орудия пыток, применяемые инквизицией. При католической дворе Франции были и протестанты — явные и тайные, и кому-то из них пришло на ум заявить: — Свобода мысли, вот в чем дело; только она обеспечит нам наши права и наше единство. — А вместо того, чтобы заставить говоривших это замолчать, придворные начали нашептывать друг другу чье-то имя, — то же, что и раньше, только уже громче; и Бирон, опять этот Бирон, обратился к королю со словами:

— Сир! Король Наваррский… лучше, чем я полагал; человек крайне редко признает свои ошибки. Я же готов признать их.

В эту минуту появился Гиз: его прислал Мендоса, чтобы он заставил короля подчиниться. Гиз был готов это сделать, он сейчас же перешел к угрозам, ссылаясь на то, что тридцать тысяч испанских солдат стоят во

Фландрии. И вдруг голос: — А где стоит король Наваррский? — Тщетно ждал Гиз, что Валуа вмешается. Король Франции сам должен был бы это сделать, но за пресыщением обычно следует апатия. А голос:

— Сир! Призовите короля Наваррского.

Ни возражений, ни гнева. Гиз и его Лига вскоре отдадут испанцам крепость на границе с Фландрией, они будут и дальше служить врагу и притеснять своего короля. Но сегодня для герцога Гиза знаменательный день, гибель Армады открыла ему глаза на самого себя. И опять тот же голос:

— Король Наваррский!

В стороне от своего войска стоит под деревом Генрих. Страна эта широка и вдали сливается с небом, оно безмолвно, лишь море грозно гремит. Генрих слышит, как его окликают по имени.

Хоровод мертвецов

Мыслями он далеко, он слышит многое. Как прежде, он предается ежедневным трудам, но сейчас на него будет возложена куда более высокая задача. Он делает свое дело, стоя обеими ногами на привычной, тяжелой земле, а вместе с тем ждет призыва, внутренне приподнятый, перенесенный в иные сферы… В эту пору ожидания Генрих находился там, куда его приводила война, но уже и не там — поистине ближе к богу. «И я говорю, как Давид: бог, до сих пор даровавший мне победы над врагами, поможет мне и впредь». Так говорил он и даже больше: «Я лучше, чем вам кажется» — новые для него слова.

А в Ла-Рошели церковное собрание занималось его грехами; он же упражнялся в терпении, смиренно слушал упреки пасторов и не отвечал, хотя мог бы ответить: «Добрые люди, мелкие души, кто выстоял в школе несчастья, нес тяготы жизни и не поддался духовным искушениям, сколько

их ни оказалось? Уже одних ваших разоблачений относительно моей дорогой матушки хватило бы, чтобы отнять у ее сына мужество, я же сохранил верность от рождения присущей мне решительности!» Но этого он не сказал пасторам в Ла-Рошели и не хвалился этим перед своей подругой, графиней Грамон. Ей он сообщал только о фактах, уже совершившихся: о своих победах над армией французского короля, а затем, что король убил наконец, все-таки убил герцога Гиза.

Генрих уже давно на это рассчитывал; его сведения о событиях при французском дворе были точны, и еще яснее стал он понимать людей. Он видел Валуа на собрании его Генеральных штатов; здесь были почти одни сторонники Лиги: во время выборов царил свирепейший террор. И эти люди точно одержимы самой наглой и низкой ненавистью и уже не знают, что им придумать. Одним махом отменяют все налоги, какие только были введены королем за четырнадцать лет его царствования; но, отнимая у него последние остатки сил и власти, они тем самым отнимают последнюю силу у королевства и у самих себя. Таковы последствия четырнадцатилетнего натравливания черни и мнимо народного движения. Ведь и капля точит камень. Важно только хорошенько вдолбить это в людские головы: действительность в конце концов подчиняется, становится воплощенной нелепостью, и столь долго проповедуемая ложь вызывает пролитие настоящей крови. Кроме того, все это мещане, они тупы и глубоко невежественны в делах веры, государства, всего человеческого. В их глазах добродушный Валуа — тиран, а его благопристойное государство — сплошная мерзость. Они клянутся в том, что их сообщество, созданное для разграбления и растерзания королевства, не только сулит «свободу», но и даст ее. Совсем отменить налоги — вот чего им еще не хватает и о чем они уже четырнадцать лет кричат по всей стране.

Жены этих избранников, этих взбаламученных Лигой аптекарей и жестянщиков пляшут голые на улицах Парижа. Идея принадлежит герцогине

де Монпансье, сестре Гиза, фурии Лиги: процессии должны стать еще прельстительнее вследствие столь неприкрытого безумия. Но обыватели решают, что она зашла слишком далеко. Их много, и они вовсе не намерены все вместе лезть головой вперед в адское пламя или допустить, чтобы их ошалевшие жены прыгали туда нагишом. Главное — они не хотят платить. И вдобавок они поглощены обычными жизненными противоречиями. Отсюда мимолетный бунт против шайки жадных авантюристов, которым Париж обязан своим теперешним состоянием. Поэтому Гиз и вынужден одуматься: необходимо действовать так, чтобы отступление для всех было отрезано. Решающее событие должно свершиться, король должен умереть.

Король был в то время так беден, как не бывал даже Генрих Наваррский. Его двор разбежался, последние сорок пять дворян поглядывали по сторонам, ища таких государей, которые бы могли им платить. Генрих узнает, что Валуа есть нечего. В кухне погас очаг. «Разве я не сам задул его, когда разбил при Кутра лучшие войска короля? Я должен ему помочь. Теперь он просит у Гиза. А тот клянчит у Лиги. Но что поделаешь с этими мещанами, это самые тупоумные люди в государстве, на них-то легче всего опереться бессовестному вожаку. Только пусть не заходит слишком далеко. Гиз считает, что король теперь уже не человек; но Гиз не король, и он нас не знает. Его посланцы заявляют, что нашему государству пришел конец, но из глубины веков к нам еще притекает древняя сила. Я хочу помочь Валуа»…

До Генриха доходит весть, что Гиз совсем обнаглел.

Он уже забывает всякую осторожность: поселился в замке в Блуа, где живет король, чтобы покрепче держать его в руках. А почему бы Валуа не держать его? У Гиза все ключи — это верно; но он теперь не получает никаких сведений, ибо король хоть и поздно, а перестал наконец доверять своей матери, он выгнал ее наушников, и она уже лишена возможности шпионить и предавать, а ведь только этим она и жива. От души желаю тебе удачи в твоих тайных начинаниях, мой Валуа. Но только ты слишком одинок

для таких необычайных решений. Гиз ничего знать не хочет; несмотря ни все предупреждения — чуть не по пять раз на дню, — он рискует жизнью; на то у него есть немало причин, Генрих их угадывает. Во-первых, Гиз высокомерен; он, как и всегда, окружен блестящей свитой, а думать об опасности не желает. Следовательно, бывают минуты, когда он беззащитен, и такой минуты достаточно. Высокомерие приведет его к гибели — не только потому, что оно влечет за собой неосторожность. Гиз считает, что он слишком хорош для той роли, которую ему приходится играть: уж Генрих-то знает насквозь товарища своих детских игр. «Моего Гиза прямо спирает от высокомерия, он не выносит дыхания своих людей! Что до меня, то будь я негодяем и Гизом, я бы охотно терпел их запах: ведь от них несет чесноком, вином и потными ногами. Но вот когда воняет Испанией — этого я не терплю. Кроме того, Гиз смешон».

Тут мысли Генриха — сидел ли он у ночного лагерного костра или под деревом наедине с собой — доходили и до забавной стороны всего этого. Гиз надеется на свое счастье. Он не намерен скучать, вернул двор, пирует и развлекает всех этих проходимцев, а с ними и Валуа, вместо того чтобы его убить. Путается с женщинами, больше чем следует, — мы-то уж изведали это наслаждение и по себе знаем, что оно вызывает пресыщение и уныние. От него очень устают, особенно такие Голиафы, как Гиз. Впрочем, кто знает, может быть, он и хочет только одного — усталости. Высокомерие, уныние, излишества — все, вместе взятое, в конце концов, только для того, чтобы закрыть на все глаза и ждать удара. Мы сами совсем недавно пережили подобное искушение. Даже усы поседели.

Когда прискакал верховой с вестью, что герцога Гиза убили в опочивальне короля, а король глядел из-за полога кровати, Генрих не удивился; он был доволен. Все подробности этого события: как был каждый из ударов нанесен кинжалом другого убийцы и как они были разъярены и обезумели и сами себе не верили, что совершили наконец это дело, — все это

Генрих выслушал совершенно спокойно. Бывало, он плакал на полях сражений, а тут нет. Они повисли на ногах умирающего, и все-таки он протащил их через всю комнату, до постели Валуа, который содрогался, неистовствовал и ликовал так жутко, что мороз подирал по коже, и он действительно наступил поверженному Гизу на лицо, как некогда наступил Гиз мертвому адмиралу Колиньи. Бог ничего не забывает, вот что понял Генрих. И если бы рухнули все законы, его закон останется незыблемым.

Последнюю ночь Гиз провел с Сов; так же лежал и Генрих с этой женщиной перед своим побегом. К нему у нее не было любви, она тогда просто облегчила ему бремя великого одиночества. Своего единственного владыку и повелителя ей было суждено утомить последней, так что поутру герцога в его сером шелке еще пробирал озноб, пока другие не ввергли его в последний холод. Прощай, Гиз, и привет Сов! Король торжествует. Кардинала Лотарингского он приказал удавить в темнице, третьего брата, Майенна, разыскивают, желаю благополучно найти его! Хоровод мертвецов не останавливается весь этот восемьдесят восьмой год, и самые знатные присоединяются к нему за день до рождества. Повесь их в Париже, мой Валуа! Уже сутки, как повешен президент де Нейи, глава купечества, который «ревел белугой». Один дворянин, находившийся под покровительством Гиза, оказывается, торговал человеческим мясом. На виселицу его, Валуа! Хоровод мертвецов начался с нашего отравленного кузена Конде, нас самих подстерегают убийцы — и меня и тебя. Хотя это не мы торговали человеческим мясом. Вешай смелей, Валуа!

Так говорит тот, кто сам отпустил на волю немало своих «убойников» и даже пытался приучить себя просиживать с ними ночь. Но настает минута, когда уже не можешь смиряться со злом, которое живет в человеческой природе. В ней есть и своя доброта, она знает об этом, и тем менее простительна ей злоба. С самого возникновения человеческого рода его добролюбивые представители вели борьбу во имя разума и мира. Оз или

человечность — все это выглядело очень смешным; а такие слова, как «воин духа», люди находят нелепыми, если сами они грубы и глупы и хотят оставаться такими. Вот перед вами король по имени Генрих, он мог бы колесовать и вешать сколько вашей душе угодно: ведь вы сами его на это вызываете слишком уж злыми издевками над его здравым разумом. Бесчинства, неразумия — вот все, на что вы до сих пор толкали этого Генриха за его добрую волю. Хоровод мертвецов, продолжайся! До конца года осталась еще целая неделя. Я только и жду той минуты, когда мне сообщат, что покойную королеву Наваррскую тоже удавили. А если еще умрет ее мать, тогда я смогу прочесть благодарственную молитву Симеона: «Ныне отпущаеши раба твоего, владыко».

Так говорил он и писал, таково было его настроение после убийства в Блуа. Он надеялся, что Валуа отправит на тот свет и свою драгоценную сестрицу Марго и еще более драгоценную мамашу — мадам Екатерину. А последняя между тем и в самом деле умерла — и даже без постороннего вмешательства: уж слишком потрясено было все ее хрупкое существо смертью Гиза, а также тем, что никто не хотел верить, будто в этом убийстве могли обойтись без нее. Быть обвиненной в том, на что уже нет сил, — это очень тяжело для старой убийцы. Ей оставалось одно — покинуть сей бренный мир. Неужели она в самом деле мертва? Эта весть поразила Генриха. Его пророчество все-таки сбылось, а он не любил убивать. И ему стало страшно за свою былую Марго. Хоровод мертвецов, остановись!

Стремиться друг к другу

Но этот хоровод давно уже нельзя остановить. Генрих, который продолжает вести партизанскую войну, едет верхом в сильный мороз и под панцирем цепенеет от стужи; приходится сойти с коня и хорошенько

поразмяться, чтобы согреться. Немного позднее, после еды, он вдруг почувствовал какой-то особый, странный холод. И отчетливо понял, что теперь и ему, быть может, придется вступить в хоровод мертвецов. У него начиналось воспаление легких.

Это было в маленькой деревушке, и заболел он столь тяжело, что пришлось его оставить в доме поместного дворянина. Стекла звенели от мороза, лихорадка все усиливалась, и, казалось, всякая надежда на то, что он выживет, исчезла; только он один и не терял ее. Он говорил себе: «Я хочу совершить предназначенное мне. Не напрасны были мои труды». Он думал, что говорит вслух, а на самом деле едва шептал: «Да будет воля твоя». А воля божия, без сомнения, в том, чтобы Генрих продолжал бороться и завершил то, что начал, хотя сегодня он и лежит завернутый в простыню, словно Лазарь, обвитый пеленами; и кризис, который, может быть, его еще спасет, должен наступить всего через несколько часов.

В то время, как уже не раз он видел небо разверстым, в королевстве происходили события точно перед началом более светлых и чистых веков: повторялась в основных своих очертаниях какая-то страшная эпоха глубокой древности. Хоровод мертвецов, пляска св. Витта, крестовый поход детей, чума, тысячелетнее царство, белки закатившихся глаз, ослепших иногда только от самовнушения… Все словно с цепи сорвались. Хе-хе, говаривала возвышенная духом молодежь на манер монашка «Яков, где ты?» Наконец-то можно с людьми не церемониться. Теперь уж не до смеху. И кто еще веселился во вторник на масленой, тот больше не посмеется. Не ходите в церковь — так берегитесь. А коли проповедник назвал тебя по имени — знай: домой ты живым не вернешься. Шпионить, доносить, выдавать, подводить под топор, хе-хе! А в награду за поклеп ты займешь место оклеветанного или приберешь к рукам его дело: теперь все так. Поэтому даже почтенные горожане стали негодяями. При иных порядках они будут вести себя в высшей степени достойно, можете не сомневаться, они всегда подчиняются

обстоятельствам. Сейчас они бессовестные негодяи. И все это не от них самих, причина не в них. В чем же, спрашивается?

Этот юродивый сброд с закатившимися глазами больше всего ненавидит разум. Какой-нибудь недоучившийся студент, но который держит нос по ветру, врывается в аудиторию профессора, избивает его, запрятывает в тюрьму и садится на его место. Молодой врач обвиняет старого, который ему мешает: оказывается, тот не поздоровался с прачкой. Так же действует и мелкий чиновник: чем раньше он был покорнее, тем больше наглеет перед верховными судьями королевского парламента. Пусть подчинятся ему и провозгласят новое право — от имени единой нации, единство же она обретет лишь после отмены мышления. Так бывало и раньше. Поэтому же их жены пляшут на улицах в одной сорочке.

Председателя суда в Тулузе чернь убила. Сначала баррикады, потом убитого судью тащат на виселицу, где уже болтается чучело короля. Верховный судья противился низложению короля, поэтому они повесили и его за компанию. Последний Валуа был человек слабый и несчастный, его не раз толкали на преступления. И все же перед концом его жизни ему выпала на долю высокая честь — стать ненавистным не из-за всего содеянного им зла, а только из-за вражды одичавших масс к разуму и человеческому достоинству, и даже сделаться символом этих качеств, как ни мало был он для этого пригоден.

Он бродил, словно призрак, в своей лиловой одежде — цвет траура, который носил по брату и матери. Но, казалось, он носит его по Гизу, которого сам убил. Гиз был ему не по плечу. И это деяние, единственное в его жизни, отняло у него все силы. Будь то не последний Валуа, а кто-нибудь другой, оно, бесспорно, толкнуло бы его вперед. Но он думает только о том, что теперь надо пустить в ход крайние меры, надо всех ужаснуть, иначе убитый настигнет его. Какое уж тут мужество, какие трезвые размышления — ведь у меня нет выбора. Мне нужны солдаты, и пока враги еще

ошеломлены ударом, их всех нужно уничтожить. Сюда, Наварра!

Валуа в своем лиловом кафтане, бледный и молчаливый, никого не вспоминал столь часто. Как призрак, бродил он по комнатам замка в Блуа, одинокий и всеми покинутый: ведь он самой церковью лишен престола, и присяга уже не связывает его подданных. Депутаты Генеральных штатов разъехались по городам королевства. А государя его столица не впустила бы или скорее они бы там захватили и прикончили его; но так — он отлично это понимал — они поступили бы лишь потому, что люди находятся сейчас в каком-то особом состоянии, и его не назовешь иначе, как бессилием. Беснующееся бессилие. Уж Валуа-то знал, что это такое, на собственном опыте, он умел отличать слабость от здоровой способности к действию. Эта способность есть у другого лагеря. «Наварра!» — думал он с окаменелым лицом; но он не призывал его, не дерзал призвать. Ведь Генрих — гугенот, как может король послать его против своей католической столицы, он, вдохновитель Варфоломеевской ночи! Наварра, конечно, вернул бы его обратно в Лувр, но зато Валуа получил бы в придачу войну с мировой державой, которая оставалась все такой же грозной, как и прежде.

Гибель Армады была единственной вспышкой молнии, озарившей угрюмое небо над последним Валуа. Но он уже не успеет понять, что насмерть ранена и сама мировая держава. Это уже касается его наследника. А наследник французского престола начнет свое царствование без земли, без денег, почти без войска; но достаточно ему в одном-единственном и совсем не значительном сражении разбить наемников и холопов Испании — и что же? Вздох облегчения вырвется у всех народов.

Для Валуа все это скрыто мраком, каждый звук, доносящийся извне, замирает. Вокруг нет никого, кто позвал бы Наварру. И за стенами никого, кто бы трепетал, опасаясь Наварры; разве иначе они дерзнули бы отнять у бедного короля его последние доходы, и это после того как он совершил свое великое, единственное деяние? В комнате стало холодно, король забрался в

постель. Он страдал от болей, от нелепых болей: его мучил геморрой. И несколько оставшихся при нем дворян издевались над ним, оттого что он плакал.

«Наварра! Приди! Нет, не приходи. Я плачу не из-за своей задницы, а оттого, что мое единственное деяние оказалось бесполезным. Теперь ты бы смог показать, на что ты годен. Но и тут ничего не выйдет. А все-таки я знаю, ты тот самый, я могу тебе довериться. Тебя я объявлю наследником, хотя бы десять раз от тебя отрекся. Никого нет у моего королевства, один ты остался; я дорого заплатил, чтобы это понять. Взгляни, Наварра, как я несчастен! Никогда мое несчастье не бывало столь тяжким и глубоким, как после моей напрасной попытки освободиться. Совершив свое деяние, я воскликнул: «Король Парижа умер, наконец-то я король Франции!». Но не называй меня так, никакой я не король. Зови меня Лазарем, если ты явишься сюда, Наварра. Нет, не надо! Нет, приди!».

Им обоим, разделенным огромными пространствами королевства, приходится трудно. Генрих меж тем благополучно перенес кризис. Он вскоре поправился — и уже больше никогда не предавался тем помыслам о насильственной смерти, которые предшествовали его тяжелой болезни. Он говорил о кончине господина де Гиза весьма сдержанно: — Мне с самого начала было ясно, что господам Гизам не по плечу такой заговор и что нельзя довести его до конца, не подвергая опасности свою жизнь. — Таковы были его выводы; с ними король Наваррский согласовал и свое поведение: стал еще осмотрительнее и многим казался чересчур скромным. Разве он уже отрекся от благородной и смелой задачи — отбить Валуа у его врагов? Правда, этих врагов великое множество на всем пространстве, отделяющем его от короля. Друзья знавали Генриха, когда он был еще отчаянным сорванцом. Притом в пустяках. И вдруг такая сдержанность, сир, в большом и серьезном деле?

Он чувствовал, что старые друзья недовольны им; эти старейшие из гугенотов, передававшие от отца к сыну обычай умирать за свою веру; те

самые, кто под Кутра, молясь, опустились на колени, почему и пал тогда Жуайез; а теперь они недовольно ворчали, сами еще не зная, почему. Прийти на помощь королю-католику, — вот чего им хотелось, но если бы им это сказали, они бы не поверили и не признались бы в своем желании. А Генрих полагал, что сначала это желание должно в людях как следует созреть — тогда появится возможность осуществить его. Так же, как сообщили Генриху, обстояло дело и с Валуа. Несчастный последыш покинул свое прежнее убежище, его приютил город Тур; этот город лежал среди пашен на обоих берегах Луары, в сравнительно спокойном месте его мятущегося королевства. Там Валуа надеялся дождаться, пока достаточное число его дворян вспомнят о нем. Тем временем его уцелевший фаворит Эпернон собирал для него пехоту. Но могло случиться и так, что враги успеют застигнуть его раньше и возьмут в плен. Положиться можно только на одного Наварру; и куда это он запропастился? «Я, король католиков, — думает Валуа, которому едва удается сколотить кой-какое войско. — Как бы еще не разбежались мои солдаты, если я призову гугенота!».

Генрих же думал: «Он позовет меня, когда этого захотят его люди; а до этого рано. Я стремлюсь к тебе всем сердцем, Валуа». Он держал свои мысли в тайне, но именно ради них и пригласил к себе своего Морнея в первый день марта. Это происходило в маленьком городке, который ему не пришлось покорять: город сам открыл перед ним ворота. Генрих и Морней ходили по открытой галерее, освещенные лучами весеннего солнца, и никогда еще его свет не казался им таким обновленным и полным надежды.

— Что-то изменилось, — сказал Генрих. — Теперь меня призывают со всех сторон. Города спорят из-за того, кому раньше сдаваться. Или добрые люди спятили, или это весна виновата?

— Может быть, сир, тут еще одна причина: они не хотят, чтобы вы даром теряли время?

— А куда мне торопиться? — отозвался Генрих, и сердце у него

забилось, но только потому именно, что он отлично знал, какое дело надо сделать как можно скорее и в последнюю минуту колебался. Долго-долго трудился он, шаг за шагом, в поте лица своего пробиваясь к цели. И вот ее уже видно, он мог бы рвануться вперед, но он в нерешительности, он не делает последнего движения, он вдруг не чувствует в себе былой уверенности. Возможность удачи уже не так очевидна, как казалось раньше, когда цель была еще далека и все мучительные труды и усилия были еще впереди. Принц крови, а ноги все в земле. Пусть говорит его друг, пусть решает господин дю Плесси-Морней, для чего же еще он добродетелен и мудр?

— Сир, вам и двух месяцев нельзя терять на пустяки. Надо спасать Францию. Вы должны со всеми силами, какие можете собрать, двинуться к Луаре.

— Там стоит король, — сказал Генрих, и сердце у него екнуло.

— Именно поэтому.

— И я должен на него напасть, Морней?

— Вы ему друг, сир, и он станет вашим другом, ведь десять его армий не смогли вас уничтожить.

— Разве десять, Морней? Столько положено трудов и усилий? Да, а теперь у Валуа нет больше ни одной, Лига его проглотит живьем. Вы говорите, господин дю Плесси, что я должен прийти ему на помощь? Что ж, я не прочь. Надо подумать.

Последствием этого разговора было то, что он решил купить какой-нибудь город, стоявший на его пути, чтобы без излишних боев пройти по земле королевства: это он, который сотни раз рисковал своей жизнью, чтобы завоевать клочок земли! Теперь же предстояло завоевать всю страну. Но брать приступом стены, жечь дома и оставлять на улицах трупы — все это Генриху уже давно опостылело. И он рад бы обойтись без всего этого: ведь он хочет стать совсем не таким королем, как остальные. И он покупает города,

которые не сдаются без боя, а позднее будет покупать даже провинции, но сначала волей-неволей придется одержать еще много побед и состариться, не снимая доспехов. А иначе даже за деньги его королевство не образумится, не захочет стать богатым и сильным.

Вот какие печальные истины вынашивал в себе веселый король Генрих Наваррский, все равно, сознавал он их или только смутно чуял. Был он, правда, еще слишком молод, но жизнью основательно к ним подготовлен. Какое счастье, что рядом с ним Морней, этот святой человек; Морней — зрелый муж в самом глубоком значении слова, и он не перестанет верить, несмотря на весь свой ум и на всю людскую злобу, которой видит вокруг себя так много! Он верит в силу слова, исходящего от господа. Важно его сохранить таким, каким оно изошло от бога, — истинное и ясное; и тогда оно будет непреложным. Поэтому Морней от имени своего государя обратился с воззванием ко всем жителям королевства. Пусть среди французов воцарятся согласие и единство.

Он вопрошал, чего, собственно, достигли люди всеми этими несчастными войнами, насилиями, миллионами убитых, да еще расшвыривая столько золота, что его не возместит никакой рудник? И отвечал, вернее заставлял читателя ответить: достигнуто лишь обнищание народа. И то, что государство в горячке и лежит при смерти. Бедствиям несть числа. Он спрашивал: доколе же будем терпеть?

Он обращал свой вопрос сначала к дворянству и горожанам и давал тут же те ответы, которые им подсказывала их собственная выгода. Затем его тон становился более торжественным, он обращался к народу, называл его закромами королевства, нивой Государства, ибо трудом народа кормятся правители, его потом утоляют свою жажду. Кто защитит тебя, народ, когда дворянство станет попирать тебя ногами?

Морней писал, а через него говорил Генрих: да, дворяне будут попирать тебя ногами, жители городов высосут из тебя все соки. На эти два сословия

надеяться нечего, у народа одна надежда — на своего короля. Спокойствие и безопасность может дать только король, — пусть сами догадаются, какой. Король гонимых и бедняков, победитель серебряных рыцарей и откупщиков. Но так как воззвание было написано от имени Генриха, то Морней не забыл принести за него клятву верности королю Франции. Если Генриху Наваррскому с благословения божия когда-нибудь удастся осуществить свой план до конца, то и тогда он останется послушен королю. А ему наградой послужит его чистая совесть. С него довольно, если все благомыслящие люди будут свободны.

В этом воззвании Морней из осторожности не упоминал еще об одном сословии, чтобы не раздражать его, ибо не слишком надеялся на примирение с ним. С духовенством ничего не поделаешь, и слепая сила ненависти, в данном случае воплощенная в Лиге, не может быть сразу укрощена — даже с помощью правды. Однако все увидели, что в словах Генриха она есть. Уверенность Морнея полностью оправдалась. Правда изливала вокруг себя неожиданный свет. Трудно было этому поверить: значит, нам разрешено согласие и единство? До сих пор это никогда не разрешалось. Что же произошло? Даже оба короля дивились, хотя их неудержимо тянуло друг к другу. Но препятствия не устранены. Наварра и не помышляет о перемене религии только ради того, чтобы унаследовать королевство. А Валуа, как всегда, торгуется с Лигой. И все-таки он довел до сведения Морнея, что готов встретиться, а к Генриху послал свою сводную сестру, мадам Диану.

Оба короля заключили перемирие на год, однако оба хотели бы, чтобы оно было вечным. Между тем Генрих двинулся в путь со своим войском. И так как города, мимо которых он проходил, охотно впускали его, то он быстро приближался к Туру. Король собрал там свой парламент. Его юристы оказались весьма благоразумными, а чем ближе подходил Наварра, тем они становились смелее. В конце концов они внесли договор между королями в свод законов французского королевства. Случилось это двадцать девятого

апреля. А тридцатого показался король Наваррский со своим войском.

Было воскресенье, день стоял солнечный и ясный.

Бедному Валуа казалось, будто он прямо воскрес из мертвых. В первый раз у него не было страха, что Лига его захватит и увезет. Ведь приближался его брат Наварра. Король слушал обедню, когда оба войска встретились у ручья, в трех милях от города; дворяне французского короля со своими полками и старые гугеноты. И те и другие, не останавливаясь — это было бы не по-дружески, — смешали ряды, сообща разнуздали лошадей и принялись их поить из того же ручья. Эти занятия помешали им пуститься в ненужные разговоры и праздно глазеть друг на друга. А увидали бы они постаревшие лица, тела, исполосованные шрамами; поняли бы, что и другие, не только они, испытали немало горя, вспомнили бы свои сожженные дома, убитых близких, двадцать лет междоусобиц. И, конечно, не смогли бы во врем я своего первого мирного свидания не вспомнить Варфоломеевской ночи — нет, этого не смогли бы ни виновники, ни жертвы. Кто-то предложил снять недоуздки и въехать с лошадьми в ручей. А король Наваррский ждал позади и не вмешивался; вперед он выслал командующего своей пехотой.

Впереди, у ручья, солдаты говорили: — Граф Шатильон, — и не хотели верить. И все-таки было воскресенье, день стоял солнечный и ясный, сын адмирала Колиньи один вышел навстречу маршалу д’Омону и обнял его. Люди вокруг них расступились и обнажили головы. И когда это все же свершилось и дошло до людских сердец, между обеими армиями началось братание.

Король последовал примеру своих солдат. Он не хотел толкать войска к примирению. Они должны были опередить желания своих начальников и даже удивиться, как это они себе позволили такую смелость. В замке Дю Плесси, на том берегу, король Франции ждал короля Наварры, он передал ему, что просит его переправиться через реку. Услышавшие это предложение могли подумать, что Валуа еще недостаточно научен несчастьями, и

предположить дурные намерения. Замок Дю Плесси стоит на слиянии Луары и Шера. Тот, кто здесь переправляется, остается без прикрытия, отовсюду может прогреметь предательский выстрел, а на узкой косе Генрих будет беззащитен и окажется во власти Валуа. Несколько приближенных короля Наваррского усиленно ему не советовали это делать; но он не поддался уговорам, сел в лодку с несколькими дворянами и телохранителями, даже не сняв шляпы с белым плюмажем и красного короткого плаща. И каждый видел издали, кто именно едет.

Он благополучно пристал к другому берегу, ибо так хотел господь, а еще потому, что уж очень сильна была тоска Валуа по Генриху; Наварра понял это на собственной тоске и потому был уверен, что находится в безопасности. Затем приближенные французского короля проводили его в замок. Валуа тем временем поджидал его в парке, — король пришел на целый час раньше и в душе тревожился, хотя внешне был похож на спящего и все не решался спросить: «Да где же он? Не случилось ли с ним несчастья?». Окруженный возвратившимися к нему придворными, он ни одного не спрашивал о том, что его волновало. Но вдруг слышит, что Наварра в замке; тогда, позабыв обо всем, Валуа побежал навстречу. Только пробежав несколько шагов, он, наконец, вспомнил о том, что он монарх, и придал себе должную осанку; в парке было полно народу — и придворные и простой люд. Король Франции прошел половину пути навстречу Генриху. И половину пути прошел король Наваррский.

Он спустился по ступеням лестницы, ведшей из замка в парк. Все увидели, что он одет, как солдат, куртка сильно вытерта панцирем на плечах и с боков. Бархатные панталоны в обтяжку были цвета увядшей листвы, плащ ярко-алый, серую шляпу украшали белые перья и прекрасный аграф. Все это разглядели во всех подробностях, и двор и народ. Кроме того, многие заметили, хотя и с неохотой, что борода у него уже седеет. Навернулись у Генриха на глазах слезы или нет, на это никто не обратил внимания, хотя

плакал он легко, как могли еще помнить его старые знакомцы. Но даже им было трудно узнать это исхудавшее лицо, ставшее еще худее, чем бывают лица обычно; тем длиннее кажется его свисающий нос; на переносице глубокая полукруглая морщина; брови напряженно приподняты. Это не простое лицо, и только выражение решительности делает его лицом солдата. Ничто уже не напоминает в нем болезненного пленника Лувра. Этот Наварра идет твердым шагом навстречу королю.

На полпути их отделил друг от друга поток людей. И вот оба стоят, взорами ищут друг друга в толпе, здороваются, раскрывают объятия. Они бледны, их лица почти суровы. В это мгновение они еще только стремятся друг к другу, а в следующее все уже будет по-иному. Мир! Мир! Вот она, наконец, эта минута справедливости и добра!

— Дорогу королю! — кричит охрана; толпа расступилась, и когда король Наваррский предстал перед его величеством, он склонился перед ним, а Валуа его обнял.

Вторая Книга Царств, глава I, стихи 19 и 25

В одно прекрасное утро появился оставшийся в живых брат Гиза Майенн с отрядом конницы, чтобы схватить короля. И, конечно, предатели, которых вокруг него всегда было достаточно, завели короля туда, где он, без сомнения, бы погиб. Какой-то мельник узнал его по лиловому кафтану и сказал: — Сир! Куда вы? Там засели фроятисты! — Майенн уже начал наступление. Отважный Крийон не смог удержать предместье и возвратился в город с таким малым числом солдат, что ему пришлось самолично запирать городские ворота. Короля Наваррского уже не было, но он отъехал недалеко, и за ним послали. И полутора тысячам аркебузиров-гугенотов удалось спасти Валуа. Члены Лиги хотели было хитростью остановить их натиск; они

закричали: — Храбрые гугеноты, мы воюем не против вас, только против короля, а ведь он вас предает! — В ответ раздался залп.

Все же немногочисленный отряд гугенотов вынужден был под конец отступить; они отходили медленно, неохотно, продолжая стрелять, и треть из них была перебита. Крийон, солдат короля, с тех пор заявлял о своем пристрастии к гугенотам. Видя, что друзей у их государя теперь прибавилось, сражавшиеся почувствовали новый прилив вдохновленного мужества и решимости — настолько, что сам Валуа устремился на поле боя. А Лига бежала без всяких причин — единственной оказался страх. Как счастлив был Генрих, что ему уже не нужно биться против короля, только против врагов короля. Это давало ему внутреннее удовлетворение, а оно дороже иной крепости. Он привел к королю свои войска, перешел мост с тысячью двумястами конников и четырьмя тысячами аркебузиров, и когда те предстали перед Валуа, король спросил: — Почему все они бодры и веселы, разве нет больше войны? — А Генрих ответил: — Сир! Хотя мы днем и ночью на коне, но это добрая война. — И Валуа понял; он впервые рассмеялся от всей души, смеялся и Генрих.

Король, охваченный новым порывом мужества, собрал к лету пятнадцать тысяч швейцарцев, и притом без денег. Вместе с его собственными войсками и отрядами Наварры у него оказалось сорок пять тысяч солдат, сильное войско; оно должно было вернуть ему столицу королевства — и могло это сделать. А тем временем войско Майенна прямо таяло, и в конце концов у него осталось всего пять тысяч солдат; ни испанцев, ни немцев не было уже и в помине, ибо если народ вовлечен в движение обманное и постыдное, то достаточно свежего дуновения мужества, как все рушится, и никакие массы это движение уже не поддержат. Даже в осажденном Париже вдруг зароптали открыто. Люди в коричневых сутанах не могли появляться на улицах без оружия. А где же Лига? Где правящая партия? От этого чудовища осталось, в сущности, немного — оно состоит теперь наполовину из бесноватых и

наполовину из трусов. И, кроме этих двух человеческих разновидностей, там нет никого.

Старые полководцы короля толком не знали, нужно ли начать осаду Парижа. Осада могла очень затянуться; а если она ни к чему не приведет, войско Лиги, наверно, опять увеличится. Однако на этом настаивал Генрих Наваррский, пользуясь всем своим авторитетом. — Решается судьба королевства, — говорил он. — Не забывайте: мы пришли сюда, чтобы целовать этот прекрасный город, а не поднять на него руку. — Он сказал еще многое, отчего взятие столицы стало казаться задачей более славной, чем какая-либо иная. А смелому верят, и это дает ему силу. Поэтому тридцатого июля королевское войско взяло Сен-Клу, центр города и мост. Король остался в Сен-Клу, а Наварра занял другое предместье.

Два дня спустя, когда он и его храбрый отряд только что сели на коней, вдруг мчится галопом какой-то дворянин и шепчет ему на ухо несколько слов. Наварра тотчас поворачивает коня. Он берет с собою в Сен-Клу двадцать пять дворян. — Сир, зачем вы едете к королю? — Друзья его только что пырнули ножом в живот! — Они замолчали, пораженные, а когда заговорили меж собой, то лишь вполголоса. Тут, конечно, вся Лига постаралась, говорили они. Эта партия, да и все движение таковы, что не способны честно бороться, а только убивать горазды. Монахи в Париже недаром предсказывали чудо, они знали, какое! Вот чудо и свершилось, правда, оно приняло вид убийства. И к нашему государю явились трое молодых людей: они поклялись поступить, как Юдифь, только от их руки-де должен пасть новый Олоферн. Да руки коротки — он умеет справляться со своими убийцами. А бедняга Валуа — нет. Кто же его пырнул?

Скажи пожалуйста, какой-то монашек, двадцать лет ему, толстогубый такой, наверно, одним был из вожаков этой самой возвышенной духом молодежи, а теперь дворяне Наваррского короля, приехав, увидели во дворе только растерзанный коричневый комок. Почему-то, свершив свое дело, он не

пытался бежать: стал лицом к стене и шепчет: «Яков, где ты?» А его самого так звали — Яков.

Наследник престола находился в комнате умирающего: сначала можно было думать, что рана не столь опасна, и все-таки она оказалась смертельной, но в минуту смерти наследника не было подле Валуа, он куда-то уходил. Когда он вернулся, первыми упали к его ногам шотландские гвардейцы покойного короля и воскликнули: — О, сир! Теперь вы наш король и государь!

В первую минуту Генрих не понял, несмотря на всю веру в свое предназначение. Им овладел страх и грозное предчувствие: «До сих пор я сражался только за свое дело, теперь же становлюсь на место побежденного, он лежит заколотый убийцей, а как-то еще я буду лежать в свой смертный час?» Опустив голову, поднялся он по лестнице, вошел в опочивальню и долго смотрел на умершего. Мы ведь и тут еще, на земле, видим умерших — очами духа видим мы несравненно большее число умерших, чем живых; и кто осознает это, ему кажется, что обитает он в одном мире с ними и он с ними говорит. И Генрих Наваррский сказал, обращаясь к усопшему Генриху Валуа: «Краса твоя, о Израиль, поражена на высотах твоих! Как пали сильные на брани. Сражен Ионафан на высотах твоих».

А у тела уже молились два монаха, некий господин д’Антраг поддерживал подбородок умершего. Новому королю еще предстоит немало хлопот с этими господами, а также и со всеми остальными, которые вдруг набились в комнату, словно по уговору. Они глубже надвигали шляпы, вместо того чтобы снять их перед новым королем, или бросали их на пол и громко клялись: — Лучше тысячу раз умереть, лучше сдаться любому врагу, чем пустить на престол короля-гугенота. — Они старались, чтобы в этих словах звучала вере и убежденность, но в них звучала фальшь, особенно потому, что некоторые из этих господ тотчас после убийства уже присягнули наследнику. Но тогда их пугала мысль о собственной судьбе; они еще не сговорились

предать королевство и идти с Лигой. После совместного обсуждения они решили, что это самое надежное. Ведь у Филиппа Испанского золота было все еще больше, чем у кого-либо на земле.

Но не от Генриха могли они скрыть свои намерения: он ни на миг не поверил в их пламенное благочестие. Генрих приказал сшить себе траурное платье из лилового кафтана покойного: он спешил, и у него не было денег на материю. Лиловый кафтан ушили, но придворные его все же узнавали и подталкивали друг друга локтем из презрения к бедности короля: тут уж не разживешься. Они отправили в покои Генриха посольство с требованием переменить веру, и притом немедленно. Неотъемлемым признаком королей Франции является-де миропомазание из священного сосуда и коронование рукою церкви. Генрих побледнел от гнева. Пусть думают, что от страха, ибо в это мгновение он, казалось, был у них в руках: ведь они не могли знать, что он давно привык иметь дело с убийцами.

Он отказался выполнить их требование с таким величием, какого они от него не ожидали: занимая престол, он не отречется от своей души и сердца. Потом окинул взглядом собравшихся. Тут была вся знать, но кого же они выслали вперед, кому предоставили держать слово перед Генрихом? Некоему д’О, всего-навсего О, да он и с виду таков: пузатый молодой человек, который благодаря милостям прежнего короля стал лодырем и вором; один из тех, кто поделили между собой страну и доходы. Так за тем им еще нужен какой-то король? И этот бесчестный негодяй осмелился его, человека, который всю жизнь боролся, наставлять на путь истины и ссылаться на единство нации! Да, ведь в назидания пускаются обычно бесчестные люди! Генрих пристально посмотрел на него и заговорил с особенной твердостью: — Среди католиков моими сторонниками являются все истинные французы и все честные люди, — После столь явного оскорбления присутствующие смолкли — и оттого, что это бросил им человек с решительным лицом, и оттого, что это была правда.

Но таких людей убедить еще легче, если за дверью слышится звон оружия. И вот дверь распахивается, топая, входит один из солдат, Живри, он кричит: — Сир! Будем смелы — и вы король! Отступают только трусы. — После этого все, кого он разумел, исчезли. Потом явился Бирон, он хотел заверить Генриха, что уж швейцарцы-то ему не изменят. Правда, одних швейцарцев мало, их не хватит. «Но зато есть Бирон, костлявый, суровый человек, уже в летах, а все-таки он может, опираясь на большие пальцы рук, обойти вокруг стола; он был моим врагом, и настолько благороден, что признал свою ошибку. И он является ко мне, хотя мои дела и обстоят очень плохо». — Бирон! Дайте мне прижать вас к сердцу. С такими, как вы, нельзя не победить.

На земле и на небе

В течение последующих пяти дней новый король видел, что его войско тает и тает, как перед тем таяло войско Лиги. Маршал Эпернон, который был еще так недавно опорой королевства, нарочно поссорился с Бироном, чтобы потом заявить: он, маршал Эпернон, при таком короле не будет вести войну — это же разбой на большой дороге. Сказал и удалился в свое королевство, в Прованс. У каждого из них было по маленькому королевству, которое они себе отхватили от провинций, входивших в состав большого; туда-то он и удалился, забрав с собой своих дворян и всех солдат. У нового короля не было никакого способа удержать их. Принять католичество? Тем скорее покинут его эти же люди. И заслужил бы он только презрение своих собственных соратников и единоверцев, а также иноземных друзей; и уж тогда ни из Англии, ни из Германии солдат не жди.

В те дни, полные отчаяния, он написал со своим Морнеем обращение к французам, в котором заявлял, что гарантирует обеим религиям их прежнее

положение. Сам он оставляет за собой право принять ту, которую будет исповедовать большинство его соплеменников. Он не указал точно срока, но он знал, что это случится. Когда он будет крепко держать в руках и королевство и непокорную столицу, только тогда, и притом — только по доброй воле. Став неограниченным повелителем королевства, он дарует своим прежним единоверцам полную свободу совести, таково было его решение; принял ли он его ради них или из уважения к самому себе, чтобы не дать пощечину всему, чем он был раньше, — не все ли равно? Он тот король, который выпустит впоследствии Нантский эдикт и будет всей своей властью защищать свободу. Он принимает это решение и прозревает будущее именно в эти пять дней, когда почти все вокруг него разбегаются и другой, наверно, бросился бы за ними, чтобы их вернуть.

А тем временем столица, которую он все еще осаждал, дошла до последних крайностей безумия. Немногочисленные люди, сохранившие трезвость суждения, предпочли бы даже, чтобы вернулся их погибший вождь Гиз. Оставленное им наследие превосходило все, что они видели при его жизни. И в сравнении со своей сестрицей Монпансье Гиз был прямо-таки мудрецом. Она же ликовала и бесновалась и бросилась на шею гонцу, принесшему весть о смерти «тирана». Ей не давало покоя только то, что умирающий Валуа мог уже не узнать, кто именно подослал, к нему коричневого монашка. Это Гиз протянул из могилы руку и нанес тебе удар!

Герцогиня заставила свою мать, мать обоих убитых Гизов, говорить с алтаря к народу, и та действительно доводила людей до исступления своим кликушеством, ибо через эту старуху вопил весь Лотарингский дом, его гнусность, распутство и тайное безумие, толкавшее его на все совершенные им злодейства. Герцогиня хотела немедленно провозгласить королем своего брата Майенна, но тут она получила отпор от испанского посла. Его государь, дон Филипп, окончательно решил, что теперь Франция — всего лишь испанская Провинция; его войска заняли Париж. Под защитой своего

повелителя Лига могла предаваться любым неистовствам. Мать «Якова-где-ты?» привезли из деревни и воздавали ей почести, точно пресвятой деве. Изображения коричневого парня и обоих Гизов были выставлены на алтаре, и им усердно поклонялись. Не часто в истории выпадали на долю почтенных горожан, простолюдинов и особенно возвышенной духом молодежи такие дни, когда можно невозбранно ходить вниз головой; хорошо еще, что они, при всех злоупотреблениях религией, не обладали серьезной и честной верой: ибо тогда все это было бы просто чудовищно — и беснование, и упоение, — хотя оно и так чудовищно, если поразмыслить…

Это были те самые дни, в которые Генрих, стоя перед запертыми воротами города и всеми покинутый, все же оставался тверд в своем решении спасти разум и защитить свободу. Но сначала нужно вырвать королевство из когтей мирового владыки. И Генрих не отступит в Гасконь и не бежит в Германию. Он слышит голоса, которые советуют ему и то и другое, они кажутся голосами человеческого, здравого смысла; притом ведь находишься в положении, из которого как будто нет выхода. Но один он знает: трудно оставаться твердым. Отвагой завоевываешь доверие, доверие дает силу, сила же — матерь побед, победами мы укрепим наше государство и обезопасим нашу жизнь

Восьмого августа он снялся с лагеря. Останки покойного короля Генрих проводил только часть пути. Обстоятельства не позволяли предать их земле с подобающей торжественностью. Затем он разделил надвое свое войско, от сорока пяти тысяч солдат у него осталось всего десять-одиннадцать тысяч. Маршала Омона и своего протестанта Ла Ну он послал, дав каждому по три-четыре тысячи солдат, на восточную границу, чтобы они прикрывали королевство от нового вторжения испанских войск. А сам с полсотней аркебузиров и семьюстами конников решил принять на себя все силы противника, сколько их ни было в стране, но именно там, где он наметил.

Он двинулся на север, к Ла-Маншу, в надежде на помощь английской королевы, которая первая нанесла удар мировому владыке. Если бы поддержка со стороны Елизаветы не представлялась ему возможной, Генрих никогда бы не стал рассчитывать на то, что город Дьепп откроет перед ним ворота. Двадцать шестого он стал у стен Дьеппа, и тотчас ворота растворились. Эта поспешность была порождена тревогой. Вот появляется, прорвавшись сюда из подозрительных далей, главарь разбойничьей шайки — ибо кто же он еще? Называет себя королем, а страны нет; полководцем — а нет солдат. Жена и то от него сбежала. С другой стороны, никто не знает, когда подоспеют силы великолепного Майенна и что еще до тех пор может случиться. Вдруг английские корабли примутся обстреливать с моря несчастный город, а с суши уже напирают солдаты Генриха. И вот город выбирает зло, которое считает наименьшим, и открывает ворота. Держа в руках огромные ключи, стоят на коленях отцы города, подносят хлеб-соль, а также бокал с вином, которое, может быть, отравлено. Но король разбойников поднимает с мостовой толстого старика, точно пушинку, и говорит, обращаясь ко всем: «Друзья мои, прошу вас, не надо этой шумихи! Все у нас по-хорошему, и этого мне достаточно. Добрый хлеб, доброе вино и приветливые лица».

Кубок он так и не выпил, чего они не заметили, пораженные тем, что он оказался столь беззаботным и простым. Они же были потомками норманнов, с более тяжелой кровью, чем у него. Их город стоял на месте, открытом для вражеских ударов, и его граждане встречали частые напасти выдержкой и мужеством. Но сохранять вдобавок веселое расположение духа! Взять у молодой девушки из рук розу, шутить и каждому что-нибудь обещать! А есть у него что дарить-то? Они все же пересчитывают его небольшой отряд, горсточку всадников, жалкую пехоту. Потом размышляют и спрашивают друг друга: — И он с этим намерен завоевать герцогство Нормандию? Не может быть! — А дело обстояло так, что «с этим» он намеревался завоевать все

королевство, от края до края. Жители просто не поняли его, когда он заявил об этом во всеуслышание: для людей, лишенных воображения, бесспорным казалось обратное.

Так же как жители Дьеппа, действовало и большинство обитателей других городов — ибо они ничего не могли предугадать, даже каков будет ближайший час этой действительности, хотя каждый мнил, что уж он-то знает ее, как свои пять пальцев. Они до самого конца не замечали, что все их представления — просто бредовый сон, а не правда жизни. Какое бы всемогущество Лига себе ни приписывала, она оставалась только ночным призраком и от сияния солнца должна была исчезнуть. Но, как ни странно, они этого не сознавали. Напротив, ту восходящую истину, которую нес с собой новый король, эти люди встречали, озабоченно хмурясь, хотя испытывали скорее сомнения, чем ненависть; так было не только с жителями Дьеппа, но со всеми. Тут, конечно, примешивался и страх, затаенное тревожное предчувствие: а вдруг новый король — воплощенная человеческая совесть? Как же так? И неужели «этим» намерен он завоевать герцогство Нормандию? Нет, невозможно! И когда он потом победил — достаточно было ему выиграть одну битву, — они поняли: он получит королевство. Поняли из конца в конец по всей стране, что занялся долгожданный день.

— Ну что, Дьепп! — воскликнул Агриппа д’Обинье, уже исполненный поэтического вдохновения. — Не только под Дьеппом стоим мы на этой мглистой равнине, между поросшими лесом холмами и рекою Бетюн, где мы роем траншеи, и я даже снял башмаки, так горяча работа. Здесь находится одна лишь наша телесная оболочка; как земляные черви, голые, мы пробиваем ходы в глине, роем два окопа, один позади другого, чтобы устоять, когда по равнине на нас двинется злобный враг. И мы стараемся здесь укрепиться по всем правилам человеческого искусства и зацепиться за этот клочок земли. С тылу у нас деревня Арк, а над нею — крепость. Еще дальше нам послужит заслоном город Дьепп, если придется отступать, и мы даже

можем надеяться на помощь английских кораблей.

— Ну и хватил, Агриппа, — заметил Рони. — Отступать мы не будем.

А дю Барта вставил: — Пожалуй, даже не сможем — когда протянем ноги на этом поле.

— Господа! — остановил их Роклор. Однако Агриппа не оторвался от своих мыслей, или, вернее, своего стихотворения: — Конечно, наша телесная оболочка находится здесь, на этом поле под Арком, где слева от нас река, справа поросшие кустами холмы, серые от тумана, и между ними деревенька Мартеглиз.

— С харчевней и хорошим вином. Я пить хочу, — вставил Роклор.

— Когда на этом поле мы протянем ноги, — повторил вполголоса дю Барта и сосчитал слоги.

Агриппа: — Но где же мы духом? Не в харчевне и не на равнине среди других мертвецов! Духом мы уже в будущем — после сражения, после победы. Ибо кто же не знает, что мы должны победить. Даже враг это почуял. Майенн и его легионы уже спешат сюда и жаждут лишь одного: чтобы мы их разбили.

— Где уж там, — заметил Рони холодно и трезво. — Майенн идет сюда отнюдь не за этим, он хочет захватить короля — он сам говорил и воображает, что очень силен и куда как хитер.

Агриппа: — И все же в тайном закоулке сердца он жаждет того же, чего жаждет весь мир — не только Дьепп и взволнованное королевство. Мы должны их спасти от Испании и от них самих. Мы сломим власть мирового владыки. Мы боремся не с ними.

— А с их испорченностью и слепотой, — добавил дю Барта.

Агриппа же торжественно: — Друзья! Нашей победы ждет все человечество, самые дальние страны взирают на нас и все гонимые. С нами молитвы униженных, угнетенных, а также совесть мыслителей, она говорит за нас.

Даже Рони согласился с этим:

— Мы действуем в полном согласии с гуманистами всего Старого света. Но это не стоило бы и ломаного гроша, если бы гуманисты умели только думать, а не ездить верхом и сражаться.

— А они умеют, — подтвердили Роклор и дю Барта. Рони сказал:

— Морней объявил всем королевствам и республикам, что именно мы должны свергнуть мирового владыку. Морней послал Фаму, и вот по всем странам летит она, трубя в трубу, возвещая о том, что мы бьемся за право и свободу — они наши святые. И что мы выступаем от имени добродетели, разума и меры — они наши ангелы.

Роклор спросил вызывающим тоном:

— Разве вы сами в это не верите, господин Рони? — Но тот ответил:

— Поверить я готов и в это и еще во многое. А вот иметь мне хотелось бы несколько тысяч ливров из вьюков толстяка Майенна.

Дю Барта заговорил со всей силой, какую дает твердое знание, и со странными интонациями, точно гость, который пришел откуда-то с вестью и скоро должен возвратиться.

— Нет, не на этом поле протяну я ноги, — можете мне поверить. Всем нам еще суждено сквозь земной удел увидеть клочок голубого неба. Повержена будет нами десятикратная сила врага, и я слышу, как облегченно вздыхают народы и посланцы республик и пускаются в путь, чтобы поклониться нашему королю и заключить с ним союз.

Рони хотелось вставить: «Ну, ты перехватил. Ведь это лишь незначительная победа, четыре тысячи солдат, которые держатся, зацепившись за самый край материка и королевства; по человеческому разумению такая горсточка ничего не может решить. Но, может быть, мой король больше, чем король без страны? И послы будут действительно спешить к нему? Да нет, куда уж там. Ну, а Фама? — возразил он самому себе. — А взирающий с надеждою мир? А этот король?» Тут он встретился

взглядом с господином де Роклором, и тот кивнул ему молча и уверенно. Для всех этих людей, называвших себя червями, для строителей земляных укреплений, которые они возводили, босые, зарывшись ногами в землю, правда сделалась отчетливо зрима, хоть и плотен был окружавший их туман. Им первым, в виде великого исключения, было дано знать ближайший час действительности.

Агриппе осталось только прочесть те строки, которые в нем уже звучали; остальные приготовились слушать.

Явись, о господи! Завесы больше нет
Меж нами и тобой. Сияньем ты одет.
Мелодией звучат небесные просторы.
То — сонмы ангелов, то — их святые хоры.

Проговорив эти слова, Агриппа умолк, ибо туман действительно расступился, над их головой показался овальный клочок неба, брызнул свет, и они своими глазами увидели — что именно, потом никто из них не рассказал. Но это были те святые и ангелы, которых они перед тем призывали, и все стояли в овале света. Ликами, одеждой и доспехами они походили на самых прекрасных и отважных богов древности. А среди них совершенно ясно виден был сам Иисус Христос в образе человека.

Псалом LXVIII

Под Арком, в траншее, Генрих выговаривает своему маршалу Бирону за то, что они вот уже неделю ждут нападения противника. Майенн стоит за лесом, и никакой перестрелкой его оттуда не выманишь. В такой туман он сражаться не будет. Но этот же туман мог оказаться немалым преимуществом

для меньшего войска. Генрих хочет навязать неприятелю бой. Старик не советует. — Вы меня послушались, сир, и не засели в этом паршивом Дьеппе! Это такая паршивая дыра! — Она так и кишит предателями, — добавляет Генрих. А маршал: — Вы разбираетесь в людях, мне на себе пришлось в этом убедиться. Зато я лучше вас вижу преимущества того или другого поля боя. Никакой туман не должен заставить вас уйти с этого широкого, отовсюду защищенного четырехугольника. Можете быть уверены, что здесь вы удержитесь. Здесь за вас сами условия местности: с тыла крепость, слева река с болотистыми берегами, недоступными ни для конницы противника, ни тем менее для его пушек. А стрелять издали в тумане он не может.

— Зато наши пушки, — пробормотал Генрих. — Где они у нас? В том-то и весь секрет! Вот будет сюрприз!

Бирон взглянул вокруг, они помолчали. Потом маршал пожал плечами: — И справа Майенн не может напасть, холмы поросли кустарником, лощины очень узкие. Ему остается только одно — двинуться со стороны леса, через открытое поле. Сир! Вы будете ждать его между вашими двумя полевыми укреплениями: передовое защищают пятьсот ваших гугенотов, когда-то я с ними имел дело, знаю. Но там места достаточно, и вы можете выстроить по фронту еще пятьдесят конников.

— Вы все тщательно продумали, Бирон, это знают и войска. У меня солдат не так много, и поэтому каждый способен судить сам обо всем и все видеть. Его боевой пыл не слеп, а вызван пониманием. И наше преимущество в том, что нас мало.

— Сир, ваше лицо закрыто от меня прядью тумана, и я не вижу, смеетесь вы или нет.

Генрих шепнул ему на ухо: — И туман скроет от врага, как нас мало и как удачно мы расположились, — закончил он и провел рукой от одной точки широкой равнины до другой: там было шесть опорных пунктов, он знал каждый и находил их даже среди тумана.

Ни Генрих, ни Бирон не упомянули о том, что само собой разумелось: туман защищал, но он таил в себе также опасность и для тех и для других. Весь день крались в обе стороны невидимые лазутчики. В гигантской армии Лиги то и дело возникала беспричинная тревога. А в королевском войске люди прикладывали ухо к земле и слушали. Наутро Майенн решил больше не ждать, пока туман рассеется; он ударил по врагу. Майенн владел военным искусством, он напал неожиданно или думал, что неожиданно. Он не стал двигаться по равнине, а послал отряд пехоты — всего триста немецких ландскнехтов — в обход, через холмы. Если его сведения верны, то король собственной особой стоит справа от второй линии укреплений. Прячась за кустами и в тумане, надо обойти и захватить его; таким маневром Майенн надеялся сразу же выиграть бой. Захватив короля, немцы кинутся ко второй линии окопов, атакуют с тыла первую, а там соединятся с конницей Лиги. Если взять все укрепления и королевскую гвардию, то от войска Генриха останутся на открытой равнине всего две-три кучки, готовые сдаться. Так рисовал себе противник тот бой, который он собирался начать. Но судьба готовила ему совсем иное.

Первую линию укреплений занимал Бирон, а вторую Генрих. Бирон опирался на часовню, которую намерен был удерживать со всем присущим ему упорством. У старика было всего шестьдесят конников, но такие глаза, которые и сквозь туман увидели ползущего через кусты ландскнехта. Он послал к королю вестового. Когда триста немцев, задыхаясь от долгого пути, ползком прибыли на место, их уже ожидали, и им осталось только с умильным видом поднять руки. Они уверяли, что в душе они сторонники короля; поэтому им помогли перебраться через ров, даже не отняли оружие, и король коснулся их рук. Однако намерения у них были несколько иные. Это открылось, когда мощные отряды Лиги, пешие и конные, обрушились на защитников первой линии. Но здесь стояли пятьсот аркебузиров — ревнителей истинной веры, и трудно пришлось бы тому, кто захотел бы их

одолеть. Легкой кавалерии врага все же удалось прорваться в замкнутое пространство между двумя линиями окопов. Но там двадцать шесть дворян короля верхами налетели на нее, выскочив из тумана, — причем туман мешал определить их число, — и погнали перед собою неприятельскую конницу прямо к часовне; а тут они натолкнулись на Бирона и его шестьдесят солдат.

Ландскнехты, стоявшие у второй линии окопов, постепенно забывали о своей преданности королю. Они заметили, что отряды Лиги прорвались в замкнутое пространство. Того, что произошло потом, они не уразумели, вернее, уразумели слишком поздно, во всяком случае, они мгновенно опять стали врагами. Им удалось вызвать этим большое замешательство. Бирона, спешившего сюда, сбили с лошади. Тот же немец, который сбросил маршала, приставил пику к груди самого короля и потребовал, чтобы Генрих сдался: ведь тогда этот малый был бы обеспечен на всю жизнь. К сожалению, он опоздал, ибо его сотоварищи были уже разбиты на внутреннем поле; в пылу усердия он этого не заметил. И он видит вдруг, что его окружают всадники. Они вот-вот его прикончат. Лицо немца становится глупее глупого, а король смеется и приказывает отпустить его.

Но тут Бирон разгневался. Он сильно ушибся и с трудом влез на своего коня; никто еще не видел, чтобы он хоть раз в своей жизни свалился с лошади. А теперь свидетелем оказался сам король; однако Генриху все равно, он хохочет. Что ж, если ему нравится ощущать острие немецкой пики на своей груди, — его дело. — О! Я не могу похвастаться кротостью, ни благодушием. Отдайте мне этого негодяя!

Старик был костляв, как и его старая кляча, взгляд его опять стал железным, таким помнил его Генрих в дни их вражды. Вот он, прежний враг, он покачивается на коне — сухой и длинный; ни грохот, ни сутолока сражения не могут отвлечь его от мысли о каре и мести. — Вы, Бирон, такой, а ландскнехт этакий. А мне приходится жить со многими людьми. — Король сказал это спокойно, уже слегка отвернувшись. Он спешился и стоял внизу, на

дне окопа; всаднику, сидевшему па лошади, он представлялся маленьким: маленький серый панцирь, пышный плюмаж из белых перьев. Но тем сильнее вдруг почувствовал Бирон отделявшее их расстояние, и не только расстояние между королем и подданным — тайной узостью и мощью человеческих глубин дохнуло, на него снизу, на него, кого люди прозвали «смерть на дне». Кто этот человек там, внизу, — шутник? Игрок, готовый что угодно поставить на карту? Слезливый мальчишка? Нет, склонись, Бирон, это король, — так ясно мы этого еще никогда не чувствовали. Все говорят: он добр. Все видят: он весел. Да, — наверно. Так проносятся светлые птицы по темному небу. Все это верно, — и мягок он и силен духом, особенно же в нем сильно, если уж говорить откровенно, справедливое презрение к людям.

Тут Бирон повернул коня и понесся к своей часовне; ибо вокруг нее шел бой, а он решил, с еще небывалым упорством, отстоять ее — отстоять для такого короля.

Огромная армия Лиги не смогла взять лагерь гугенотов, защищенный двумя укреплениями. Ее гнали направо, через холмы, до самой деревеньки. Бирон продолжал удерживать часовню, и пока вокруг нее шел бой, враг невольно угодил в болото слева. Там на его отряды ринулось гораздо больше королевских солдат, чем он когда-либо предполагал встретить. И никому не пришло на ум, что это могли быть все одни и те же солдаты. Конники короля, которых он провел галопом через все огромное поле боя, налетели неожиданно, уничтожили несколько отрядов вместе с их командирами и тут же исчезли в тумане. Противник пустился вслед и потерял направление. Куда идти? Против кого? Он искал короля; но тот уже давно умчался, чтобы еще тому-то оказать поддержку. На врага наступали все новые полки, а в действительности это были все те же. Его крупные соединения изматывались поодиночке, изматывались, прежде чем они успевали вспомнить, что представляют собой мощную армию. Настала минута, когда часть главных сил вступила на топкую почву, и она осела под тяжестью стольких тел.

Тщетные попытки вернуться, смятение, многих засосало болото. А передние напоролись на швейцарцев.

В ложбине, скрытые кустарником, стояли вдоль ржи королевские швейцарцы, прикрывая деревню Арк, и они легли бы на месте все до последнего, но не пропустили бы ни одного из врагов короля. Эти люди, оторванные от родины и совершенно одинокие на клочке чужой земли, были из Золотурна и Гларуса, ими командовал их же полковник Галлати. Они выставили пики, — с этого места их не сдвинуть, — и уперлись в землю, широко расставив ноги: они не уступят никакому натиску превосходящих сил врага, они все лягут здесь костьми. Однажды перед ними мелькнули в тумане белые перья, такой плюмаж носил только король. Он сказал им: — Мои швейцарцы! Сейчас вы защищаете меня. В следующий раз я вызволю ваш отряд. — Они поняли его, хотя он говорил на другом языке, чем они, и даже не на французском — тот они знали. Он называл их Souisses. Он был им друг и обещал их полковнику Галлати, что, сделавшись наконец королем Франции, в благодарность поможет свободной Швейцарии избавиться от ее притеснителей. Слово короля и для него и для них было священно. Он хотел быть в будущем только союзником свободных народов. А они были из той же породы, как и те верные своей присяге швейцарцы, которые в день убийства адмирала Колиньи удерживали лестницу, пока не пал последний.

Швейцарцы удерживали ложбину. Всадники короля — шеренгой в пятьдесят человек — все вновь и вновь вылетали из-за окопов, пехота билась не на жизнь, а на смерть, в шести местах, Бирон отстаивал часовню, — и это были все те же люди, тогда как противник успевал перевести дух, заменяя одних людей другими. Рукопашная, пальба из пистолетов прямо в лицо, но не раньше, чем удается рассмотреть цвет перевязи. Подсовывают копье под сиденье всадника и — вон его из седла, наземь его! Какой-то важный дворянин из войска Лиги — вздумал, лежа на земле, поливать бранью молодого протестанта, который сшиб его: — Тебя высечь надо, сопляк! — Но

ему уже не подняться — он сломал себе шею. А у часовни пал один из семьи Ларошфуко, — Осия, — совсем библейское имя. Под Рони и Бироном были убиты лошади. Лошадей было, увы, больше чем достаточно, ибо их седоки, лежа у них же между копытами, издавали стоны, которые слышала только земля. Над умирающими, как всегда, бушевала жизнь, и сейчас ее голосом был грохот сражения.

Короля с его белым плюмажем видели возле часовни, в ложбине у реки, в окопах, на равнине — словом, повсюду; его видел каждый в отдельности и все одновременно. Он окликал их, попавших в туман и в беду, чтобы они выстояли и победили. Он выкрикивал славные имена, носители которых связали с ним свою судьбу, а если до сих пор чье-либо имя еще не было славным, то он прославит его. Генрих проезжал мимо молодого полковника, командовавшего его легкой кавалерией, сына Карла Девятого от простой женщины из народа. «Валуа! Я знаю тебя и не забуду — ни тебя, ни твой дом. Вы пребудете в душе моей навеки». И уже несся дальше. «Монгомери! Ришелье! Я сделаю вам сюрприз! Рони! Ла Форс, где беда — так и бог туда. Бирон! Ты видишь? Туман поднимается? Поднимается, должен подняться, это так же верно, как и то, что с нами бог и мы должны победить. Ларошфуко, я для тебя сюрприз приготовил, скоро ты услышишь раскаты грома!»

Нагнувшись с седла, хватает он воина за плечо, и тот падает, но не так, как падает живой. Убитого, во всех доспехах, прислонили стоймя к стене часовни. — Осия? Ты? — спрашивает Генрих про себя, и не хочет верить тому, о чем опрашивает. — Скоро грянет удар грома, но этот уже не услышит его. Нас должны спасти пушки крепости Арк, только бы поднялся туман и можно было навести их. У меня в окопе есть нормандец-пират, он скажет мне с точностью до одной минуты, когда поднимется туман. Услышь это напоследок, мой Осия! — Бездыханный лежит Ларошфуко при дороге, как лежал когда-то в замке Лувр в ночь резни другой, из того же рода. Так лежат мертвые при дороге. А король несется дальше.

Вот он у швейцарцев. Держитесь, — скоро конец. Невозможно, их смяли. Ложбина у реки все-таки сдана, и сдана часовня. Остатки королевского войска удерживают только траншеи у моста и подумывают уже об отходе на Арк и Дьепп.

— Кум, — обращается Генрих к полковнику-швейцарцу, — вот и я, кум, тут умру вместе с вами или вместе завоюем славу. — Говорит, а сам видит, как видят и все остальные, что плотные ряды врагов надвигаются с тяжелой мощью, вот-вот навалятся и придавят, словно гробовой доской, и его и его королевство. И он содрогается. «Прочь! Дальше! Это еще не конец: а мои гугеноты?» — И вот он зовет их, стойких защитников первой линии укреплений; ветеранов Жарнака, соратников господина адмирала, оставшихся в живых после двух десятилетий борьбы за свободу совести. Ревнители истинной веры! И они слышат его призыв, они видят его белые перья, выходят из окопа — самого первого, который эти железные воины удерживают с утра.

Утром их было пятьсот, и они шагают так, словно их и теперь еще столько же. И с ними рядом идут убитые. Впереди — пастор Дамур. Его имя Дамур. — Господин пастор, начинайте псалом, — говорит король, и они поют. Напасть на врага, когда он упоен блеском и гордыней, — так бывало и в прежних битвах, при Кутра так было. И всегда врагу приходилось плохо. Даже этот многомощный враг пугается, услышав псалом; он остановился, он в смятении.

Явись, господь, и дрогнет враг!
Его поглотит вечный мрак.
Суровым будет мщенье.
Всем, кто клянет и гонит нас,
Погибель в этот грозный час
Судило провиденье.

Заставь, господь, врагов бежать,
Пускай рассеется их рать,
Как дым на бранном поле.
Растает воск в огне твоем.
Восторжествуем мы над злом,
Покорны божьей воле.

Наконец туман поднимается — и тут же загремели с крепости Арк пушечные выстрелы. Там, где враг подошел поближе, ядра рвут и бьют его. Это победа, и она спасет королевство. Господь или совсем не дает, или уж дает полною мерой то, что принадлежит ему, — царство, силу и славу. Это тоже сегодня узнает Генрих, исполненный страха божия. Колиньи, сын адмирала, является к нему и приводит с собой из Дьеппа, за который уже нечего опасаться, семьсот солдат, и вот к старым аркебузирам, ревнителям истинной веры, присоединяются еще семьсот. — Бог тебя посылает, Колиньи!

Генрих не жаловался и не молился, пока дела обстояли плохо, вернее даже — отчаянно плохо, но в счастье он взывает к господу, чтобы в счастье склониться перед ним. Долгие часы, исполненные грозной опасности, перепахивал он копытами своего коня поле битвы, всюду принимал участие в схватках, и каждый из его маленьких отрядов верит, что он все время с ним. Теперь он может остановиться. В туман и неизвестность бросал он имена, и эти имена он еще более прославил. И всюду, где ни появлялись белые перья его шлема, он укреплял в людях отвагу и твердость. Швейцарцам он принес свою верность — в ответ на их верность. Он говорил с мертвецами при дороге. Он учил маршала Бирона, и тот понял, кто перед ним. Судьба дала ему счастье. Его день уже давно начался, но лишь после того, как рассеется туман, этот день взойдет, сияя. Ему скоро минет тридцать шесть лет, но это была пока только молодость. По его лицу, которое просветлено скорее

тяжелой борьбой и перенесенными страданиями, чем радостью, текут смешанные с потом слезы!

С обеих сторон теснят врага его старые воины, борцы за свободу, борцы за истинную веру; силы противника сломлены, а люди Генриха поют. Буйное ликование, в небесах гудит набат, толпа праведных дергает незримые веревки колоколов.

Хвалу мы богу воздадим
Напевом радостным своим,
Беспечные, как дети.
Дарует нам победу он.
Грех в битве будет посрамлен.
Исчезнет зло на свете.

Так час за часом, день за днем
Мы господу псалмы поем
В восторге бесконечном.
Бог — наша сила и оплот.
Величья полный, он грядет,
Назвав себя предвечным.

Поучение

Окончательное торжество будет куплено не только ценой его собственных жертв: Генрих становится свидетелем того, как приносятся в жертву люди, которых он хотел бы сохранить. Ему уже пришлось проститься с подругой его первых трудных лет. Суждено также уйти Валуа, его

предшественнику, а между тем Генрих спасал его от руки врагов, чувствовал к нему искреннюю приязнь. «Дух его испытывает большее удовлетворение», примиряясь с прошлым, чем отвергая его. При здравом взгляде на жизнь часто покоряешься тому, что необходимо. Менее всего приемлемо для истинного ума мириться с нарастающим потоком бедствий. Слишком много людей, участников его судьбы, унесены катастрофами, и смерть уж чересчур усердно постаралась расчистить ему путь. На поле битвы при Арке король Генрих, весь залитый потом после стольких боев, плачет под песнь победы. Это слезы радости, другие он проливает об убитых и обо всем том, что кончилось вместе с ними.

В этот день кончилась его молодость.